

МАРК ТВЕН

СОЕДИНЕННЫЕ ЛИНЧУЮЩИЕ ШТАТЫ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
ПУБЛИЦИСТИКА





МАРК ТВЕН

**СОЕДИНЕННЫЕ
ЛИНЧУЮЩИЕ
ШТАТЫ**

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
ПУБЛИЦИСТИКА



МОСКВА

•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•

1983

MARK TWAIN

Примечания

Б. ГИЛЕНСОНА

Художник

А. РЕМЕННИК

Марк Твен

- Т26 Соединенные Линчующие Штаты: Рассказы и очерки; Публицистика // Примеч. Б. Гиленсона. — М.: Худож. лит., 1983. — 96 с.

В книгу вошли известные сатирические рассказы Марка Твена (1835—1910) «Журналистика в Теннесси», «Как меня выбирали в губернаторы», «Венера Капитолийская» и др., а также обличительные памфлеты выдающегося американского писателя, являющиеся позором лицемерия и фальши буржуазной морали, колониальной разбой, идеологию и практику расизма в Соединенных Штатах Америки («Открытое письмо commodору Вандербильту», «Соединенные Линчующие Штаты», «В защиту генерала Фансто-на» и др.).

Т 4703000000-421
028(01)-83 КБ-41-81-83

ББК 84.7 США
И (Амер)

К СВЕДЕНИЮ МИЛЛИОНОВ

Молодой человек, жаждущий получить сведения, пишет знакомому в Вирджиния-Сити, Невада, следующее:

*«Спрингфилд, Миссури,
12 апреля*

Дорогой сэп!

Цель моего письма — узнать от Вас все подробности о Неваде. Каков ее климат? Что родит земля? Не вреден ли климат для здоровья? От каких болезней у Вас чаще всего умирают? Стоит ли человеку, который может устроиться в Миссури, эмигрировать в Вашу часть страны? Среди нас есть такие, кто готов двинуться в путь этой же весной, если мы будем знать наверняка, что в Ваших местах намного лучше, чем здесь. Я полагаю, Вы знакомы с Джозлом Х. Смитом? Он когда-то проживал в наших краях, а теперь поселился в Неваде; говорят, он владеет значительной долей в местных рудниках. Надеюсь в ближайшее время получить от Вас весточку и т. д.

Остаюсь искренне Ваш Уильям...»

Письмо было передано в редакцию газеты для ответа. В интересах тех, кто подумывает о переселении в Неваду, лучше, пожалуй, опубликовать переписку полностью:

«Дорогой мой Уильям!

Простите за фамильярность, но это имя пробудило во мне трогательные воспоминания о любимом и утраченном друге, которого тоже звали так. Я взял на себя труд дать Вам письменный ответ, и хотя сейчас мы друг другу чужие, я уверен, мы непременно станем друзьями, если нам доведется встретиться. Мысль, достойная внимания, Уильям. А теперь я отвечу на Ваши вопросы в том порядке, в каком Вы их решили обрушить на нашу голову.

Цель Вашего письма — получить от меня подробные сведения о Неваде. То лестное до-

верие, которое Вы мне оказываете, Уильям, может сравниться лишь со скромностью самой просьбы. Я мог бы подробнейшим образом расписать Вам историю Невады на пятистах страницах в осьмушку листа, но, поскольку Вы не сделали мне ничего дурного, так и быть, я пощажу Вас, хотя никто не осудил бы меня за желание воспользоваться удачно подвернувшейся возможностью поработать. Итак, я буду краток. Невада была открыта мормонами много лет тому назад и называлась «Страна Карсона». Невадой она стала лишь в 1861 году, согласно закону, принятому конгрессом. Существует предание, что сам господь бог создал Неваду; но если Вы посетите ее, Уильям, у Вас сложится иное мнение. Однако пусть это Вас не пугает. Невада немного напоминает облезлую кошку, столь скудна здесь растительность, кроме того, она напоминает этого зверя еще и потому, что обладает гораздо большим числом достоинств, чем позволяет предполагать ее внешность. В 1857 году братья Грош впервые нашли здесь серебряную руду. Они же, если не ошибаюсь, основали Силвер-Сити. Передайте Вашим друзьям, однако, что рудники до сих пор не приносят дохода. Можете сделать это сообщение с предельной и неумолимой категоричностью — опровержений с нашей стороны не последует. Население этого края насчитывает тридцать пять тысяч человек, половина коих проживает в объединившихся городах — Вирджиния и Голд-Хилл. Однако на этом я прерву свой рассказ об истории Невады, не желая заинтересовать Вас чрезмерно этим далеким краем и дабы Вы не пренебрегли родным домом или верой отцов. Мы еще раз вернемся к этому через год. А теперь позвольте ответить на Ваш вопрос относительно нашего климата.

Климат у нас непостоянный, Уильям, и — увы! — напоминает многих, ах, слишком многих девушек-служанок в этом инкудильшом, инкудильшом мире. Иногда времена года смеются друг друга в установленном порядке, а то вдруг на все лето воцаряется зима, а на всю зиму — лето. Вот почему нам так и не удалось составить календарь, который соответствовал бы здешним широтам. Однако от-

существование дождей в этих краях — точно установленный факт, Уильям. Дожди обычно начинаются в ноябре и льют дня четыре, а то и всю неделю подряд, после чего со спокойной уверенностью христианина, у которого на руках все четыре туза, вы можете отдать свой зонт займам месяцев на двенадцать. Иногда зима наступает в ноябре и длится до июня, а иногда она едва дает себя знать в марте или апреле, и тогда весь остаток года занимает лето. Ну а в целом, Уильям, здешний климат, — ежели только это можно назвать климатом, — вполне сносный.

«Что родит земля?» Вы имеете в виду землю Невады, конечно. На наших фермах можно выращивать все, что произрастает на плодородных полях Миссури. Но фермы здесь — редкость, такая же редкость, как адвокаты в раю. В основном Невада — голая песчаная пустыня, украшенная тоскливыми кустами полей и огороженная, словно забором, снежными вершинами. Но именно эти отталкивающие черты и стали спасением для здешней земли, ибо ни один нормальный американец не приехал бы сюда, будь этот край легко доступен, и ни один из пионеров не обосновался бы здесь, не зная ни наверняка, что нигде не придется ему так туго, как в этих местах. Таков уж он, житель Америки, Уильям.

«Не вреден ли климат для здоровья?» Думаю, что не более вреден, чем климат любой другой части Запада. Однако не позволяйте подобным вопросам засорять Ваш мозг, ибо пока Вы во власти providения, Вам не удастся умереть раньше срока.

«От каких болезней здесь чаще всего умирают?» Видите ли, раньше умирали главным образом от свинца и холодной стали, а теперь на первое место вышли рожистое воспаление и отравление кишечника, как весьма справедливо заметил мистер Райзинг в прошлое воскресенье. Для Вашего сведения, Уильям, сообщая, что мистер Райзинг — это наш священник, приложивший, как и все мы, немало усилий, чтобы вывести наш край из состояния первобытного варварства. У нас распространены, смею думать, все болезни, встречающиеся в Штатах на этих широтах, или, может, на одну-две больше, а то и на подложкину меньше, чем в других местах, учитывая гористый характер нашей местности. А врачи здесь излечивают и отправляют на тот свет столь же успешно, как и в любом другом месте.

Что касается совета, стоит ли человеку, имеющему возможность устроиться в Миссури, эмигрировать в Неваду, то, признаюсь, я в некотором затруднении. Если Вас не удовлетворяет Ваше нынешнее положение, вполне естественно предположить, что Вы останетесь довольны, если Вам удастся хотя бы с грехом пополам заработать на пропитание. Кроме того, Вы наверняка испытаете чувство радостного волнения, которое неизбежно при всякой перемене обстановки. Пожалуй, Вы даже сможете найти свое счастье в этих краях. Здесь, если сбережешь здоровье, не сопы-

ешься и будешь прилежно трудиться, можно заработать не только на один хлеб, — ну, а если не сумеешь, так не сумеешь. Можете мне поверить, Уильям. Здесь нужны все виды деятельности, кроме одной — торговли душеспасительными брошюрами. У нас Вам не продать их, Уильям, здесь они никому не нужны; даже самые похвальные начинания, например продажа душеспасительных брошюрок с картинками, не имели здесь успеха. Да к тому же и газеты мешают. Теперь все могут ежедневно читать тексты Священного писания в газетах, вместе с биржевыми сводками и военными новостями. Если Вы занимаетесь продажей душеспасительных брошюрок, не пытайтесь счастья в округе Уошо, Уильям, зато здесь Вы сможете преуспеть на любом другом поприще.

«Я полагаю, Вы знакомы с Джоэлом Х. Смитом?» Откровенно говоря, боюсь, что нет. Не кажется ли это странным? Не кажется ли это просто невероятным? Ведь он владеет «значительной долей» в местных рудниках. Счастливцев! Он владеет рудниками в Неваде, а я даже не слышал о нем! Странно, очень странно. Если хотите, Уильям, ничего более странного со мной еще не случилось. Он не просто владеет рудниками, но «значительной долей» их. Поистине невероятно — человек владеет рудниками в Уошо, а я ничего об этом не знаю. В таком случае, ему чертовски повезло. Однако я сильно подозреваю, что Вы перепутали имя. Уверен, что перепутали. Вы имели в виду Джона Смита. Конечно, Джона Смита, ибо он владеет значительной долей рудников именно потому, что я продал ему их на крайне невыгодных, разорительных для меня условиях в тот самый день, когда он приехал сюда из прерий. Со временем этот человек будет богат. Я так же уверен в этом, как бываю уверен всякий раз, когда сталкиваюсь с такого сорта людьми. Я так и сказал ему вчера, и он ответил, что тоже уверен, что разбогатеет. Однако я не услышал в его голосе того торжества, которое так порадовало бы мою чувствительную душу, — ведь как-никак я его в некотором роде благодетельствовал. Он показался мне слегка задумчивым, но потом все-таки сказал: «Знаете, я давно был бы богатым, если нашли бы наконец эту проклятую жилу». Я и сам того же мнения. Я всегда считал и считаю по сей день, что, если только это случится, если когда-нибудь найдут эту жилу, шансы его безусловно увеличатся. Я думаю, Смит все-таки повезет в ближайшие несколько столетий, если он будет исправно платить налоги, — ведь он еще так молод. Знаете, Уильям, Вы мне тоже очень нравитесь, и я не прочь продать и Вам значительную долю рудников в Уошо. Дайте мне знать, что Вы думаете об этом. Зеленеющие по номинальной стоимости — это, пожалуй, как раз то, что мне нужно. Серьезно, Уильям, разве Вам никогда не приходилось вкладывать деньги в рудники, о которых Вам ровным счетом ничего не известно? Пусть же опыт Джона Смита послужит Вам предостережением!

Вы надеетесь в ближайшее время получить от меня весточку? Прекрасно. Я тоже надеюсь на Ваш ответ относительно того маленького дельца, которое я Вам предложил. А теперь, Уильям, хорошенько поразмыслите над этим письмом. Не обращайтесь на сарказм и явную чепуху, а поразмыслите просто над фактами, ибо факты есть факты, и изложены они лишь для того, чтобы их поняли и в них поверили.

Передайте мой искренний привет Вашим друзьям и родственникам и особенно Вашей достопочтенной бабушке, хотя я не имею счастья быть с ней знакомым; да это и не важно, не так ли? Я не раз бывал в Вашем городке; бывал и в городках по соседству. Хозяева гостиниц несомненно припомнят меня. Передайте и им мой привет. Я не злопамятен.

Преданный Вам...

В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Я побывал в полицейском участке, я провел там целую ночь. Я не стесняюсь говорить об этом, потому что здесь каждый может попасть в полицейский участок, не совершив ровно никаких проступков. Да так и повсюду, потому что полицейским весь мир отдан в лапы. Некоторое время назад я похвалил полицию в одной корреспонденции, и, когда я писал ее, я себя чувствовал виноватым и униженным — настоящим подлецом; и теперь я очень рад, что попал в полицейский участок, потому что это послужит мне уроком: никогда не надо опускаться до такой полной потери всех моральных устоев, чтобы хвалить полицию.

Неделю назад мы около полуночи возвращались с приятелем домой и увидели, что двое дерутся. И вот мы вмешались, как два дилота, и попытались их разнять, а тут подоспела свора полицейских и забрала нас всех в участок. Два или три раза мы назначали полицейскому цену, чтобы он нас отпустил (полицейские обычно берут пять долларов при оскорблении действием и, я полагаю, двадцать пять в случаях преднамеренного убийства), но на этот раз было слишком много свидетелей, и нам отказали.

Они поместили нас в разные камеры, и примерно с час я развлекался, рассматривая через решетку растрепанных старых ведьм и оборванных, избитых шалопаев, которые причитали и сквернословили в коридорах, мощенных каменными плитами, но потом это нездорово надоело мне. Я уснул на своей каменной скамье в три часа ночи, а на рассвете меня вывели, и два мерзостных полицейских повели меня под охраной в суд при полиции, будто я ограбил церковь, или сказал вдруг доброе слово о полиции, или сделал еще что-нибудь столь же подлое и противоестественное.

Четыре часа мы сидели на деревянных скамьях в арестантской, отгороженной от зала суда, ожидая приговора, — именно при-

говора, а не суда, потому что они здесь не судят людей, а только отбирают у них часть наличных денег и отправляют на все четыре стороны без всяких церемоний. У нас там собралась прелевая публика, только мы все очень устали и хотели спать. В этой компании было три вполне приличных молодых человека, к тому же еще и хорошо одетых: один — клерк, другой — студент колледжа, а третий — торговец из Индианы. Двое из них воевали на стороне северян, а третий — на стороне их противников, и все трое сражались при Антьетама. Торговца арестовали за то, что он был пьян, а двух других молодых джентльменов — за оскорбление действием. Был там еще жалкий, болезненный, окровавленный и обрюзгший старый бродяга, которого, по его словам, сначала вытолкали из пивнушки, а потом еще и арестовали. Он сказал, что уже много раз бывал в участке, и я спросил:

— Что, они с вами сделают?

— Дней десять дадут, — при этом он ткнул пальцем через плечо в сторону полицейских и выразительно пожал плечами.

Был там еще негр, у которого из разбитой головы обильно лилась кровь. Этого ничего не рассказывал.

В углу сидела старая карга — один глаз у нее был подбит, и под ним красовался огромный синяк, а вторым она пьяно косилась на мир; весь костюм ее состоял из грязного ситцевого платья, какой-то ужасной шали да пары домашних туфель, которые звали в лучшие времена, но это было так давно, что о них и сама старуха уже забыла. Время ожидания тянулось медленно, и я решил пока изучить как следует общество, в котором очутился. Я подсел к старухе и завязал с ней разговор. Она оказалась весьма общительной и рассказала, что живет у Файв-Пойнтьс и, наверное, уж очень здорово напилась, если забрела так далеко от дома. Она сказала, что была замужем, но муж куда-то отчалил, а потом она сошлась с другим, и у них был ребенок... да, маленький мальчик... а только ей все было не до него, то надо выпить, то еще добавить, чтобы не протрезветь, — вот он и умер однажды почью с голоду, а может, и замерз, кто его знает... а может, и то и другое вместе, потому что у них никакого постельного белья не было, и вообще были одни ставни, а прямо через крышу снег так и валил.

— Да, ему чертовски повезло, — сказала она, — ох, и паршиво бы ему пришлось, если бы он выжил!

Тут она захихикала, а потом спросила у меня табачку пожевать и сигару. Я дал ей сигару и занял для нее табак, тогда она подмигнула мне с танцовщиным видом и вытащила из-под шали флажку с джином. Она сказала, что они там, в полиции, думают, будто очень ловко ее обыскали, но она тоже не вчера на свет родилась. Я отказался от ее приглашения выпить, и она сказала, что ей обеспечено десять суток, но уж, надо думать, она их выдержит, потому что, если б у нее

было столько долларов, сколько дней она провела в кутузке, она могла бы купить себе водочный завод.

Были в ишей небольшой компании и две уличные девчонки — одна шестнадцати, другая семнадцати лет, и, как они говорили, арестовали их за то, что они будто бы приставали на улице к джентльменам, занимаясь своим ремеслом, но они отрицали это и уверяли, что те сами сделали первые шаги к знакомству; потом они обе заплакали, но не оттого, что им было стыдно сидеть в полицейском участке, а оттого, что им предстояло провести несколько дней в тюрьме, в обществе несколько менее утонченным, чем они привыкли. Я сочувствовал бедным девочкам: как жаль, что милосердный снег не заморозил и их заодно, послав им мирное забвение и забывив от жизненных тревог и неприятностей.

Около восьми часов утра начали прибывать за решетку новые пташки, и трое молодых соседей оживились и стали приветствовать каждого нового посетителя.

— Еще один делегат! Будьте добры, ваши верительные грамоты, сэр! Секретарь занесет имя джентльмена в почетный список с упоминанием его особых заслуг. Оскорбленные действием, сэр? Нарушение порядка? Кража? Поджог? Грабеж на большой дороге? Ах, просто пьянство? Запишите в состоянии опьянения, но виновен. Место, леди и джентльмены, место почетному делегату от трущоб Файв-Пойнтс!

Так, за шуточками и болтовней, нескучно шло время. И вдруг я увидел на стене надпись, от которой меня бросило в пот. Я будто почувствовал на себе чей-то обвиняющий насмешливый взгляд. Надпись гласила (и как знакома была мне эта надпись): «Неприятности начнутся в восемь!» Как хорошо помню я тот день, когда придумал эту фразу в редакции «Морнинг колл», сочиняя объявление о своей первой лекции в Сан-Франциско; и подумайте только, что бы мог предвидеть в тот день, что мне еще доведется прочесть эту надпись на тюремной стене за многие сотни километров от Сан-Франциско! Когда я написал эти слова в первый раз, я улыбнулся своей выдумке, но теперь, когда я представил, как тяжело было на сердце у бедняги, нацарапавшего здесь эти слова, и как он тосковал о лучшей доле, — в словах этих мне открылось что-то трогательное, волнующее, чего я раньше в них и не подозревал. То, что я пишу сейчас, — не плод воображения, я просто пытаюсь набросать картину того, что происходило со мной в мерзостном нью-йоркском училище для недоед и для несчастных.

В девять часов мы вышли один за другим под охраной и предстали перед судьей. Я посоветовался с ним, имеет ли мне смысл заявлять протест на том основании, что я был арестован и заключен сюда незаконно, но он сказал, что это принесет только хлопоты и лучше мне не причинять себе лишнего беспокойства, поскольку все равно никто не узнает, что я сидел в полицейском участке, если

только я сам об этом не скажу. С этим он меня и отпустил. Я побыл там еще немного и посмотрел, как он отправляет правосудие. Оказалось, что в случае мелких проступков вполне достаточно было показаний полицейского, записанных в протокол, и приговор выносился без всякого опроса обвиняемого или свидетелей. Потом я пошел прочь, очень довольный, что побывал в полицейском участке и узнал о нем все на своем собственном опыте, но при этом не испытывая ни малейшего желания продолжать свои изыскания в этой области.

ЛЮДОЕДСТВО В ПОЕЗДЕ

Не так давно я ездил в Сент-Луис; по дороге на Запад на одной из станций, уже после пересадки в Терре-хот, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного вида джентльмен лет сорока пяти — пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником. Услышав, что я из Вашингтона, он тут же принялся расспрашивать меня о видных государственных деятелях, о делах в конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком, который прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости парламентской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки на секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора:

— Гаррис, дружище, окажи мне эту услугу, век тебя буду помнить...

При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. «Видно, они навесили ему какое-то очень приятное воспоминание», — подумал я. Но тут лицо его стало задумчивым и помрачнело. Он повернулся ко мне и сказал:

— Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей жизни; я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте внимательно и обещайте не перебивать.

Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие; голос его порой звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до последнего было проникнуто искренностью и большим чувством.

РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА

Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент-Луис. В поезде было двадцать четыре пассажира, и все мужчины. Ни женщин, ни детей. Настроенное было превосходное, и скоро все перзаникомились. Путешествие обещало быть приятнейшим; и помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вско-

ре нам предстоит пережить нечто поистине кошмарное.

В одиннадцать часов вечера поднялась метель. Проехали крохотное селение Уэдден, и за окнами справа и слева потянулись бесконечные унылые прерии, где не встретишь жилья на многие мили вплоть до самого Джубили-Сеттлмента. Ветру ничто не мешало на этой равнине — ни лес, ни горы, ни одинокие скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший клочья пены, что летают в бурю над морем. Белый покров рос с каждой минутой; поезд замедлил ход, — чувствовалось, что паровичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы останавливались среди огромных белых валов, оставшихся на нашем пути подобно гигантским могилам. Разговоры стали смолкать. Недавнее оживление уступило место угрюмой озабоченности. Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ловушке посреди этой ледяной пустыни, в пятидесяти милях от ближайшего жилья.

В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревожного забытия. Мгновенно пришла на ум страшная мысль: нас занесло! «Все на помощь!» — пронеслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказание. Мы выскакивали из теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак; ветер обжигал лицо, стеной валил снег, но мы знали — секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки, доски — все, чем было можно разгребать снег, пошло в ход. Это была страшная, полужанровая картина: горстка людей отчаянно воюет с растущими на глазах сугробами, суетящиеся фигурки то исчезают в черноте ночи, то возникают в красном тревожном свете от фонаря локомотива.

Потребовалась лишь одна короткая минута, чтобы мы поняли всю тщетность наших усилий. Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер наматал на дороге десятки новых. Но хуже было другое: во время последнего решительного натиска на врага у нашего паровичка лопнула продольная ось. Расчисти мы все полотно, мы и тут не смогли бы двинуться с места. Выбившись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню и стали обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. Замерзнуть мы не могли: на паровозе полный тендер дров — наше единственное утешение. В конце концов все согласились с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, что любой из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят миль. Значит, на помощь рассчитывать нечего, посылать не посылать — все без толку. Остается одно: терпеливо и покорно ждать — чудесного спасения или голодной смерти. Понятно, что и самое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах.

Прошел час, громкие разговоры смолкли, в короткие минуты затишья там и сям слышался приглушенный шепот; пламя в лампах

стало гаснуть, по стенам поползли дрожащие тени; несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления, стараясь по возможности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон.

Бесконечная ночь лилась целую вечность, — нам и в самом деле казалось, что ей не будет конца, — медленно убывала час за часом, и наконец на востоке забрезжил серый, студеный рассвет. Становилось светлее, пассажиры задвигались, закопошились — тот поправляет съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудившись, тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы, безрадостная! Никаких признаков жизни, ни дыма, ни колеи, только бесконечная белая пустыня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег и мириады взвихренных снежных хлопьев густой пеленой застилают небо.

Весь день мы в унынии бродили по вагонам, говорили мало, больше молчали и думали. Еще одна томительная, бесконечная ночь и голод.

Еще одна рассвет — еще один день молчания, тоски, измучающего голода, бессмысленного ожидания помощи, которой неоткуда прийти. Ночью, в тяжелом сне — праздничные столы, ломающиеся от яств; утром — горькое пробуждение и снова муки голода.

Наступил четвертый день и прошел; наступил пятый! Пять дней в этом страшном заточении! В глазах у всех прятался страх голода. И было в их выражении нечто такое, что заставляло содрогнуться: взгляд выдавал то пока еще не осознанное, что поднималось в каждой груди и чего никто еще не осмеливался вымолвить.

Минувал шестой день, рассвет седьмого занялся над исхудалыми, измученными, отчаявшимися людьми, из которых уже легла тень смерти. И час пробил! То неосознанное, что росло в каждом сердце, было готово сорваться с каждого уст. Слишком большое испытание для человеческой природы, долгие терпеть неумоготу. Ричард Х. Гастон из Миннесоты, длинный, бледный, тощий, как скелет, поднялся с места. Мы знали, о чем он будет говорить, и приготовились: всякое чувство, всякий признак волнения упрятаны глубоко; в глазах, только что горевших безумием, лишь сосредоточенное строгое спокойствие.

— Дженглмен! Медлить дольше нельзя. Время не терпит. Мы с вами сейчас должны решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пропитанием остальным.

Следом выступил мистер Джон Д. Уильямс из Штата Иллинойс:

— Господа, я выдвигаю кандидатуру предположительно Джеймса Соера из штата Теннесси.

Мистер У. Р. Адамс из штата Индиана сказал:

— Предлагаю мистера Дэниела Слоута из Нью-Йорка.

Мистер Чарльз Д. Лэйнгдон. Вы-

двнгаю мистера Сэмюэла А. Боуэна из Сент-Луиса.

Мистер Слоут. Джентльмены, я хотел бы отвести свою кандидатуру в пользу мистера Джона А. Ван-Ностранда-младшего из Нью-Джерсен.

Мистер Гастон. Если не будет возражений, просьбу мистера Слоута можно удовлетворить.

Мистер Ван-Ностранд возражал, и просьбу Дэниела Слоута не удовлетворили. С самоотводом выступили также господа Соьер и Боуэн; самоотвод их, на том же основании, не был принят.

Мистер А. Л. Баском из штата Огайо. Предлагаю подвести черту и перейти к тайному голосованию.

Мистер Соьер. Джентльмены, я категорически возражаю против подобного ведения собрания. Это против всяких правил. Я требую, чтобы заседание было прервано. Надо, во-первых, избрать председателя, затем, в помощь ему, заместителей. Вот тогда мы сможем должным образом рассмотреть стоящий перед нами вопрос, сознавая, что ни одно парламентское установление нами не нарушено.

Мистер Билл из Айовы. Господа, я протестую. Не время и не место разводить церемонии и настаивать на пустых формальностях. Вот уже семь дней у нас не было во рту ни крошки. Каждая секунда, истраченная на пустые пререкания, лишь удваивает наши муки. Что касается меня, я вполне удовлетворен названными кандидатурами, как, кажется, и все присутствующие; и я со своей стороны заявляю, что надо без промедления приступить к голосованию и избрать кого-нибудь одного, хотя... впрочем, можно и сразу нескольких. Вношу следующую резолюцию...

Мистер Гастон. По резолюции могут быть возражения; кроме того, согласно процедуре, мы сможем принять ее только по истечении суток с момента прочтения. Это лишь вызовет, мистер Билл, столь нежелательную для вас проволочку. Слово предоставляется джентльмену из Нью-Джерсен.

Мистер Ван-Ностранд. Господа, я чужой среди вас, и я вовсе не искал для себя столь высокой чести, какую вы мне оказали. Поймите, мне кажется неудобным...

Мистер Морган из Алабамы (прерывая). Поддерживаю предложение мистера Соьера!

Предложение было поставлено на голосование, и прения, как полагается, были прекращены. Предложение прошло, председателем избрали мистера Гастона, секретарем мистера Блейка, в комиссию по выдвинутой кандидатуре вошли господа Холкомб, Дайер и Болдуин, для содействия работе комиссии был избран Р. М. Хоулман, по профессии поставщик продовольственных товаров.

Объявив полчасовой перерыв, комиссия удалилась на совещание. По стуку председателяского молотка участники заседания вновь заняли места, комиссия зачитала список. В числе кандидатов оказались господа Джордж

Фергюссон из штата Кентукки; Люсьен Херрман из штата Луизиана и У. Мессик, штат Колорадо. Список в целом был одобрен.

Мистер Роджерс из штата Миссисипи. Господин председатель, я вношу следующую поправку к докладу комиссии, который на сей раз был представлен на рассмотрение палаты в соответствии со всеми правилами процедуры. Я предлагаю вместо мистера Херрмана внести в список всем известного и всеми уважаемого мистера Гарриса из Сент-Луиса. Господа, было бы ошибкой думать, что я хоть на миг подвергаю сомнению высокие моральные качества и общественное положение джентльмена из Луизианы, я далек от этого. Я отношусь к нему с не меньшим почтением, чем любой другой член нашего собрания. Но нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что этот джентльмен потерял в весе за время нашего пребывания здесь значительно более других; никто из нас не имеет права закрывать глаза на тот факт, что комиссия — не знаю, просто ли по халатности, или из каких-либо неблагоприятных побуждений — пренебрегла своими обязанностями и представила на голосование джентльмена, в котором, как бы ни были чисты его помыслы, слишком мало питательных веществ...

Председатель. Мистер Роджерс, лишая вас слова. Я не могу допустить, чтобы честность членов комиссии подвергалась сомнению. Все недовольства и жалобы прошу подавать на рассмотрение в строгом соответствии с правилами процедуры. Каково мнение присутствующих по этой поправке?

Мистер Холлидей из штата Виргиния. Вношу еще одну поправку. Предлагаю заменить мистера Мессика мистером Харвеем Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возразить, что полная лишений и трудностей жизнь далеких окраин сделала плоть мистера Дэвиса чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недостаточная мягкость? Время ли придираться к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять чрезмерную разборчивость? Объем — вот что интересует нас прежде всего, объем, вес и масса — теперь это самые высокие достоинства. Что там образование, что талант, даже гений. Я настаиваю на поправке.

Мистер Морган (горячась). Господин председатель, я самым решительным образом протестую против последней поправки. Джентльмен из Орегона уже весьма не молод. Объем его велик, не спорю, но это все кости, отнюдь не мясо. Быть может, господину из Виргинии будет довольно бульона, я лично предпочитаю более плотную пищу. Уже не издается ли он над нами, он что — хочет накормить нас тенью? Не смеется ли он над нашими страданиями, подсовывая нам этого орегонского призрака? Я сирфиваю его, как можно смотреть на эти умоляющие лица, в эти полные скорби глаза, как можно слышать нетерпеливое биение наших сердец и в то же время навязывать нам этого замо-

ренного голодом обманщика? Я спрашиваю мистера Холлидея, можно ли, помня о нашем бедственном положении, о наших прошлых страданиях, о нашем беспресветном будущем, — можно ли, я спрашиваю, так упорно всучивать нам эту развалину, эти живые мощи, эту костлявую, скрюченную болезнями, засохшую обезьяну, поступившую к нам с негостеприимных берегов Орегона? Нельзя, господа, ни в коем случае нельзя. (Аплодисменты.)

Поправка была поставлена на голосование и после бурных прений отклонена. Что касается первого предложения, оно было принято, и мистера Гарриса внесли в список кандидатов. Началось голосование. Пять раз голосовали без всякого результата, на шестой выбрали Гарриса: «за» голосовали все; «против» был только сам мистер Гаррис. Предложили проголосовать еще раз: хотелось избрать первого кандидата единогласно, — это, однако, не удалось, ибо и на сей раз Гаррис голосовал против.

Мистер Радвей предложил перейти к обсуждению следующих кандидатов и выбрать кого-нибудь на завтрак. Предложение приняли.

Стали голосовать. Мнения присутствующих разделялись — половина поддерживала кандидатуру мистера Фергюссона по причине его юных лет, другая настаивала на избрании мистера Мессика, как более крупного по объему. Президент высказался в пользу последнего, голос его был решающим. Такой оборот дела вызвал серьезное неудовольствие в лагере сторонников потерпевшего поражение Фергюссона, был поднят вопрос о новом голосовании, но кто-то вовремя предложил закрыть вечернее заседание, и все быстро разошлось.

Подготовка к ужину завладела вниманием фергюссоновской фракции, и они позабыли до поры до времени свои огорчения. Когда же они снова принялись было сетовать на допущенную по отношению к ним несправедливость, подоспела счастливая весть, что мистер Гаррис подаи, и все их обиды как рукой сняло.

В качестве столов мы использовали спинки сидений; с сердцами, исполненными благодарности, рассаживались мы за ужин, величие которого превзошло все созданное нашей фантазией за семь дней голодной пытки. Как изменились мы за эти несколько коротких часов! Еще в полдень — тупая, безысходная скорбь, голод, лихорадочное отчаяние; а сейчас — какая сладкая истома на лицах, в глазах признательность, — блаженство такое полное, что нет слов его описать. Да, то были самые счастливые минуты в моей богатой событиями жизни. Снаружи выла вьюга, ветер швырял снег о стены нашей тюрьмы. Но теперь ни снег, ни вьюга были нам не страшны. Мне поирравился Гаррис. Вероятно, его можно было приготовить лучше, но, уверяю вас, ни один человек не пришелся мне до такой степени по вкусу, ни один не возбудил во мне столь приятных чувств. Мессик

был тоже недурен, правда с некоторым привкусом. Но Гаррис... я безусловно отдаю ему предпочтение за высокую питательность и какое-то особенно нежное мясо. У Мессика были свои достоинства, не хочу и не буду их отрицать, но, сказать откровенно, он подходил для завтрака не больше чем мумия. Мясо жесткое, нежирное; такое жесткое, что не разжеушь! Вы и представить себе это не можете, вы просто никогда ничего подобного не ели.

— Простите, вы хотели сказать...

— Сделайте одолжение, не перебивайте. На ужин мы выбрали джентльмена из Детройта, по имени Уокер. Он был превосходен. Я даже написал об этом впоследствии его жене. Выше всяких похвал. Еще и сейчас, как вспомню, слюнки текут. Разве что самую малость нежираренный, а так очень, очень хорош. На следующий день к завтраку был Морган из Алабамы. Прекрасной души человек, ни разу не приходилось отвешивать подобно: красавец собой, образован, отменные манеры, знал несколько иностранных языков, — словом, истинный джентльмен. Да, да, истинный джентльмен, и притом необыкновенно сочный. На ужин подали того самого древнего старца из Орегона. Вот уж кто и впрямь оказался негодным обманщиком — старый, тощий, жесткий, как мочала, трудно даже поверить. Я не выдержал.

— Джентльмены, — сказал я, — вы как хотите, а я подожду следующего.

Ко мне тут же присоединился Граймс из Иллинойса.

— Господа, — сказал он, — я тоже подожду. Когда изберут человека, имеющего хоть какое-нибудь основание быть избранным, буду рад снова присоединиться к вам.

Скоро всем стало ясно, что Дэвис из Орегона нигде не годится, и, чтобы поддержать доброе расположение духа, воцарившееся в нашей компании после съедения Гарриса, были объявлены новые выборы, и нашим избранныком на этот раз оказался Бейкер из Джорджии. То-то мы полакомились! Ну, а дальше мы съели одного за другим Дулиттла, Хокниса, Макэлроя (тут были неудовольствия — слишком мал и худ), потом Пеирода, двух Смитов, Бейли (у Бейли одна нога оказалась деревянной, что, конечно, было весьма некстати, но в остальном он был неплох), потом съели юношу-индейца, потом шарманщика и одного джентльмена по имени Бакиннстер — прескучнейший был господин, без всяких достоинств, к тому же весьма посредственного вкуса, хорошо, что его успели съесть до того, как пришла помощь.

— Ах, так, значит, помощь пришла?

— Ну да, пришла — в одно прекрасное солнечное утро, сразу же после голосования. В тот день выбор пал на Джона Мэрфи, и, клянусь, нельзя было выбрать лучше. Но Джон Мэрфи вернулся домой вместе с нами цел и невредим, в поезде, что пришел на выручку. А вернувшись, женился на вдове мистера Гарриса...

— Гарриса?

— Ну да, того самого Гарриса, что был

первым нашим избравником. - И представьте — счастлив, разбогател, всеми уважаем! Ах, до того романтично, прямо как в книгах пишут. А вот и моя остановка. Желая вам счастливого пути. Если выберете время, приезжайте ко мне на денек-другой, буду счастлив вас видеть. Вы мне понравились, сэр. Приятного путешествия.

Он ушел. Я был потрясен, расстроен, смущен как никогда в жизни. И вместе с тем в глубине души я испытывал облегчение, что этого человека нет больше рядом со мной. Несмотря на его мягкость и обходительность, меня всякий раз мороз подбирал по коже, как только он устремлял на меня свой алчный взгляд, а когда я услышал, что пришлось ему по вкусу и что в его глазах я ничуть не хуже бедняги Гарриса — мир праху его, — меня буквально объял ужас.

Я был в полном смятении. Я повернул каждому его слову. Я просто не мог сомневаться в подлинности этой истории, рассказанной с такой неподдельной искренностью; но ее страшные подробности ошеломили меня, и я никак не мог привести в порядок своих расстроившихся мыслей. Тут я заметил, что кондуктор смотрит на меня, и я спросил его:

— Кто этот человек?

— Когда-то он был членом конгресса, и притом всеми уважаемым. Но однажды поезд, в котором он куда-то ехал, попал в снежный занос, и он чуть не умер от голода. Он так изголодался, перемерз и обморозился, что заболел в течение двух-трех дней не в своем уме. Сейчас он ничего, здоров, только есть у него одна навязчивая идея: стоит ему коснуться своей любимой темы, он будет говорить, пока не съест всю компанию. Он бы и сейчас никого не пощадил, да остановка помешала. И все имена помнит наизубок, никогда не сожалеет. Расправившись с последним, он обычно заканчивает свою речь так: «Подшло время выбрать очередного кандидата на завтра; ввиду отсутствия других предложений на сей раз был избран я, после чего я выступил с самоотводом, — возражений, естественно, не последовало, просьба моя была удовлетворена. И вот я здесь, перед вами».

Как легко мне снова давалось! Значит, все рассказанное — это всего-навсего безобидные бредни несчастного помешанного, а не подлинное приключение кровавого людоеда.

ЧЕРНОКОЖИЙ СЛУГА ГЕНЕРАЛА ВАШИНГТОНА

(Биографический очерк)

Необычайная жизнь этого знаменитого негра началась, собственно говоря, с его смертью, — нными словами, самые волнующие события его биографии произошли после того, как он умер в первый раз. До этого он был почти неизвестен, но потом мы уже не переставали слышать о нем; мы слышали о нем снова и снова. Он сделал удивительней-

шую карьеру, а я решил, что ее история послужит ценным вкладом в нашу биографическую литературу. Вот почему я тщательно сопоставил материалы, взятые из достоверных источников, и предлагаю их вниманию публики. Все сомнительное я безжалостно исключил, так как собираюсь передать эту работу в школы нашей страны как учебное пособие для молодежи.

Прославленного слугу генерала Вашингтона звали Джордж. Полвека он верой и правдой служил своему великому господину, все это время пользовался его особым расположением и доверием и наконец исполнил печальный долг, опустив своего возлюбленного господина в тихую могилу на берегу Потомака. Десять лет спустя — в 1809 году, обремененный годами и наградами, он умер и сам, оплакиваемый всеми, кто его знал. Бостонская «Газета» сообщила об этом так:

«В четверг, в Ричмонде, штат Виргиния, в почтенном возрасте 95 лет умер любимый слуга покойного Вашингтона—Джордж. До последней минуты он находился в здравом уме и твердой памяти. В свое время он присутствовал при вторичном вступлении Вашингтона на пост президента, а также на его похоронах и отчетливо, до мелочей, помнил эти знаменательные события».

С тех пор о любимом слуге генерала Вашингтона не было слышно до мая 1825 года, когда он умер снова, Филадельфийская газета рассказала об этом печальном происшествии так:

«В Мейконе, штат Джорджия, на прошлой неделе умер в завидном возрасте 95 лет любимый слуга генерала Вашингтона, негр Джордж. До конца своей жизни он сохранял ясность мысли и отчетливо помнил вторичное избрание Вашингтона, его смерть и похороны, поражение Корнваллиса, битву при Треенте, невзгоды и лишения в Вэлли-Фордж и т. д. Покойного провожало на кладбище все население Мейкона».

В 1830, а затем в 1834 и 1836 годы имя героя этого очерка звучало в торжественных выступлениях ораторов по случаю празднования Четвертого июля, а в ноябре 1840 года он умер снова. Сент-Луисская «Репаблкен» 25 числа этого месяца сообщала:

«ЕЩЕ ОДНОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО

Вчера в нашем городе, в доме м-ра Джона Леви-ворта, в преклонном возрасте 95 лет, умер Джордж, некогда любимый слуга генерала Вашингтона. Он сохранял ясность мысли вплоть до смертного часа и мог отчетливо вспомнить первое и второе избрание, а также смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы при Треенте и Монмауте, невзгоды армии патриотов в Вэлли-Фордж, провозглашение Декларации независимости, речь Патрика Генри в палате депутатов Виргинии и другие волнующие события далекого прошлого. Не многих белых провожают в последний путь с такой скорбью, как этого престарелого негра. Ему были устроены пышные похороны».

В следующие десять—одиннадцать лет героя этого очерка неоднократно прославляли на торжествах Четвертого июля в различных частях страны, и о нем лестно отзывались ораторы. Но в 1855 году он умер снова. Калифорнийские газеты писали об этом так:

«ЕЩЕ ОДНОГО СТАРОГО ГЕРОЯ НЕ СТАЛО»

7 марта в Датч-Флэт, на 95-м году жизни, умер Джордж (некогда доверенный слуга генерала Вашингтона). В сокровищнице его памяти, которая не изменяла ему до последнего часа, хранилось множество интереснейших событий. Он отчетливо помнил первое и второе избрание и смерть президента Вашингтона, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмюте и Банкер-Хилле, провозглашение Декларации независимости и разгром Брэдока. Джордж пользовался в Датч-Флэт большим уважением, и по приблизительным подсчетам на его похороны присутствовало около десяти тысяч человек.

Последний раз герой этого очерка умер в июне 1864 года; и пока не поступят новые сведения, можно полагать, что теперь уже навсегда. Мичиганские газеты так отметили это печальное событие:

«ЕЩЕ ОДНОГО НЕЗАБВЕННОГО ВЕТЕРАНА РЕВОЛЮЦИИ НЕ СТАЛО»

На прошлой неделе в Детройте умер 95-летний патриарх, некогда любимый слуга генерала Вашингтона — негр Джордж. До самой кончины он сохранял ясный ум и мог четко припомнить первое и второе избрание Вашингтона президентом и его смерть, поражение Корнваллиса, битвы при Трентоне, Монмюте и Банкер-Хилле, провозглашение Декларации независимости, разгром Брэдока, «Бостонское чаепитие» и высадку английских колонистов. Он пользовался большим уважением, и его похороны вызвали огромное стечение народа.

Не стало старого верного слуги! Нам уж не увидеть его больше, пока он не воскреснет снова. На этот раз его долгая блестящая посмертная карьера закончилась, и он мирно спит, как спят только те, кто заслужил свой отдых. Это была личность во всех отношениях замечательная. История не знает другого примера, когда бы знаменитый человек так легко нес бремя своих лет; и чем дольше он жил, тем острее и лучше становилась его память. Если б он ожил, чтобы снова умереть, то отчетливо вспоминал бы открытие Америки.

Полагаю, что представленная здесь краткая биография Джорджа в основном правильна, хотя возможно, что он раза два умирал в уединенных местах, где это событие ускользнуло от внимания газет. Одну только ошибку я обнаружил во всех заметках о его смерти, и ее необходимо исправить. В них он постоянно и неизменно умирает 95-ти лет от роду. Это исключено. В каком возрасте можно умереть раз, в лучшем случае два, но не до бесконечности. Если впервые он и скончался 95-ти лет, то в 1864 году, когда он умер в последний раз, ему уже было 151. Но и этот возраст не соответствует воспоминаниям Джорджа. Перед последней смертью он отчетливо помнил высадку колонистов, которая произошла в 1620 году. Ему могло быть около двадцати, когда он стал свидетелем этого события, следовательно, можно считать, что к тому времени, когда слуга генерала Вашингтона навсегда ушел из жизни, ему было примерно лет двести шестьдесят — двести семьдесят.

Выждав достаточное время, дабы убедиться, что герой этого очерка покинул нас окончательно и бесповоротно, я теперь смело пуб-

ликую его биографию и, притворно предлагая ее безутешной нации.

Р. С. Я только что узнал из газет, что этот бесчестный старый мошенник умер снова в Арканзасе. Таким образом, он умирает уже шестой раз, и опять в новом месте. Смерть слуги генерала Вашингтона теперь уже не новость, ее очарование исчезло; мы сыты его по горло, с нас хватит. Этот исполненный благих намерений, но стоящий на ложном пути негр заставил население шести городов устроить ему пышные похороны и надолг десятки тысяч людей, которые провожали его на кладбище в полной уверенности, что эта исключительная честь выпала только на их долю. Похороним же его теперь навсегда и сурово осудим газету, которая когда-либо в будущем сообщит миру, что этот негр, любимый слуга генерала Вашингтона, умер снова.

КОГДА Я СЛУЖИЛ СЕКРЕТАРЕМ

Я уже больше не личный секретарь сенатора. В течение двух месяцев я с удовольствием занимал это теплое местечко и уверенно глядел в будущее, но, как сказано в Писании про хлеб, отпущенный по водам: «по прошествии многих дней опять найдешь его», — так мои творения вернулись ко мне, и все обнаружилось. Я счел за благо подать в отставку. Расскажу, как все это произошло. Однажды мой сенатор вызвал меня в довольно ранний час, и, вписав тайком еще две-три головоломки в его новую гениальную речь по вопросам финансов, я пошел к нему. Вид у сенатора был злобный: галстук развязан, волосы растрепаны, на лице признаки надвигающейся бури. Сенатор крепко сжимал пачку писем, и я сразу понял, что пришла почта с Тихоокеанского побережья, которой я все время так боялся.

— Я считал вас достойным доверия, — заговорил сенатор.

— Так точно, сэр.

— Я передал вам письмо, — продолжал сенатор, — от нескольких моих избирателей из штата Невада, ходатайствовавших об учреждении почтовой конторы в Болдвин-рэнче. Я велел вам составить ответ полнее, с такими доводами, которые убедили бы этих людей, что почтовая контора им не нужна.

У меня отлегло от сердца. Я сказал:

— И только, сэр? Это я выполнил.

— Выполнили, да? Сейчас я вам прочитаю ваше послание, чтобы вас хорошенько пристыдить!

«ГОСПОДАМ СМИТУ, ДЖОНСУ И ДРУГИМ

Вашингтон, 24 ноября

Джентльмены!

На кой черт сдались вам почтовая контора в Болдвин-рэнче? Ведь вам от нее не будет решительно никакой пользы. Если даже вы получите какое-нибудь письмо, вы все равно не сумеете его прочесть; что же касается транзитной почты со вложенным денег, то лег-

ко догадаться, где будет застревать эти денги! Все мы тогда не обмерем неприято-стей. Нет, бросьте и думать насчет почтовой конторы. Я стою на страже ваших интересов и считаю, что ваша затея — просто чепуха с бантиками. Что вам действительно необходи-мо — так это удобная тюрьма, удобная, вме-стительная тюрьма; и еще — бесплатная на-чальная школа. От них вам и впрямь будет польза. От них вам будет радость и счастье. Соответствующие меры приму незамедли-тельно.

С совершенным почтением, *Марк Твен.*

По поручению члена сената США

Джеймса У. Н.»

Вот что вы ответили моим избирателям! Те-перь они грозят меня повесить, если я когда-нибудь осмелюсь появиться в их округе. И можно не сомневаться, что они свое слово сдержат!

— Да, сэр, но ведь я не знал, что мое письмо принесет вам ущерб. Я только хотел их убедить!

— Убедил, нечего сказать! А вот еще об-разчик вашего творчества. Я передал вам прошение, подписанное группой лиц из Нева-ды, — они хотели, чтоб я провел через кон-гресс США закон об учреждении в их штате церковной корпорации методистской еписко-пальной церкви. Я поручил вам ответить, что такими делами, как издание закона об учреждении подобных корпораций, занимают-ся законодательные органы штата. Я также просил вас попытаться объяснить этим лю-дям, что, ввиду того что религиозные ростки еще слабы в нашем новом штате Невада, ед-ва ли есть вообще необходимость создавать церковную корпорацию. Что же вы им напи-сали?

«ЕГО ПРЕПОДОБИЮ ДЖОНУ ГАЛИФАКСУ
И ПРОЧИМ

Вашингтон, 24 ноября

Джентльмены!

По поводу затеянной вами спекуляций об-ратитесь в законодательное собрание штата, ибо конгресс Соединенных Штатов никакого отношения к религии не имеет. Впрочем, и туда не спешите: вы задумали невыгодное де-ло, точнее сказать — смехотворное дело. Ну чего стоят сторонники религии, от имени ко-торых вы выступаете? Это же сущие недо-носки в интеллектуальном, нравственном, ре-лигиозном, да и в других отношениях! Брось-те стараться, ничего из этой затеи не выйдет. Ведь корпорация такого типа не имеет права выпускать акции, а дай вам эту возможность, так вы никогда из беды не выпутаетесь! Дру-гие церкви и секты станут поносить вас, иг-рать «на понижение», сбивать цены и разорят вас вконец. Они поступят так же, как приня-то поступать в ваших краях с серебряными рудниками: прокричат на весь мир, что ваша корпорация «липа». Нет, напрасно вы затея-ли дело, прямо рассчитанное на посрамление святой церкви. Постыдились бы! В конце ва-шего прошения стоят слова: «И мы будем

вечно молиться!» Вот это да, это вам дейст-вительно полезно.

С совершенным почтением, *Марк Твен.*

По поручению члена сената США

Джеймса У. Н.»

Это блестящее послание навеки поссорило меня со всеми моими избирателями, кому до-рога религия. Но свою подготовку к полити-ческому самоубийству я на этом не кончил. Черт меня дернул передать вам письмо от старейших членов муниципального управле-ния города Сан-Франциско. Эти уважаемые джентльмены обратились ко мне с просьбой провести через конгресс закон о закреплении за их городом каких-то прибрежных участков. Я сказал вам, что в эту историю вмешивать-ся опасно. Я велел ответить этим старцам в неопределенном духе, обходя, насколько воз-можно, вопрос о прибрежных участках. Я вам сейчас прочтаю, что вы написали, якобы по моему приказу, и если у вас сохранилась хоть капля совести, вас должен наконец пронять стыд!

«ПОЧТЕННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДА САН-ФРАНСИСКО

Вашингтон, 27 ноября

Джентльмены!

Джордж Вашингтон, возлюбленный отец американского народа, лежит в могиле. Его долгий славный жизненный путь преврал-ся — увы! — навсегда. Вашингтона почтали в наших краях, и его безвременная кончина повергла в скорбь все население. Джордж Вашингтон скончался 14 декабря 1799 года, тихо покинув мир, где так прославился и столь много совершил, где был любим и опла-кан как никто другой из почивших героев. И в такое время у нас на уме судьба каких-то земельных участков! А судьба бедного Ва-шингтона вас не волнует?!

Что есть слава? Порождение случая! Сэр Исаак Ньютон открыл, что яблоки падают на землю, — честное слово, такие пустяковые от-крытия делал до него миллионы людей. Но у Ньютона были влиятельные родители, и они раздули этот банальный случай в чрез-вычайное событие, а простакни подхватили их крик. И вот в одно мгновение Ньютон стал знаменит. Советую вам это крепко запо-мнить.

Поэта сладостная лира приносит много счастья миру!

У девочки Мэри живет барашек, белый и нежный,
только пушок.
Как только Мэри выходит за двери, барашек за ней
сразу — скок!

Джек и Джил несли вдвоем
Воду из колодца.
Джек скатился кувырком,
Джил над ним смеется.

По простоте, изыскав слога, а также полному отсутствию безнравственных тенден-ций я считаю эти два стихотворения шедев-рами. Они годятся для людей самых различ-ных умственных способностей, их можно чи-тать всюду: в поле, в детской, в мастерской.

ремесленника. И уж разумеется — ни одно муниципальное управление не должно пройти мимо них.

Почтенные ископаемые! Жду от вас дальнейших писем. Ничто так благотворно не влияет на человека, как дружеская переписка. Пишите еще, и если в вашей петиции имелась какой-нибудь смысл, то, не стесняясь, разъясните, в чем дело. Всегда будем рады послушать ваше чирикание.

С совершенным почтением, *Марк Твен.*

По поручению члена сената США
Джеймса У. Н.»

Чудовищное, вопиющее послание: Ужас!

— Мне очень жаль, сэр, что оно вам не нравится, но все же... по-моему, я обошел вопрос о прибрежных участках.

— Обошел.. И еще как! Ну да ладно, все равно я пропал! Коль погнать, так уж совсем погнать! Сейчас я прочту последнее ваше сочинение, в нем моя гибель! Я конченный человек. Я предчувствовал, что не надо поручать вам ответ на письмо из Гумбольдта, в котором меня просили, чтобы часть почтового тракта Индейский овраг — Шекспирово ущелье была перенесена на старую Мормонскую тропу. Но ведь я тогда еще сказал вам, что это очень тонкий вопрос, я предупредил, чтобы вы действовали искусно и осторожно, чтобы выражались несколько туманно и не все договаривали до конца: А вы что сочинили? Куда вас завел ваш безнадежный идиотизм? Если чувство стыда вам не совсем изменило, наверно вам сейчас захочется заткнуть уши!

«ГОСПОДАМ ПЕРКИНСУ, ВАГНЕРУ И ДРУГИМ

Вашингтон, 30 ноября

Джентльмены!

Вопрос об Индейском тракте — это очень тонкий вопрос, но если подойти к нему искусно и осторожно, то, я не сомневаюсь, мы чего-нибудь добьемся, потому что место, где дорога сворачивает с Лассенского луга, того самого, где в прошлом году были скальпированы вожди племени шоуни Дряхлый Мститель и Пожиратель Облаков, является излюбленным маршрутом для некоторых людей, в то время как другие, по этой самой причине, предпочитают иной путь: выехать по Мормонской тропе из Мосби в три часа утра, пересечь Равнину Челюсти по направлению к Блюхеру, затем спуститься по Кувшинной Ручке; тогда дорога окажется у них справа и дальше, конечно, пойдет правой стороной, а Доусон будет с левой стороны; а от Доусона к Томагавку дорога пойдет уже влево, — таким образом, этот путь дешевле и к нему легче добраться тем, кто в состоянии до него добраться; и, учитывая все положительные стороны, предпочитаемые другими, и тем обеспечивая наибольшее благо для наибольшего числа людей, я имею основания надеяться, что нам это удастся. Тем не менее я и впредь буду с радостью информировать вас время от времени по данному вопросу, если вы поже-

ласте; при условии, что почтовое ведомство предоставит мне нужные сведения.

С совершенным почтением, *Марк Твен.*

По поручению члена сената США
Джеймса У. Н.»

Ну, каково ваше мнение об этом послании?

— Не знаю, сэр, что и сказать. Мне кажется, что это был достаточно туманный ответ.

— Тум... Вон из моего дома! Я погиб, эти дикири из Гумбольдта никогда мне не простят, что я заморочил их таким дурацким письмом. Я потерял уважение епископальной церкви, муниципалитета Сан-Франциско...

— Да, генерал, тут мне нечего сказать. Может быть, я не совсем попал в точку в этих двух случаях, но зато уж ваших корреспондентов из Болдвин-рэнча я наверняка обвел вокруг пальца!

— Убирайтесь вон! Чтобы вашей ноги здесь больше не было!

Я принял эти слова как скрытый намек на то, что в моих услугах не нуждаются, и подал в отставку. Я никогда больше не пойду служить личным секретарем сенатора. Разве таким людям угодить? Они невежественны и грубы. Они не умеют ценить чужой труд.

НИАГАРА

Ниагарский водопад — приятнейший уголок для отдыха. Гостиницы там отличные, а цены вовсе не такие уж баснословные. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клеит, где лучше; здесь же всюду одинаково хорошо — по той простой причине, что не клеит нигде; а значит, незачем ходить за пять миль в поисках подходящего местечка, — можно с таким же успехом закинуть удочку у самого дома. О преимуществах такого положения вещей до сих пор почему-то еще никто не додумался.

Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные. Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милою вниз и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниагары. Железнодорожный туннель в горе был бы, пожалуй, так же приятен для глаза, если бы на дне его с ревом пенилась и клочкотала эта рассвирепевшая река. Затем можно спуститься по лестнице еще на полтора фута вниз и постоять у самой воды. Потом вы, правда, сами станете удивляться, зачем вам это понадобилось, но будет уже поздно.

Проводник небрежно расскажет, заставляя вас холодеть от ужаса, как на его глазах пароходик «Дева тумана» летел вниз с головокружительной высоты, как бушующие волны поглотили сперва одно гребное колесо, потом другое, — и покажет, в каком месте свалилась за борт дымовая труба, и где начала

грести и отталкиваться обшивка, и как «Деда тумана» все-таки выбралась, совершив невозможное: она промчалась то ли семнадцать миль за шесть минут, то ли шесть миль за семнадцать минут — уж, право, не помню. Так или иначе, случай был поистине удивительный. Стоило заплатить деньги, чтобы послушать, как проводник рассказывает эту историю девять раз подряд девяти различным экскурсиям, ни разу не сбившись, не пропустив ни словечка, не изменив ни фразы, ни жеста.

Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться: того ли, что вы рухнете с высоты в двести футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе; вместе же они вконец портят вам настроение.

На канадском берегу вы попадаете в живописное ущелье, образованное двумя рядами фотографов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая подходящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой унылым четвероногом скелетом, обтянутым шкурой. — вам предлагается считать его лошастью, — и все это на фоне величественной Ниагары, небрежно отодвинутой на задний план; и ведь у многих хватает наглости поощрять подобную преступную деятельность, — впрочем, быть может, ум их от природы столь извращен?

Вы всегда увидите у этих фотографов неприятное изображение папы, мамы, Джоанн, Боба и их сестренки или четыре провинциальных родичей; на всех лицах застыла бессмысленная улыбка, все сидят в кипежах в самых неудобных и вычурных позах, и все они в своем ошеломляющем тупоумии вылезают на первый план, заслоняя и оскорбляя самим видом своим великое чудо природы, чьи покорные слуги — радуги, чей голос — гром небесный, чей устрашающий лик скрывается в облаках. Сей грозный владыка царил здесь в давно минувшие, незапамятные времена, задолго до того, как горестке жалких пресмыкающихся дано было на краткий миг заполнить пробел в нескончаемом ряду безвестных тварей земных, и будет царить века и века после того, как эти жалкие пресмыкающиеся станут пищей столь родственных им могильных червей и обратятся в прах.

В сущности, нет ничего дурного в том, чтобы на фоне Ниагары выставить на всеобщее обозрение свое ярко освещенное великолепное ничтожество. Но все же для этого нужно сверхчеловеческое самодовольство.

После того как вы досыта нагляделись на огромный водопад Подковку, вы по новому висячему мосту возвращаетесь в Соединенные Штаты Америки и идете вдоль берега к тому месту, где выставлена для вашего обозрения Пещера Ветров.

Здесь я поступил точно по инструкции: снял с себя всю одежду и напялил непромокаемую куртку и комбинезон. Одевание это довольно живописное, но отнюдь не отлича-

ется красотой. Проводник, в таком же наряде, повел меня вниз по винтовой лестнице, которая очень скоро потеряла для меня прелесть новизны, но все еще вилась и вилась — и вдруг кончилась задолго до того, как спуск по ней начал доставлять удовольствие. К тому времени мы были уже глубоко под землей, но все еще довольно высоко над уровнем реки.

Потом мы стали пробираться по шатким, в одну дощечку, мосткам. Нас отделяли от бездны только жиденькие деревянные перильца, и я цеплялся за них обеими руками, — не подумайте, что от страха, просто мне так нравилось. Постепенно спуск становился все круче, а мостик все ненадежнее; брызги водопада обдавали нас все чаще, все гуще — скоро под этим ливнем уже ничего невозможно было различить, и двигаться теперь приходилось ощупью. Вдобавок из-за водопада подул яростный ветер, словно он решил во что бы то ни стало сдуть нас с моста, швырнуть на скалы или сбросить в бурные воды реки Ниагары. Я робко заметил, что не прочь бы вернуться домой, но было уже поздно. Мы оказались почти у подножья гигантской водяной стены, с таким грохотом низвергавшейся с высоты, что человеческий голос совсем терялся в ее безжалостном реве.

Вдруг проводник исчез за водяной завесой, и я двинулся за ним, оглушенный грохотом, гонимый ветром и весь исколотый вихрем колющих брызг. Меня обступила тьма. Никогда в жизни не слышал я такого завывания и рева разбушевавшихся стихий, такой яростной схватки ветра с водою. Я наклонил голову, и мне показалось, что сверху на меня обрушился целый Атлантический океан. Казалось, настал конец света. Я не видел ничего вокруг себя за яростными потоками воды. Задохнувшись, я поднял голову, и добрая половина американской части водопада влилась мне в глотку. Если бы в эту минуту во мне открылась течь, я бы погиб. И тут я обнаружил, что мост кончился и теперь нам предстоит карабкаться по обрывистым скользким скалам. В жизни своей я так не трусил, но все обошлось. В конце концов мы все же выбрались на свет божий, на открытое место, где можно было остановиться и посмотреть на пенную громаду бурлящих, низвергающихся вод. Когда я увидел, как много тут воды и как мало она склонна к шуткам, я от души пожалел, что отважился пройти между потоком и скалой.

Благородный краснокожий всегда был для меня нежно любимым другом. Я очень люблю читать рассказы, легенды и повести о нем. Я люблю читать о его необычайной прозорливости, его пристрастии к дикой волевой жизни в горах и лесах, благородстве его души и величественной манере выражать свои мысли главным образом метафорами, и, конечно, о рыцарской любви к смуглолицей девице, и о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Особенно о живописном великолепии его одежды и боевого снаряжения. Когда я увидел, что в лавчонках у

водопада полным-полно индейских выхывков бисером, ошеломляющих мокасин и столь же ошеломляющих игрушечных человечков, у которых ноги как пирожки, а в руках и туловище проверчены дырки — как бы они могли иначе удерживать лук и стрелы? — я ужасно обрадовался. Теперь я знал, что наконец вочию увижу благородного краснокожего.

И в самом деле, девушка-продавщица в одной из лавчонок сказала мне, что все эти разнообразные сувениры сделаны руками индейцев и что индейцев здесь очень много, настроены они дружелюбно и разговаривать с ними совершенно безопасно. И верно, неподалеку от моста, ведущего на Остров Луны, я столкнулся нос к носу с благородным сыном лесов. Он сидел под деревом и усердно мастерил дамскую сумочку из бисера. На нем была шляпа со спущенными полями и грубые башмаки, а в зубах торчала короткая черная трубка. Вот оно, пагубное влияние нашей изнеженной цивилизации на живописное величие, присущее индейцу, пока он не изменил своим родным пенатам. Я обратился к этой живой реликвии со следующей речью:

— Счастливы ли ты, о Ух-Бум-Бум из племени Хлоп-Хлоп? Вдыхает ли Великий Пятнистый Гром по тропе войны, или душа его полна мечтами о смуглолицей деве — Гордости Лесов? Жаждет ли могучий Сахем напиться крови врагов, или он довольствуется изготовлением сумочек из бисера для дочерей бледнолицых? Говори же, гордая реликвия давно мнувшего величия, достопочитания развалина, говори!

И развалина сказала:

— Как, это меня, Дениса Хулигеа, ты принимаешь за грязного индейца? Ты гнусавый, зубастый, тоноконный дьявол! Клянусь лысной пророка Моисея, я тебя сейчас съем. И я ушел.

Немного погодя где-то возле Черепаховой Башни я увидел нежную туземную деву в мокасинах из оленьей кожи, отороченных бисером и бахромой, и в гетрах. Она сидела на скамье среди всяких занятых безделушек. Девушка только что кончила вырезать из дерева вождя племен, больше напоминавшего прищепку для белья, и теперь буравила в его животе дырку, чтобы вставить туда лук со стрелами. Появившись минуту, я спросил:

— Не тяжело ли на душе у Лесной Девы? Не одинока ли Смеющаяся Ящерица? Оплакивает ли она угасшие костры совета вождей ее племени и былую славу ее предков, или же ее печальный дух витает в далеких дебрях, куда отправился на охоту Индеец, мечущий молнии, ее храбрый возлюбленный? Почему дочь моя безмолвна? Или она имеет что-либо против бледнолицего незнакомца?

И девушка сказала:

— Ах, что тебе! Это меня, Бидди Мейлоу, ты обзываешь всякими словами? Убирайся вон, а не то я спихну твой тощий скелет в воду, негодяй паршивый!

Я удалился и от нее.

«Пропавши они пропадом, эти индейцы, — сказал я себе. — Говорят, они совсем ручные,

но, если глаза меня не обманывают, похоже, что все они вступили на тропу войны».

Все же я сделал еще одну попытку познакомиться с ними, одну-единственную. Я набрал на целый лагерь индейцев; под сенью огромного дерева они шили мокасины и наизывали ожерелья из раковин. И я обратился к ним на языке дружбы:

— Благородные краснокожие! Храбрецы! Великие Сахемы, воины! Жены и высокие Безумцы из племени одержимых! Бледнолицый из страны заходящего солнца приветствует вас. Ты, благородный Хорек, ты, Пожиратель Гор, ты, Грохочущий Гром, ты, Дерзкий Стекланный Глаз! Бледнолицый, пришедший из-за Большой воды, приветствует всех вас. Ваши ряды поредели, болезни и войны стубили ваш некогда гордый народ. Покер и «семерка» и пустая трата денег на мыло — роскошь, неведомая вашим славным предкам, — истощил ваши кошельки. Присваивая чужую собственность, — только по простоте душевной! — вы без конца обрекаете себя на неприятности. Все путая и перевертая, — и все по чистейшей наивности! — вы уронили себя в глазах бессердечных завоевателей. Радн того чтобы купить крепкого виски, напиться, почувствовать себя счастливым и перебить томагавком всю семью, вы приносите в жертву живописное величие своей одежды. И вот вы стоите передо мною в ярком свете девятнадцатого века, точно жалкое отребье, подонки нью-йоркских трущоб. Стыдитесь! Вспомните своих предков! Вы забыли их славные дела? Вспомните Ункаса, и Красную Куртку, и Пещеру Дня, и Тиллбум-Бума! Ужель вы хуже их? Станьте под мон знамена, благородные дикари, прославленные бродяги!

— Долой его! Гоните негодяя! Сжечь его! Повесить его! Утопить его!

Все произошло в одно мгновение. В воздухе мелькнули дубинки, кулаки, обломки кирпичей, корзинки с бисером, мокасины. Миг — и все это обрушилось на меня со всех сторон. В следующую минуту все племя кинулось на меня. Они сорвали с меня чуть ли не всю одежду, переломали мне руки и ноги, так стукнули меня по голове, что череп на макушке прогнулся и в ямку можно было налить кофе, как в блюдце. Но одних побоев мне показалось мало, им понадобилось еще и оскорбить меня. Они швырнули меня в Ннагару, и я промок.

Пролетел я винз футов девяносто, а то и все сто, и тут остатки моего жилета зацепились за выступ скалы, и, пытаясь освободиться, я чуть не захлебнулся. Наконец я вырвался, упал и погрузился в буйство белой пены у подножья водопада, что пузырилась и кипела, вздымаясь на несколько дюймов у меня над головой. Разумеется, я попал в водоворот и завертелся в нем. Сорок четыре круга сделал я, гоняясь за какой-то шепкой, которую в конце концов обогнал, — причем за один круг проделывал полмиля; сорок четыре раза меня пронесло мимо одного и того же куста на берегу, снова и снова я тянулся к

мему и каждый раз не мог дотянуться всего лишь до волосок.

Наконец к воде спустился какой-то человек, уселся рядом с моим кустом, сунул в рот трубку, чиркнул спичкой и заслонил огонь ладонью от ветра, поглядывая одним глазом на меня, другим — на спичку. Вскоре порыв ветра задул ее. Когда я в следующий раз проносился мимо, он спросил:

— Спички есть?

— Да, в другом жилете. Помогите, пожалуйста, выбратья.

— Черта с два!

Синова поравнявшись с ним, я сказал:

— Простите навязчивое любопытство тонущего человека, но не можете ли вы объяснить мне ваше несколько необычное поведение?

— С удовольствием. Я следовательно, мое дело — мертвые тела. Можете не торопиться ради меня. Я вас подожду. Но вот спичку бы мне!

— Давайте поменяемся местами, — предложил я. — Тогда я принесу вам спичку.

Он отказался. Такое недоверие с его стороны привело к некоторой холодности между нами, и с этой минуты я старался его избегать. Я даже решил про себя, что если со мной что-нибудь случится, то я рассчитаю время происшествия так, чтобы меня обслужил следовательно по мертвым телам на противоположном, американском берегу.

В конце концов появился полицейский и арестовал меня за нарушение тишины, так как я громко зывал о помощи. Судья оштрафовал меня. Но тут я выгадал: все мои деньги были в брюках, а брюки остались у индейцев.

Таким образом я спасся. Сейчас я лежу в очень тяжелом состоянии. Собственно говоря, тяжелое оно или нет, я все равно лежу. Я весь избит и изранен, но пока не могу сказать точно, где и как, потому что доктор еще не закончил описать остатков. Сегодня вечером он подведет итоги. Впрочем, пока он считает смертельными только шестнадцать из моих ран. Ну, а остальные меня мало занимают.

Очнувшись, я спросил:

— Эти индейцы, что делают на Ниагаре мокассы и всякую всячину из бисера, это ужасное, дикое племя — откуда оно взялось, доктор?

— Из Ирландии, дорогой мой.

ЖУРНАЛИСТИКА В ТЕННЕССИ

Редактор мемфисской «Лавины» деликатно наметнул корреспонденту, который посмел назвать его радикалом: «Было бы первое слово, ставя запятую и закругля период, он уже отлично знал, что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую ложью».

«Биржа»

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно действует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощ-

ником редактора в газету «Утренняя Заря» и Боевой Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на трехноглом стуле и задрал ноги на сосновый стол. В комнате стояла еще один сосновый стол и еще один колченогий стул, заваленные ворохом газет, бумаг и рукописей. Был, кроме того, деревянный ящик с песком, усыянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннопольный сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий старомодный воротничок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навывпуск. Его костюм относился приблизительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор «Дух теннессийской печати».

Вот что получилось у меня:

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Редакцию «Еженедельного Землетрясения», по-видимому, ввели в заблуждение относительно Баллигэкской железнодорожной компании. Компания отнюдь не ставит себе целью обойти Баззардвилл стороной. Наоборот, она считает его одним из самых важных пунктов на линии и, следовательно, не намерена оставлять этот город в стороне. Мы не сомневаемся, что джентльмены из «Землетрясения» охотно исправят свою ошибку.

Джон У. Блоссом, эсквайр, талантливый редактор хиггинсвилльской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы», прибыл вчера в наш город. Он остановился у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что наш коллега из «Утреннего Воя» ошибся, предполагая, что Ван-Вертер не был избран, но он, без сомнения, обнаружит свой промах гораздо раньше, чем наше напоминание попадет ему на глаза. Вероятно, его ввели в заблуждение исполные отчеты о выборах.

Мы с удовольствием отмечаем, что город Блэзерсвилл, по-видимому, намерен заключить контракт с джентльменами из Нью-Йорка и вымостить почти непроходимые улицы своего города никольсоновской мостовой. «Ежедневное Ура» очень энергично поддерживает это начинание и, по-видимому, верит, что оно увенчается успехом.

Я передал мою рукопись редактору для одобрения, переделки или уничтожения. Он взглянул на нее и нахмурился. Бегло просмотрев ее, он стал мрачен как туча. Нетрудно было заметить, что здесь что-то неладно. Он вскочил с места и сказал:

— Гром и молния! Неужели вы думаете, что я так разговариваю с этими скотами? Неужели вы думаете, что моих подписчиков не стошнит от такой размазни? Дайте мне перо!

Я еще не выдывал, чтобы перо с такой яростью царапало и рвало бумагу и чтобы оно так безжалостно бороздило чужие глаголы и прилагательные. Он не добрался еще и до середины рукописи, как кто-то выстрелил в него через открытое окно и слегка испортил фасон моего уха.

— Ага, — сказал он, — это мерзавец Смит из «Морального Вулкана», я его ждал вчера.

И, выхватив из-за пояса револьвер флотского образца, он выстрелил. Смит упал, сраженный пулей в бедро. Это помешало ему прицеливаться как следует. Стреляя во второй раз, он искалечил постороннего. Посторонним был я. Впрочем, он отстрелил мне всего только один палец.

Затем главный редактор опять принял за правило и вычеркивать. Не успел он с этим покончить, как в трубу свалилась ручная граната и печку разнесло вдребезги. Однако больших убытков от этого не произошло, если не считать, что шальным осколком мне вышибло два зуба.

— А печка-то совсем развалилась, — сказал главный редактор.

Я сказал, что, кажется, да.

— Ну, не важно. На что она в такую погоду? Я знаю, кто это сделал. Он от меня не уйдет. Послушайте, вот как надо писать такие вещи.

Я взял рукопись. Она была до того исподосована вычеркиваниями и помарками, что родная мать ее не узнала бы.

Вот что получилось у него:

«ДУХ ТЕННЕССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Закоренелые лгуны из «Еженедельного Землетрясения» опять, по-видимому, стараются втереть очки нашему рыцарски-благородному народу, распуская подлую и грубую ложь относительно величайшего предприятия девятнадцатого века — Баллигвской железной дороги. Мысль, будто бы Базардвилл намеревается обойти стороной, зародилась в их собственных заплесневелых мозгах, вернее — в той каше, которая заменяет им мозг. Пусть лучше возьмут свои слова обратно и подавят их ими, если хотят спасти свою подлую шкуру от плетки, которую они вполне заслужили.

Этот осел Блоссом из хингисвилльской газеты «Гром и Молния, или Боевой Клич Свободы» опять появился здесь и околачивается в нахлебниках у Ван-Бюрена.

Мы имели случай заметить, что безмозглый проходимец из «Утренного Воя», по своей неударжимой склонности к вранью, сброснул, будто бы Ван-Вертер не прошел на выборах. Высокая миссия журналиста заключается в том, чтобы сеять правду, искоренять заблуждения, воспитывать, очищать и повышать тон общественной морали и нравов, стараться, чтобы люди становились более кроткими, более добродетельными, более милосердными, чтобы они становились во всех от-

ношениях лучше, добродетельнее и счастливей; а этот гнусный негодяй компрометирует свое высокое звание тем, что сеет повсюду ложь, клевету, непристойную брань и всяческую пошлость.

Блезерсвиллцам понадобилось вдруг иколыоновская мостовая — им куда нужнее тюрьма и приют для убогих. Кому нужна мостовая в ничтожном городишке, состоящем из двух баров, одной кухни и этого горчичника вместо газеты, «Ежедневного Ура»? Эта ползучая гадинка Бакиер, который редактирует «Ура», блеет о мостовой со своим обычным идиотизмом, а воображает, будто говорит дело.

— Вот как надо писать: с перцем и без лишнего слов! А от таких слинявых статей, как ваша, всякого тоска возьмет.

Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядком хватило по спине. Я посторонился; я начинал чувствовать, что я здесь лишний.

Редактор сказал:

— Это, должно быть, полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится.

Он не ошибся. Минуту позже в дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке.

Он сказал:

— Сэр, я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту дрянную газетку?

— Вот именно. Садитесь, пожалуйста. Осторожнее, у этого стула не хватает ножек. Кажется, я имею честь говорить с подлым лжецом, полковником Блезерскайтом Текумсе?

— Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счет. Если вы свободны, мы сейчас же и начнем.

— Мне еще нужно кончить статью «О поощрении морального и интеллектуального прогресса в Америке», но это не к спеху. Начинайте!

Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клоч волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. Они опять выстрелили. На этот раз ни тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталось — пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляться, так как это их личное дело, и я считаю неделикатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю.

Потом, презаряжая пистолеты, они поговорили о выборах и о видах на урожай, а я начал было перевязывать свои раны. Но они недолго мешкая опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть

дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел.

Редактор обернулся ко мне и сказал:

— Я жду гостей к обеду, и мне нужно закончить приготовления. Сделайте одолжение, прочтите корректуру и примите посетителей.

Я немилосердно поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся, что ответить, — я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя.

Он продолжал:

— Джоис будет здесь в три — отставьте его плетью, Гиллспай, вероятно, зайдет раньше — вышвырните его из окна, Фергюссон заглянет к четырем — застрелите его. На сегодня это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статью позабудьте — всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие в ящике, пули и порох вон там в углу, бинты и корпия в верхних ящиках шкафа. Если с вами что-нибудь случится, зайдите к Ланцету — это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем его объявления бесплатно.

Он ушел. Я содрогнулся. После этого прошло всего каких-нибудь три часа, но мне пришлось столько пережить, что всякое спокойствие, всякая веселость оставили меня навсегда. Гиллспай зашел и выбросил меня из окна. Джоис тоже явился без опоздания, и только я было приготовился отстегать его, как он перехватил у меня плетку. В схватке с незнакомцем, который не значился в расписании, я потерял свой скальп. Другой незнакомец, по фамилии Томпсон, оставил от меня одно воспоминание. Наконец, загнанный в угол и осажденный разъяренной толпой редакторов, политиканов, жучков и головорезов, которые орали, бранились и размахивали оружием над моей головой так, что воздух искрился и мерцал от сверкающей стали, я уже готовился расстаться со своим местом в редакции, как явился мой шеф, окруженный толпой восторженных поклонников и друзей. Началась такая свалка и резня, каких не в состоянии описать человеческое перо, хотя бы оно было и стальное. Люди стреляли, кололи, рубили, взрывали, выбрасывали друг друга из окна. Происся буйный вихрь кощунственной брани, блеснули беспорядочные вспышки воинственного тапца — и все кончилось. Через пять минут наступила тишина, и мы остались вдвоем с истекающим кровью редактором, обзвревая поле битвы, усеянное кровавыми останками.

Он сказал:

— Вам здесь понравится, когда вы немилосердно привыкнете.

Я сказал:

— Я должен буду перед вами извиниться; может быть, через некоторое время я и научился бы писать так, как вам нравится; я уверен, что при некоторой практике я привык бы к газетному языку. Но, говоря по чистой совести, такая энергичная манера выражаться имеет свои неудобства — человеку постоянно мешают работать. Вы это и сами понимаете. Энергический стиль, несомненно,

имеет целью возвысить душу читателя, но я не люблю обращать на себя внимание, а здесь это неизбежно. Я не могу писать спокойно, когда меня то и дело прерывают, как это было сегодня. Мне очень нравится эта должность, не нравится только одно — оставаться одному и принимать посетителей. Эти впечатления для меня новы, согласен, и даже увлекательны в некотором роде, но они имеют несколько односторонний характер. Джендильмен стреляет через окно в вас, а попадает в меня; бомбу бросают в трубу ради того, чтобы доставить удовольствие вам, а печной дверцей вышибает зубы мне; приятель заходит для того, чтобы обменяться комплиментами с вами, а портит кожу мне, так изрешетив ее пулями, что теперь ни один принцип журналистики в ней не удержится; вы ухитритесь обедать, а Джоис является ко мне с плеткой, Гиллспай выбрасывает меня из окна, Томпсон раздевает меня догола, совершенно посторонний человек с непринужденностью старого знакомого сдирает с меня скальп, и через какие-нибудь пять минут проходницы со всей округи являются сюда в военной раскраске и загоняют мне душу в пятки своими томагавками. Верьте слову, я никогда в жизни не проводил время так живолично, как сегодня. Вы мне очень нравитесь, мне нравится ваша спокойная, невозмутимая манера объясняться с посетителями, но я, видите ли, к этому не привык. Южане слишком экспансивны, слишком щедро расточают гостеприимство посторонним людям. Те страницы, которые я написал сегодня и которые вы оживили рукой мастера, влив в мои холодные фразы пылкий дух теннисеской журналистики, разбудят еще одно осиное гнездо. Вся эта свора редакторов явится сюда, — они явятся голодные и захотят кем-нибудь позавтракать. Я должен с вами проститься. Я уклоняюсь от чести присутствовать на этом пиршестве. Я приехал на Юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуты не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело — оно не по мне.

Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.

ВЕНЕРА КАПИТОЛИЙСКАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СТУДИЯ ХУДОЖНИКА В РИМЕ

— О Джордж, я так люблю тебя!

— Да благословит тебя бог, Мэри, я это знаю. Скажи, почему так упрямится твой отец?

— Джордж, он не злой человек, но искусство для него пустой звук, он знает только свою бакалею. Он боится, что ты меня заморишь голодом.

— Черт бы его побрал, он не лишен пронырливости. Отчего я не бакалейщик, бо-

гатеющий со дня на день, а всего-навсего вдохновенный скульптор, которому ничего есть?

— Не приходи в отчаяние, милый Джордж, он забудет все свои предрассудки, как только у тебя будет пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч чертей! Дня мое, мне даже за стол и квартиру нечем заплатить!

ГЛАВА ВТОРАЯ ЧАСТНАЯ КВАРТИРА В РИМЕ

— Уважаемый, все эти разговоры бесполезны. Я против вас ничего не имею, но не могу допустить, чтобы моя дочь вышла замуж за комбинацию из любви, искусства и голода. Ведь, сколько я понимаю, вы ничего другого ей предложить не можете.

— Сэр, я беден, в этом вы не ошиблись. Но разве слава ничего не стоит? Достопочтенный Беллами Фудд из Арканзаса говорит, что моя статуя Америки представляет собой замечательное произведение скульптуры; он уверен, что мое имя со временем прославится.

— Чепуха! Что может понимать этот арканзасский осел? Слава — пустяки, а вот я желал бы знать рыночную цену вашего мраморного пугала. Вы корпели над ним полгода, а не можете выручить за него и ста долларов. Нет, сэр! Покажите мне пятьдесят тысяч наличными, и я выдам за вас мою дочь, а иначе она выйдет за молодого Симпера. Даю вам полгода сроку. Всего хорошего, сэр!

— Ах я несчастный!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ В СТУДИИ

— Джон, друг моего детства, я самый несчастный из людей!

— Простофиля ты, вот ты кто!

— Теперь мне некого больше любить, кроме моей статуи Америки. И гляди, даже она мне несколько не сочувствует, это видно по ее холодно-мо каменному лицу, — так прекрасна и так бессердечна!

— Ты болван!

— Ох, Джон, что ты!

— Да, охай больше! Ведь тебе же дали шесть месяцев сроку на то, чтобы достать эти деньги?

— Не смейся над моими страданиями, Джон. Даже если бы мне дали шесть веков, что из этого? Ведь это не поможет человеку без имени, без капитала, без друзей.

— Тупица! Плакса! Размазня! Шесть месяцев на то, чтобы достать деньги, когда и пятн за глаза довольно!

— Ты с ума сошел!

— Шесть месяцев! Куда столько! Предоставь-ка дело мне. Я добуду тебе деньги.

— Что ты хочешь сказать, Джон? Как же ты доставишь такую огромную сумму?

— Согласен ты предоставить дело мне и ни во что не вмешиваться? Обещаю во всем меня слушаться и не противоречить мне, что бы я ни сделал.

— У меня голова кругом идет, я просто ошеломлен, но даю тебе слово...

Джон схватил молоток и одним решительным взмахом отбил нос Америке. Еще взмах — два пальца отлетели и упали на пол, еще взмах — отскочил кончик уха, еще взмах — и несколько пальцев на ноге были покалечены, еще взмах — и вся левая нога до колена была отбита и валялась на полу.

Джон надел шляпу и ушел.

Джордж, лишившись языка, с полминуты смотрел на изуродованное произведение искусства, потом как подкошенный свалился на пол, корчась в судорогах.

Скоро Джон вернувшись в коляске, забрал скульптора с разбитым сердцем и статую с отбитой ногой и увез их, преспокойно что-то извистываясь. Он высадил художника у своего дома, а статую повез дальше, на Виа Квириналис.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ В СТУДИИ

«Сегодня в два часа истекают данные мне шесть месяцев. Какая мука! Погибла вся моя жизнь. Лучше бы мне умереть. Вчера я не ужинал, а сегодня не завтракал. Я не смею даже войти в харчевню. А как хочется есть! Лучше об этом не думать. Сапожник не дает мне прохода, портной тоже, хозяин преследует меня по пятам. Несчастный я человек! Джона я так и не видел с того рокового дня. Она нежно улыбается мне, когда мы встречаемся на улице, но этот старый кремень, ее папаша, сейчас же велит ей отвернуться... Кто это стучится в дверь? Кто пришел преследовать меня? Ручаюсь, что злодей сапожник».

— Войдите!

— Позвольте поздравить вашу светлость! Я принес милорду новые сапоги. Нет, нет, насчет платы не беспокойтесь, торопиться не зачем, совершенно незачем. Может быть, милорд и в будущем окажет мне честь, останется моим клиентом... ах, до свидания!

«Сам принес сапоги! Не хочет брать денег! Отвешивает поклоны и реверансы, точно король! Желает, чтоб я и впредь оставался его заказчиком! Да это прямо светопредставление!..»

— Войдите!

— Прошу прощения, сеньор, я принес новый костюм для вашей чести.

— Войдите!

— Тысячу раз прошу прощения, ваша милость! Я приготовил внизу прекрасное новое помещение для вас, эта жалкая конура совершенно не подходит для...

— Войдите!

— Я зашел сказать, что ваш кредит в нашем банке, к сожалению приостановленный на некоторое время, теперь возобновлен к нашему полному удовольствию, и мы будем счастливы, если вы возьмете у нас сколько угодно...

— Войдите!

— Мой славный мальчик, она твоя! Она

сейчас придет! Возьми ее, женись на ней, люби ее, будьте счастливы! Благословен бог вас обоих! Гип-гип, ура!

— Войдите!

— О Джордж, любимый мой, мы спасены!
— Мэри, дорогая! Да, мы спасены, но черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю!

ГЛАВА ПЯТАЯ КАФЕ В РИМЕ

Один из группы американцев читает и переводит из «Иль Бен Соврато ди Рома»:

— «Чудесная находка! Около шести месяцев тому назад сеньор Джон Смит, американский джентльмен, в течение нескольких лет проживающий в Риме, приобрел за незначительную сумму участок земли в Кампанье, по соседству с мавзолеем Цициллинов, у владельца этого участка, разорившегося родственника княгини Боргезе. Затем мистер Смит перевел этот участок на имя бедного американского художника Джорджа Арнольда, в возмещение материального убытка, ненамеренно причиненного им сеньору Арнольду, и заявил, что он за свой счет собирается привести в порядок это владение для сеньора Арнольда. Месяц назад, производя на участке земляные работы, сеньор Смит нашел античную статую редких достоинств, представляющую большую ценность даже для сокровищниц Рима, которые изобилуют первоклассными произведениями искусства. Глядя на эту прекрасную женскую фигуру, хотя и сильно поврежденную временем и пребыванием в земле, никто не может остаться равнодушным к ее восхитительной красоте. Не хватало носа, левой ноги, уха, нескольких пальцев на правой ноге и двух пальцев на руке, но в общем статуя замечательно сохранилась. Статуя находится в руках правительства; назначена комиссия, в которую вошли художественные критики, антиквары и представители римской церкви для определения художественной ценности статуи и размеров вознаграждения, причитающегося собственнику участка, где она была найдена. До вчерашнего вечера все дело сохранялось в строжайшей тайне. Комиссия заседала при закрытых дверях. Вчера вечером комиссия единогласно решила, что статуя изображает Венеру и принадлежит неизвестному, но высокоодаренному художнику третьего века до рождения Христа. Комиссия считает эту статую одним из совершеннейших произведений искусства, известных миру.

В полночь состоялось последнее заседание, на котором Венера была оценена в десять миллионов франков! По римским законам и обычаям, государству принадлежит половина доля в каждом произведении искусства, найденном в Кампанье, а потому оно уплачивает мистеру Арнольду пять миллионов франков, после чего статуя переходит во владение правительства. Сегодня утром Венеру перевезут в Капитолий, где она будет установ-

лена, а в полдень комиссия отвезет сеньору Арнольду чек его святейшества папы римского на пять миллионов франков золотом!»

Хор голосов. Вот повезло! Просто слов не подберешь!

Один голос. Джентльмены, предлагаю немедленно организовать американское акционерное общество для приобретения земельных участков и производства раскопок, открыть филиал нашего общества на Уолл-стрит, немедленно выпустить на биржу акции и начать игру на повышение и понижение.

Все. Мы согласны!

ГЛАВА ШЕСТАЯ В РИМСКОМ КАПИТОЛИИ—ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

— Дорогая Мэри, вот самая знаменитая статуя в мире. Это Венера Капитолийская, о которой ты столько слышала. Вот она, «реставрированная», то есть кое-как подштукатуренная лучшими римскими скульпторами. Уже одно то, что они принимали скромное участие в ее реставрации, навеки прославит их имена. Как все это странно! Десять лет назад, накануне того памятного дня, я стоял на этом самом месте и отнюдь не был богачом, — честное слово, у меня не было ни цента. И все же без меня Рим не получил бы величайшего произведения античного искусства, какое когда-либо было известно миру.

— Знаменитая, прославленная Венера Капитолийская. И каких огромных денег она стоит! Десять миллионов франков!

— Да, теперь она стоит десять миллионов...

— О Джордж, как она хороша! Божественно хороша!

— Да, конечно, но все же она далеко не та, какая была, пока эти чертов Джон Смит не отбил ей ногу и не повредил нос. Хитроумный Смит, гениальный Смит, благородный Смит! Творец нашего счастья!.. Послушай, что это такое? У мальчишки коклюш! Мэри, неужели ты никогда не научишься смотреть за детьми!

КОНЕЦ

Венера Капитолийская и по сей час стоит в Римском Капитолии и все еще является самым пленительным и знаменитым произведением искусства, каким может похвастаться мир. Но если нам придется когда-нибудь стоять перед ней и, как полагаются, восхищаться, пусть эта правдивая и мало кому известная история ее происхождения не портит нам удовольствия; и когда вы прочтете об окаменевшем гиганте, которого откопали близ Сиракуз, в штате Нью-Йорк или еще где-нибудь, не верьте ни одному слову.

И если зарывший колосса Барнум предложит вам купить его за большие деньги, не покупайте. Пошлите Барнума к папе римскому!

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ГОВЯЖЬЕГО КОНТРАКТА

Хочу кратко поведать моим соотечественникам о моем скромном участии в этом деле, которое так взволновало общество, породило столько противоречивых суждений и попало на страницы американских и европейских газет в искаженном виде и с нелепыми комментариями.

Я торжественно заявляю, что каждое мое слово может быть полностью подтверждено официальными материалами из федеральных архивов.

Эта грустная история началась так:

Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил примерно 10 октября 1861 года контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Отлично!

Он отправился с говядиной к Шерману, но, когда он привез ее в Вашингтон, Шерман ушел в Манассас; он поехал в Манассас, но Шермана там уже не было; он последовал за Шерманом в Нэшвилл, из Нэшвилла в Чаттанугу, из Чаттануги в Атланту, но так и не догнал Шермана. В Атланте он перевел дух и проделал за Шерманом весь поход к морю. Он опоздал опять — всего на несколько дней. Прослышав, что Шерман в компании других паломников отправился на пароходе «Квакер-Сити» в Святую Землю, он отплыл с говядиной в Бейрут, рассчитывая опередить Шермана. Когда он прибыл в Иерусалим, то узнал, что Шерман не ездил на «Квакер-Сити», а вместо того отправился в прерии воевать против индейцев. Он возвратился в Америку и поехал к Скалистым горам. После семидесятидневного тяжелого странствия в прериях, всего в четырех милях от штаба Шермана, индейцы разожгли ему голову томагавком, оскальничав его и захватили говядину. Одну бочку, впрочем, армия Шермана у индейцев отбила, и, таким образом, уже будучи мертвым, отважный путешественник частично выполнил свой контракт. В завещании, которое было найдено в его дневнике, он поручил все расчеты с правительством Бертоломью В., своему сыну, и Бертоломью накануне своей кончины составил следующий окончательный счет:

«Соединенные Штаты, согласно обязательству, выданному покойному Джону Уилсону Маккензи из штата Нью-Джерси, остались должны:

За тридцать бочек говядины для генерала	
Шермана по 100 долларов на бочку . . .	3 000 долл.
Расходы по перевозке говядины и личные	
путевые издержки	14 000 долл.

Итого:	17 000 долл.
Прошу оплатить».	

Этот счет он оставил в наследство Уильяму Джону Мартину, который пытался получить по контракту деньги, но умер, не преуспев в этом деле. Мартин оставил контракт

Баркеру Дж. Аллену, и тот тоже сделал попытку получить свои деньги. Не выжил Баркер Дж. Аллен оставил контракт Энсону Дж. Роджерсу, которому посчастливилось продвинуть контракт до канцелярии девятого ревизора, когда беспощадная смерть прервала и окончила все его земные дела. Он оставил контракт своему родственнику из штата Коннектикут по имени Мстительный Гопкинс. Мстительный Гопкинс продержался четыре недели и еще двое суток, показав лучшие результаты в сезоне. По завещанию контракт перешел к его дяде, которого звали Веселый Джонсон. Его последние слова перед смертью были: «Не рыдайте, я счастлив покинуть сей мир». Бедняга сказал это искренно, от всего сердца. В дальнейшем контракт наследовало еще семь человек. Ни один не остался в живых. Ко мне контракт перешел от родственника по фамилии Хаббард, Вифлеем Хаббард из Индианы. Он долго таил нензбывную злобу против меня и, умирая, призвал к своему одру, сказал, что все мне прощает, и вручил мне контракт на говядину.

На этом оканчивается рассказ о том, как я стал владельцем контракта. Сейчас я поведаю все, что касается моего участия в этом деле. Захватив контракт на говядину и счет за издержки, я отправился пряником к президенту Соединенных Штатов Америки.

Он сказал:

— Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

— Ваше величество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Он прервал мою речь и учтиво, но твердо дал мне понять, что аудиенция окончена. На другой день я отправился к государственно-му секретарю.

Он сказал:

— Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

— Ваше королевское высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

— Довольно, сэр, хватит. Мое министерство не имеет касательства к поставкам говядины.

Меня вывели под руки. Продумав все заново, я на следующее утро направился к морскому министру, который встретил меня словами:

— Ну, сэр, выкладывайте, не заставляйте меня долго ждать.

Я сказал:

— Ваше высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-

Джерси, заключил контракт на поставку генералу Шерману тридцати бочек говядины...

Он не дал мне закончить. Его министерство, извольте видеть, тоже не имеет касательства к поставкам для Шермана. Невольно рождалась мысль, что члены правительства ведут себя необъяснимо. Было похоже, что они просто не хотят платить за говядину. На следующий день я пошел к министру внутренних дел.

Я сказал:

— Ваша светлость, примерно десятого октября...

— Хватит, довольно. Я уже слышал о вас. Вой с вашим мерзким контрактом! Министерство внутренних дел не ведет снабжением армии.

Я ушел. Но я ожесточился душой. Я поклялся, что буду преследовать их как тень. Я буду осквернять своим нечистым присутствием все министерства одно за другим, пока контракт на говядину не будет оплачен. Я получу с них что следует или же с честью паду, как пали мои предшественники.

Я атаковал министерство связи. Я устроил подкуп под министерство сельского хозяйства. Я напал из засады на спикера Палаты представителей. Все они, как один, утверждали, что не имеют касательства к воинским поставкам говядины. Тогда я перешел в наступление на директора Бюро по оформлению патентов.

Я сказал:

— Ваше превосходительство, примерно десятого...

— О пламя преисподней! Вы уже добрались и до нас! Но мы не имеем решительно никакого отношения к говяжьим контрактам для армии, дорогой сэр.

— Пусть так, но кто-то заплатит мне за эту говядину! Послушайте, если мне не уплатят немедленно, я конфискую ваше Бюро вместе со всем имуществом.

— Послушайте, дорогой сэр...

— Не желаю никаких объяснений. Я считаю, что Патентное бюро отвечает за этот контракт. Можете не соглашаться, как угодно, а деньги на бочку!

Излагать дальнейший ход нашей беседы было бы затруднительно. Мы перешли к рукопашной. Победило Бюро. Но и я извлек для себя некую пользу. Я узнал там, что мне нужно пойти в казначейство. Продав два с половиной часа, я попал на прием к первому лорду нашего казначейства. Я сказал:

— Благороднейший и досточтимый синьор, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи...

— Можете не продолжать, сэр. Я слышал о вас. Обратитесь к первому ревизору.

Так и я сделал. Первый ревизор направил меня ко второму, второй ревизор — к третьему, а третий адресовал меня к первому контролеру Подотдела говядины. Я счел это добрым признаком. Тот проверил все свои книги, но не нашел ничего о говяжьем контракте. Я обратился ко второму контролеру Подотде-

ла говядины. Он проверил бумаги, но опять без успеха. Это меня раззадорило. За неделю я добрался до шестого говяжьего контролера. Вторую неделю я посвятил Отделу претензий. На третью неделю, рассчитавшись с Отделом пропавших контрактов, я вступил в Подотдел посмертных расчетов и прикончил его за три дня. Оставалась последняя крепость — отдел Всякой Всячины. Я атаковал начальника Всячины, точнее его канцелярию, сам начальник отсутствовал. Шестнадцать очаровательных юных девиц вносили реестровые записи во входящие книги, семь оборотительных юношей давали им руководящие указания. Юные девицы улыбались молодым людям, те улыбались девицам, и дело шло весело, как свадебный переступ. Два-три клерка, углубившись в газеты, окинули меня недоброжелательным взглядом, но затем вернулись к газетам и никто во всей Всячине не обращал на меня никакого внимания. С того первого дня, когда я переступил порог канцелярии Говяжьих контрактов, вплоть до минуты, когда я захлопнул дверь Подотдела посмертных расчетов, я успел досконально узнать, что такое любезность младшего помощника четвертого клерка. Я так понаторел в этом деле, что мог почти не качаясь стоять на одной ноге, пока клерк не поднимет на меня любознательный взгляд — ну, может быть, раз или два сменив уставшую ногу.

Здесь я сменил уставшую ногу ровно четыре раза. Потом я сказал одному из клерков, читавших газету:

— Эй, голодраец, где великий султан?

— Что такое, сэр? О ком речь? Если вы имеете в виду начальника Всячины, то его нет.

— Посетит он сегодня гарем?

Молодой человек окинул меня негодующим взглядом и уткнулся в газетный лист. Я был спокоен. Я изучил этих клерков. Важно только одно, чтобы он покончил со своими газетами раньше, чем принесет пачку свежих, нью-йоркских. Оставалось всего две газеты. Просмотрев их, он сладко зевнул и спросил, что мне надобно.

— Почтеннейший несмышлениш, примерно...

— Вы человек с говяжьим контрактом? Давайте сюда бумаги.

Он взял у меня бумагу и стал рыться в своей Всякой Всячине. Затем этот клерк совершил открытие, равное открытию Северо-Западного прохода: он обнаружил затерянную записку о говяжьем контракте! Так вот он, подвожный камень, на котором терпели крушение все, кто предшествовал мне и не добрался до цели! Я был глубоко потрясен. В то же время я ликовав — ура, я остался в живых! Прерывающимся голосом я сказал молодому клерку:

— Дайте сюда документ. Я улажу все сам с правительством.

Он холодно отстранил меня и сказал, что имеются кое-какие формальности.

— Где теперь Джон Уилсон Маккензи? — спросил он меня.

— Мертв.
— Скончался?
— Убит.
— При каких обстоятельствах?
— Ему разозжили голову томагавком.
— Кто разозжил ему голову томагавком?
— Индеец, понятное дело. Уж не думаете ли вы, что это сделал директор воскресной школы?

— Нет, не думаю. Значит, индеец?
— Я уже это сказал.
— Как звали индейца?
— Как звали индейца? Я не знаю, как его звали.

— Придется узнать. Скажите, видел ли кто, как индейцы разозжили Маккензи голову томагавком?

— Не знаю.
— Вы лично присутствовали?
— Нет, это легко угадать по состоянию моего черепа.

— Почему же вы так уверены, что Маккензи скончался?

— Потому что как только его убили, он сразу стал мертвым, а будучи мертвым, оставался мертвым и далее. Смею вас в этом заверить.

— Нужны доказательства. Индеец при вас?

— Нет, понятное дело.

— Придется его привезти. Томагавк не при вас?

— Томагавк?! Боже милостивый!!

— Томагавк придется представить. И индейца и томагавк. Если с помощью этих уликов вам удастся удостоверить кончину Маккензи, вы получите право толкнуть ваше дело в Комиссии по претензиям — с тем чтобы ваш потоким до своей неизбежной кончины успели получить что им следует. Впрочем, сперва надлежит доказать кончину Маккензи. Далее замечу, что наше правительство не станет оплачивать вам ни перевозку говядины, ни путешествия столь горячо оплакиваемого вами Маккензи. Допускаю, что вам заплатят за ту бочку говядины, которая досталась солдатам, да и то лишь в том случае, если вы добьетесь специального ассигнования в Конгрессе. За съеденные индейцами двадцать девять бочек говядины правительство платит вам не будет.

— Выходит, мне следует только сто долларов, да и то без гарантии! После всех странствий Маккензи с говядиной по Европе, Азии и Америке! После всех жертв, страданий и перевозок! После избиения невинных младенцев, пытавшихся выискать деньги по этому счету! Скажите, молодой человек, почему первый контролер Подотдела говядины не сказал мне об этом сразу?

— Он не знал, насколько обоснования вашей претензии.

— Ну, а почему молчал второй контролер, почему молчал третий? Почему молчали все отделы и подотделы?

— Никто не мог иного сказать вам заранее. Дела ведутся у нас в определенном порядке. Вы теперь познакомились с нашим по-

рядком и знаете все, что хотели узнать. Наш порядок — прекрасный порядок, единственно возможный порядок. Дело вершится постепенно, без спешки. Зато результаты — верные!

— Да, верная гибель! Так погибли мои предшественники, так погибну и я! Я вижу, молодой человек, что вы влюблены без памяти в это прелестное существо с голубыми глазами и стальным пером за ухом. Я читаю страсть в ваших взорах. Вы хотите жениться на ней, но у вас мало денег. Вот, держите, я дарю вам свой говяжий контракт. Венчайтесь и будьте счастливы! Да благословит вас всевышний, дети мои!

Вот и все, что я знаю о великом говяжьем контракте, который вызвал в свое время столько толков и шума.

Клерк, которому я подарил свой контракт, недавно скончался. Больше я ничего не слышал ни о контракте, ни о его дальнейших владельцах. Скажу только одно: если человек наделен долголетием и готов всю долгую жизнь тащить свое дело через Министерство околнностей в нашей стране, может статься, ему повезет — и тогда ценою бесцельных усилий он узнает, приблизясь к кончине, то, что узнал бы немедленно, в первый же день, в самой обыкновенной торговой конторе.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ДЕЛА ДЖОРДЖА ФИШЕРА, НЫНЕ ПОКОЙНОГО

На сей раз я выступаю в роли историка. Не считите мой рассказ игрой необузданного воображения, подобно «Великому говяжьему контракту Джона Уилсона Маккензи». Перед Вами фактическое изложение дела, которым конгресс Соединенных Штатов занимался, с известными перерывами, ни много ни мало — полвека.

Я мог бы сразу назвать это дело великим бессмертным и неустанным запусканьем рук в карманы казны и американского народа, но я воздержусь. Судебного решения по делу мы не имеем, и не пристало писателю бранить и клеить голословно. Я ограничусь фактами, пусть читатель сам произнесет приговор. Тогда будет соблюдена справедливость и наша совесть будет чиста.

1. В период войны с индейцами племенем «крик» во Флориде, примерно 1 сентября 1813 года, то ли по вине тех индейцев, то ли по вине гнавших их американских солдат пострадало имущество гражданина Соединенных Штатов Америки мистера Джорджа Фишера — дома со службами, посевы и скот. По действовавшему в ту пору закону, если в потерях Фишера повинны были индейцы, убытки никто не платил; но, если их причинила американская армия, правительство должно было заплатить Фишеру доллар за доллар.

Как видно, Джордж Фишер держался того мнения, что его имущество погубили индейцы, потому что, хотя он прожил еще несколько лет, он ни разу не пытался требовать от правительства возмещения убытков.

Время шло, Фишер скончался, его вдова вышла замуж вторично. Год за годом протекло двадцать лет, и уже мало кто помнил о набегах индейцев на фишеровские поля, когда новый муж вдовы Фишера обратился в конгресс с ходатайством о возмещении убытков. Он сопровождал свое требование многочисленными письменными свидетельствами, в которых указывалось, что собственность Фишера погибла по вине американских солдат; что солдаты, по причине, оставшейся нам неизвестной, преднамеренно сожгли «дом» (ручаюсь, жалкую хижину!) ценою в шестьсот долларов, принадлежавший мирному частному гражданину, а также уничтожили различное другое имущество, принадлежавшее тому же лицу. Конгресс, однако, отказался поверить, что солдаты, рассеяв кучку индейцев, истреблявших имущество Фишера, решили (как видно, в припадке безумия) истреблять его дальше и завершить работу индейцев. Конгресс отверг претензию наследников Фишера и не заплатил им ни цента. Это было в 1832 году.

В течение последующих шестнадцати лет не отмечалось каких-либо новых попыток со стороны наследников Фишера напасть на государственную казну. Современники владельца пострадавших полей состарились и постепенно сошли в могилу. Но в 1848 году объявился новый выводок наследников Фишера и потребовал возмещения убытков. Второй ревизор казначейства вознаградил их суммой в 8873 доллара, указав, что это половина стоимости имущества Фишера. Ревизор добавил, что, согласно поступившим свидетельствам, по меньшей мере половина убытков была причинена индейцами «крик» еще до того, как войска принялись их преследовать, и что за эту первую половину правительство материальной ответственности никак не несет.

2. Указанные факты относятся к апрелю 1848 года. Но уже в декабре наследники Джорджа Фишера снова явились и потребовали проверки произведенного с ними расчета. Проверка ничего не дала им, не считая ста долларов, недополученных по чьей-то ошибке. Однако чтобы поддержать дух наследников Фишера, ревизор казначейства счел нужным придать их претензии обратную силу и уплатить им проценты по выданной сумме, начиная со дня подачи первого требования (1832) и вплоть до того дня, когда их претензия обрела силу закона. Фишеры уехали в отличнейшем настроении. Проценты за шестнадцать лет на 8873 доллара составили 8997 долларов 94 цента. Всего, таким образом, было уплачено 17 870 долларов 94 цента.

3. В течение целого года Фишеры сохраняли спокойствие, в каком-то смысле были даже довольны. Затем они с новой силой обрушились на казну, требуя новой защиты своих интересов. И тогда, покопавшись в фишеровских заплеванных бумагах, старый заслуженный патриот, генеральный прокурор Таус изыскал еще один способ облакостать обещавших страдальцев. Он велел дополнительно исчислить проценты на присужден-

ную Фишером сумму со дня уничтожения их мифического имущества (1813) и далее до 1832 года! Вот вам еще 10 004 доллара и 89 центов для безутешных сирот. Итак, Фишером было выплачено: во-первых, 8873 доллара в возмещение убытков; во-вторых, проценты на эту сумму, считая с 1832 по 1848 год, — 8997 долларов 94 цента; в-третьих, проценты на ту же сумму, считая с 1813 года, — 10 004 доллара 89 центов. Общая сумма 27 875 долларов 83 цента! Из этого я заключаю, что вернейший способ обеспечить своего правнука за шестьдесят — семьдесят лет до его рождения — позвать к себе в гости индейцев, упросить их жечь кукурузное поле, а потом возложить материальную ответственность на буйнопомешанных американских солдат.

4. Этому трудно поверить, но Фишеры не появлялись в конгрессе с дальнейшими жалобами целых пять лет, или, что более правдоподобно, пять лет не могли до него добраться. Наконец, в 1854 году их попытка увенчалась успехом. Взяв доводам Фишеров, конгресс предписал ревизору казначейства снова проверить их дело. Тут Фишером крупно не повезло: на посту министра финансов оказался Джеймс Гутри, порядочный человек, и он их подвел. Он заявил во всеуслышание, что Фишером не причитается никаких новых выплат, что эти многострадальные дети печали и так извели из казны много больше, чем следовало.

5. Последовал период отдыха и безмолвия, он продолжался около четырех лет, до 1858 года включительно. На посту военного министра находился тогда пресловутый Джон Флэйд — «свой человек на своем месте». Вот в ком таился государственный ум, вот кто поддержал бодрый дух наследников умершего и позабытого Фишера! Они хлынули из Флориды как океанский прилив, исполнились вал Фишеров, нагруженных все теми же заплеванными документами, все о тех же бесмертных кукурузных полях их прародителя. Не сходя с места они добились передачи своего дела от непонятливого казначейского ревизора сообразительному Джошу Б. Флэйдю. Что же сказал им Флэйд? Он сказал: «Безусловно доказано, что еще до прихода солдат индейцы уничтожили все, что смогли». Что же индейцы смогли уничтожить? Мелочнику — дом с мебелью и спиртные напитки — небольшую долю имущества Фишеров, оцененную всего-навсего в 3200 долларов. Ну а после того войска прогнали индейцев и не спеша приступили к дальнейшему уничтожению основного имущества Фишеров, а именно — истребили двести двадцать акров кукурузных полей, тридцать пять акров пшеницы и девятьсот восемьдесят шесть голов фишеровского скота. Такая у нас в ту пору была, на удивление, разумная армия, — если верить, конечно, суждению мистера Флэйда. (Конгресс 1832 года придерживался по тому же вопросу иного мнения.)

Итак, мистер Флэйд указал, что правительство не несет материальной ответственно-

сти за мелочнишку, уничтоженную индейцами и оцененную в 3200 долларов, но зато отвечает за все, что уничтожила армия. Привожу этот список по отчету сената:

Кукуруза на Бассет-Крик	3 000 долл.
Рогатый скот	5 000 .
Свиньи	1 050 .
Подвинки	1 204 .
Пшеница	350 .
Кожн	4 000 .
Кукуруза на Алабама-Ривер	3 500 .

Итого: 18 104 долл.

Эту сумму в своем докладе Флойд имену-ет «полной стоимостью уничтоженного войс-ками имущества». Он присуждает ее поды-хающим с голоду Фишерам *вместе с процен-тами на всю эту сумму* с 1813 года и по день ее выплаты. За вычетом ранее полученных денег Фишерам вручили жирный остаточек — чуть поменьше сорока тысяч долларов. И, убогаютворенные, они отступили к себе во Флориду. Ферма их прапородителя принесла им к этому времени около 67 000 долларов.

6. Уж не вообразил ли чинатель, что дело на этом кончилось и бедяги Фишеры удо-вольствовались достигнутым? Вот дальнейшие факты.

Фишеры бездействовали ровно два года. Вслед за тем, нагруженные все теми же древ-ними документами, орды Фишеров ринулись из флоридских болот и осадили конгресс. 1 июня 1860 года Конгресс капитулировал и предписал мистеру Флоиду переворочить де-ло заново. Чиновнику Казначейства было при-казано проверить все документы и доложить мистеру Флоиду, сколько с конгресса еще причитается изнуренным нуждою Фишерам.

Этот чиновник (я готов назвать его ния по первому требованию) обнаружил в доку-ментах вопиющий подлог: флоридские цены 1813 года на кукурузу были завышены вдвое против ранее указанных. Обнаруживший это чиновник не только осведомил своего началь-ника, но и особо отметил подлог и мошенни-чество в своей докладной записке. Эта часть докладной записки не дошла до конгресса. В сообщении конгрессу нет ни слова об этом подлоге Фишеров. Преспокойно основываясь на удвоенных ценах и полностью игнорируя доказанный факт мошенничества, мистер Флойд утверждает в своем новом докладе, что «представленные документы, в особен-ности же те, в которых говорится о ценах на кукурузу, показывают, что компенсация, ран-нее предусмотренная, была недостаточной». Мистер Флойд начинает с того, что исчисля-ет урожай кукурузы по шестьдесят бушелей с акра, то есть вдвое против того, что дает земля во Флориде. Затем, «стремясь к эконо-мии», он рекомендует уплатить Фишерам лишь за половину неснятого урожая, но зато из расчета по два с половиной доллара за бушель. И это в то время, когда флоридские цены 1813 года на кукурузу были доллар с четвертью — полтора, ни на цент более, о чем прямо сказано в документах, представ-ленных теми же Фишерам до совершенного ими подлога и напечатанных в пожелтевших

отчетах, хранящихся в библиотеке Конгресса. Что делает далее мистер Флойд? Он еще раз берет перо («с твердым намерением неукосни-тельно выполнить волю Конгресса», как тор-жественно он предвзывает) и строчит новый список фишеровских убытков, где об индей-цах вообще нет ни слова. Индейцы вообще не участвовали в уничтожении фишеровского имущества. Мистер Флойд отказался от ко-шущейственной мысли, что индейцы племени «крик» сожгли дом, распили фишеровские вна-и и побили фишеровскую посуду; теперь все убытки с начала и до конца он относит за счет буйнопомешанных американских солдат. Не довольствуясь этим, он использует фише-ровский подлог, чтобы удвоить выплату денег за кукурузное поле на Бассет-Крик, и исполь-зует его снова, чтобы утроить выплату денег за кукурузное поле на Алабама-Ривер.

Хочу познакомить вас с этим отлично за-думанным и столь же блистательно выполне-ным произведением мистра Флойда (занмст-вую его из печатных отчетов сената):

«По денежным расчетам правительства Соединенных Штатов Америки с Джорджем Фишером, ныне покойным, наследникам при-читается:

За 1813 год:

550 голов рогатого скота по 10 долл. за голову	5 500 долл.
Подвинки — 86 голов	1 204 .
Свиньи — 350 голов	1 750 .
100 акров кукурузы на Бассет-Крик	6 000 .
8 бочонков виски	350 .
2 бочонка коньяку	280 .
1 бочонек рому	70 .
Запасы мануфактуры, галантерей и др.	1 100 .
35 акров пшеницы	350 .
Кожн 2 000 штук	4 000 .
Запасы мехов и шляп	600 .
Запасы посуды	100 .
Кузнечный и плотничный инструмент	250 .
Сожженные и разрушенные дома	600 .
4 дюжины бутылок вина	48 .

За 1814 год:

120 акров кукурузы на Алабама-Ривер	9 500 .
Урожай гороха, кормовых трав и пр.	3 250 .
Итого:	34 952 долл.

Проценты на сумму 22 202 доллара, считая с июня 1813 года по ноябрь 1860 года, всего за 47 лет и 4 месяца 63 053 долл. 68 ц.

Проценты на сумму 12 750 долларов, считая с сентября 1814 года по ноябрь 1860 года, всего за 46 лет и 2 месяца 35 317 долл. 50 ц.

Итого: 133 323 долл. 18 ц.

Как видите, он не позабыл ни единой мелочн. Индейцам не дал отхлебнуть вина (пло-доягодного) и даже побить посуду. В непо-стижной ловкости рук Джои Б. Флойд не имел себе равных среди современников, да, пожалуй, и тех, что сошли до него в могилу. Вычит из указанной итоговой суммы 67 000 долларов, уже ранее выплаченных неукроты-мым наследникам Фишера, мистер Флойд объявляет, что им причитается еще с госу-дарства 66 519 долларов и 85 центов, «како-

вая сумма, — как этически он заключает, — подлежит выплате наследникам Джорджа Фишера, ныне покойного, или уполномоченному ним на то лицу».

Но тут на беду наших несчастных шрот вступил на свой пост вновь избранный президент. Бьюкенен и Джон Флойд удалились из Белого дома, и наследники Фишера денежек не получили.

Новый, собравшийся в 1861 году Конгресс немедленно аннулировал решение от 1 июня 1860 года, под прикрытием которого Флойд строил свои импровизации. А затем мистер Флойд и наследники Фишера в силу причин, от них не зависящих, отложили свои финансовые махинации до лучших времен и надели мундир южной армии.

Быть может, вы думаете, что наследники Джорджа Фишера погибли в сражениях? Ничуть не бывало. Они снова здесь, в Вашингтоне (я пишу это в июле 1870 года). Через посредство широко известного своей крайней застенчивостью и способностью густо краснеть Гаррета Дэвиса они требуют от конгресса новых выплат по своему десятимилionному счету за кукурузу и виски, съеденные и выпитые буйной толпой нидеяцев во времена столь от нас отдаленные, что даже бюрократы в правительственных канцеляриях не в силах толком решить, что это и когда там съел.

Таковы фактические обстоятельства этого дела. Я изложил их с педантизмом историка. Если у кого-нибудь еще остались сомнения, пусть он обратится в сенатский архив в Капитолии и спросит 21-й том «Отчетов Палаты представителей» 2-й сессии Конгресса 36-го созыва и 106-й том «Сенатских отчетов» 2-й сессии Конгресса 41-го созыва. Дело изложено полностью в 1-м томе «Отчетов» Суда по разбору претензий.

Лично я твердо уверен, что, пока стоит американский материк, наследники Джорджа Фишера, ныне покойного, будут продолжать свои паломничества в Вашингтон из флоридских болот за очередной порцией денежек (получая последнюю выплату, они заявили, что доселе полученное составляет лишь четвертую часть того, что им причитается за плодородное кукурузное поле их предка) и что они отыщут всегда очередного Гаррета Дэвиса, чтобы протаскивать свои людоедские счета через конгресс.

Добавлю: это не единственный многолетний мошеннический заговор против многострадальной казны (спешу снова оговориться, что факт жульничества по суду не доказан), преспокойно передаваемых от отца к сыну, из одного поколения в другое¹.

¹ Когда я впервые опубликовал этот рассказ, мало кто из читателей поверил приведенным в нем фактам: меня считали фантазером. В наши же дни, напротив, труднее себе представить, что существовали времена, когда ограбление государства было в новинку. Тот человек, который познакомил меня с документами дела Фишера, жил в Вашингтоне по поручению Пакетботной компании и расходовал сотни тысяч, чтобы раздобыть для своей компании крупную государственную субсидию. Это дело тоже долго замалчивалось, но, наконец, получило огласку и стало предметом специального расследования в конгрессе. — М. Т.

Первым, кто меня почтил вниманием вскоре после того, как я здесь обосновался, был джентльмен, назвавшийся экспертом, имеющим отношение к департаменту внутренних сборов. Я сказал, что никогда не слышал о такой отрасли коммерции, но тем не менее очень рад с ним познакомиться. Не угодил ли присест? Он сел. Я не знал, с чего начать разговор, хотя и сознавал, что человек, достигший почетного положения домовладельца, обязан быть светским непринужденным, разговорчивым и общительным. Поэтому, за немейнем лучшего, я спросил, не собирается ли он открыть свое дело в наших краях.

Он ответил утвердительно. (Мне страшно не хотелось высказывать свою несведомленность, и я надеялся, что в ходе беседы незнакомец сам упомянет, чем он торгует.)

— Как дела? — рискнул я спросить.

— Так себе, — ответил он.

Тут я пообещал, что мы с женой заглянем к нему и если останемся довольны, то он может считать нас своими постоянными клиентами.

Он выразил надежду, что его заведение нам понравится: еще не было случая, чтобы кто-нибудь после знакомства с ним захотел бы иметь дело с другими представителями его профессии.

Это прозвучало довольно нескромно, но если пренебречь такой вполне естественной слабостью, свойственной каждому из нас, то он показался мне человеком порядочным.

Уж не знаю, как это получилось, но мало-помалу лед растаял, мы нашли общий язык, и дальше все пошло как по маслу.

Мы говорили, говорили и говорили, — главным образом я, и хохотали, хохотали, хохотали, — главным образом он. Но я ни на миг не терял головы, нет, — и включил свой природный ум «на полный ход», как говорят машинисты. Вопреки его туманным ответам, я решил непременно выяснить, чем он торгует, выудить из него все, но так, чтобы он этого не заметил. Я хотел весьма хитроумно заманить его в ловушку: сперва я сам расскажу ему о своих делах, и, конечно, этот порыв доверия с моей стороны так его расположит ко мне, что он в свою очередь, забыв осторожность, поведаст о себе, даже не подозревая, что мне только того и надо. «Сынок, — подумал я, — знал бы ты, к какой старой лисе угодил в лапы».

— Угадываете-ка, — сказал я, — сколько я заработал за прошлый год чтением лекций!

— Нет... ну откуда же... Гм! Погудите... Ну, скажем, тысячи две? Нет, нет... Право же, вы не могли столько заработать! Скажем, тысячу семьсот?

— Ха-ха! Так и знал — не угадаете. За прошлую весну и эту зиму я заработал публичными лекциями четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят долларов. Ну, каково?

— Поразительно! Просто поразительно! Мне это надо учесть... И вы говорите, это еще не все?

— Все? Бог ты мой! А газета «Ежедневный Боевой Клич»? За четыре месяца — около... около... скажем... восемь тысяч долларов! Как вам это нравится?

— Нравится! Да я бы сам не прочь поплавать в этакое океане долларов. Восемь тысяч! Тоже надо учесть... Послушайте, я помимо всего прочего, как я понял, у вас имелись еще и другие доходы?

— Ха-ха-ха! Да вы еще, так сказать, бродите по задворкам! А моя книга «Простак за границей»? От трех с половиной до пяти долларов за экземпляр, в зависимости от переплета. Слушайте! Смотрите мне в глаза! За последние четыре с половиной месяца, помимо проданных ранее, — только за четыре с половиной месяца! — разошлось девяносто пять тысяч экземпляров. Де-вя-но-сто пять тысяч! Только подумайте! В среднем, скажем, по четыре доллара за книгу, стало быть — четыреста тысяч долларов, любезнейший. А я получаю половину.

— Святые спасители! Я должен это учесть... Четырнадцать... семь... пятьдесят... восемь... двести... В итоге — ручаюсь, — общая сумма двести тринадцать или двести четырнадцать тысяч долларов. Неужели это мыслимо?

— Мыслимо? Если я и ошибся, то лишь преуменьшив свои заработки. Двести четырнадцать тысяч наличными — вот мой чистый годовой доход, если я не разучился считать.

Мой гость поднялся, собираясь откланяться. И вдруг мне в голову пришла неприятная мысль: а что, если я расписался перед ним зря, да еще приукрашивал свои успехи, польщенный его изумлением? Но нет! В последнюю минуту этот джентльмен вручил мне конверт и сказал, что в нем находится проспект, ознакомившись с которым я получу представление о роде его занятий. Он просто счастлив иметь меня своим постоянным клиентом, он будет гордиться тем, что среди его клиентов есть человек с таким огромным доходом. Прежде он полагал, что в нашем городе живет немало богатей, но как только они оказывались его клиентами, выяснялось, что они едва сводят концы с концами. И вот после стольких томительных лет ожидания ему наконец довелось воочию видеть богатого человека, беседовать с ним, прикасаться к нему, — и теперь он просто не может не заключить меня в объятия и счел бы за великую любезность, если бы я ему это позволил.

Я был так польщен, что тут же, без всякого сопротивления, позволил этому простаку объять меня и уронить несколько слез умиления за мой воротник. Потом он ушел.

После его ухода я сейчас же вскрыл конверт. Несколько мнут я внимательно изучал проспект. Потом позвал кухарку и сказал:

— Держите меня, сейчас я упаду в обморок! А Мария пусть переворачивает олады, чтобы не сгорели:

Придя в себя, я тотчас приказал сходить на угол в трактир и ангажировать — недельной оплатой — маэстро, который бы прокли-

нал этого типа по ночам, а когда я выдохнусь — смеялся бы меня в дни.

Нет, каков прохвост! Его «проспект» оказался не чем иным, как омерзительной изложившей декларацией — целой серией наглых вопросов о моих сугубо личных делах (на четырех листах большого формата, заполненных мелким шрифтом), — и, должен заметить, вопросов столь каверзных, что сымый мудрый старец на свете не уразумел бы, где тут подвох. Вопросы эти были составлены с таким расчетом, чтобы вынудить человека чуть ли не вчетверо преувеличить свои доходы из боязни преуменьшить их и тем самым свершить клятвопреступление. Я пробова! найти лазейку, но ее не было.

Первый вопрос был настолько емким и всеобъемлющим, что накрывал меня вместе с моими доходами, как зон! муравьиной куку:

«Какова сумма вашего дохода за последний год от любого вида торговли, дела или занятия, независимо от вашего местожительства?»

Этот вопрос подкреплялся чертовой дюжиной других столь же вездных вопросов, самые скромные из которых требовали ответа: не совершил ли я кражи со взломом, разбо! на большой дороге, не получил ли я путем поджога и других тайных средств обогащения какой-нибудь собственности, не упомянутой в ответе на вопрос № 1.

Было ясно, что этот человек предоставил мне полную возможность оказаться в дураках. Да, это было совершенно ясно. Я пошел и нанял второго маэстро. Играя на моем честолюбии, незнакомец вынул! меня заявить, что мой годовой заработок составляет двести четырнадцать тысяч долларов. Единственным утешением для меня был пункт, согласно которому доход в пределах одной тысячи долларов не облагается налогом, но что это — капля в море! Итак, я должен был отдать государству пять процентов своего дохода, то есть десять тысяч шестьсот пятьдесят долларов подоходного налога!

(Здесь я кстати замечу, что я этого не сделал.)

Я знаком с очень богатым человеком, дом у него — дворец, стол королевский, траты огромные, — и все же, судя по его налоговым декларациям, этот богач не имеет никаких доходов. К нему-то и обратился я за советом, попав в беду... Он просмотрел чудовищный перечень моих доходов, надел очки, взял перо н... гоп-ля! — я стал нищим. Впервые видел я такой ловкий фокус. Просто он хитроумно обошелся с графой «Скидки». Он написал, что мои налоги — в пользу штата, федеральный и муниципальный — составляют столько-то; мои «убытки при кораблекрушениях, пожаре и пр.» — столько-то; убытки «при продаже недвижимости» — столько-то; убытки «при продаже домашнего скота» — столько-то; «на уплату аренды» ушло столько-то; на «ремонт, переделки, уплату процентов», «взимавшиеся ранее налоги в бытность мою на службе в американской армии, флоте, налоговом ведомстве» и прочие... Он произвел поразительные «скидки» по каждому, буквально по каждому из этих пунктов. Когда он

протянул этот лист мне, я с первого же взгляда увидел, что мой чистый годовой доход составляет тысячу двести пятьдесят долларов и сорок центов.

— Так вот, — сказал он, — доход в тысячу долларов не облагается налогом. Теперь вам остается лишь клятвенно заверить этот документ и заплатить налог с двухсот пятидесяти долларов.

(Пока он это изрекал, его маленький сыннишка Уилли вытащил из жилетного кармана папаша двухдолларовую бумажку и исчез. Готов биться об любую заклад: случись моему недавнему посетителю завтра явиться и к нему, малышу предъявить ему фальшивую декларацию о своих доходах.)

— И вы, сэр, — спросил я, — тоже обрабатываете графу «Скидки» подобным образом?

— А как же! Если бы не эти одиннадцать спасительных пунктов под заголовком «Скидки», я бы ежегодно разорался ради того, чтобы содержать наше гнусное, разбойничье, деспотичное правительство.

Человек этот выделяется даже среди самых солидных граждан города — людей высокой нравственности, коммерческой честности, незапятнанной общественной репутации, — и я последовал его примеру. Я отправился в налоговое ведомство и, чувствуя на себе осуждающий взор моего недавнего гостя, стал под присягой утверждать ложь за ложью, измышление за измышлением, жульничество за жульничеством, пока душа моя не покрылась трехдюймовой коростой греха, так что я навеки утратил уважение к самому себе.

А собственно, почему? Ведь тысячи самых богатых, гордых, почитаемых граждан Америки каждый год проделывают то же самое. Наплевать! Мне ничуть не стыдно. Но впредь я решил быть поосторожнее и поменьше болтать, дабы не пасть жертвой столь пагубной привычки.

КАК МЕНЯ ВЫБИРАЛИ В ГУБЕРНАТОРЫ

Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Блэнка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда-либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине души ликовал, но некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего счастья: ведь мое имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов! Это стало беспокоить меня все больше и больше. В конце концов я решил по-

советоваться со своей бабушкой. Старушка ответила быстро и решительно. Письмо ее гласило:

«За всю свою жизнь ты не совершил ни одного бесчестного поступка. Ни одного! Между тем взгляни только в газеты, и ты поймешь, что за люди мистер Смит и мистер Блэнк. Суди сам, можешь ли ты унизиться настолько, чтобы вступить с ними в политическую борьбу?»

Именно это и не давало мне покоя! Вся ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. В конце концов я решил, что отступать уже поздно. Я взял на себя определенные обязательства и должен бороться до конца. За завтраком, небрежно просматривая газеты, я наткнулся на следующую заметку и, сказать по правде, был совершенно ошеломлен:

«Лжесвидетельство. Быть может, теперь, выступая перед народом в качестве кандидата в губернаторы, мистер Марк Твен соннолит разяснения, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги тридцатью четырьмя свидетелями в городе Вакаве (Кохинхина) в 1863 году? Лжесвидетельство было совершенно с намерением оттянуть у бедной вдовы-туземки и ее беззащитных детей жалкий клочок земли с несколькими банановыми деревьями — единственное, что спасало их от голода и нищеты. В своих же интересах, а также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Твен, голосовать за него, он обязан разъяснить эту историю. Решить ли он?»

У меня просто глаза на лоб полезли от изумления. Какая грубая, бессовестная клевета! Я никогда не бывал в Кохинхине! Я не имею понятия о Вакаве! Я не мог бы отличить бананового дерева от кенгуру! Я просто не знал, что делать. Я был взбешен, но совершенно беспомощен.

Прошел целый день, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро в той же газете появились такие строки:

«Знаменательно! Следует отметить, что мистер Марк Твен хранит многозначительное молчание по поводу своего лжесвидетельства в Кохинхине!»

(В дальнейшем, в течение всей избирательной кампании эта газета называла меня не иначе, как «Гнусный Клятвопреступник Твен».)

Затем в другой газете появилась такая заметка:

«Желательно узнать, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разяснить тем из своих сограждан, которые отваживаются голосовать за него, одно любопытное обстоятельство: правда ли, что у его товарищей по бару в Монтане то и дело пропадали разные мелкие вещи, которые неизменно обнаруживались либо в карманах мистера Твена, либо в его «чемодане» (старой газете, в которую он заворачивал свои пожитки). Правда ли, что товарищи вынуждены были наконец, для собственной же пользы мистера Твена, сделать ему дружеское внушение, вымазать дегтем, вывалить в перьях и пронести по улицам верхом на шесте, а затем посоветовать поскорей очистить занимаемое им в лагере помещение и навсегда забыть туда дорогу? Что ответит на это мистер Марк Твен?»

Можно ли было выдумать что-либо гнуснее! Ведь я никогда в жизни не бывал в Монтане!

(С тех пор эта газета называла меня «Твен, Монтанский Вор».)

Теперь я стал развешивать утренняя газету с боязливой осторожностью, — так, наконец, приподнимает одеяло человек, подозревающий, что где-то в постели притаилась гремучая змея.

«Однажды мне бросилось в глаза следующее:

«Клеветник уличен! Майкл О'Фланеган — сквайр из Фай-Пойнтса, мистер Снаб Рафферти и мистер Кэтти Маллиган с Уотер-стрит под присягой дали показания, свидетельствующие, что наглое утверждение мистера Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата мистера Блэнка был повешен за грабеж на большой дороге, является полдой и нелепой, ни на чем не основанной клеветой. Каждому порядочному человеку станет грустно на душе при виде того, как ради достижения политических успехов некоторые люди пускаются на любые гнусные уловки, некоторые люди и чертят честные имена успешны. При мыслях о том горе, которое эта мерзкая лож причинила им в чем не повинным родным и друзьям покойного, мы почти готовы посоветовать оскорбленной и разгневанной публике тотчас же учинить грозную расправу над клеветником. Впрочем, нет! Пусть терзается угрызениями совести! (Хотя, если наши сограждане, ослепленные яростью, в пылу гнева нанесут ему телесные увечья, совершенно очевидно, что никакие присяжные не решатся их обвинить и никакой суд не решится присудить к наказанию участников этого дела.)»

Ловкая заключительная фраза, видимо, произвела на публику должное впечатление: той же ночью мне пришлось поспешно вскочить с постели и убежать из дому черным ходом, а «оскорбленная и разгневанная публика» ворвалась через парадную дверь и в порыве справедливого негодования стала бить у меня окна и ломать мебель, а кстати захватила с собой кое-что из моих вещей. И все же я могу поклясться всеми святыми, что никогда не клеветал на дедушку мистера Блэнка. Мало того — я не подозревал о его существовании и никогда не слышал его имени.

(Замечу мимоходом, что вышеупомянутая газета с тех пор стала именовать меня «Твенном, Осквернителем Гробниц».)

Вскоре мое внимание привлекла следующая статья:

«Достойный кандидат! Мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечером произнести громкую речь на митинге независимых, не явился туда вовремя. В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говорилось, что егошиб мчавшийся во весь опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает жесточайшие муки, и тому подобный вздор. Независимые из всех сил старались принять на веру эту жалкую отговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отъявленного негодяя, которого они избрали своим кандидатом. Но вчера же вечером некий мертвецкий пьяный субъект на четвереньках вошел в гостиницу, где проживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимые попробуют доказать, что эта нализавшаяся скотина не была Марком Твеном. Попалясь наконец-то! Увертки не помогут! Весь народ громкоglasно вопрошает: «Кто был этот человек?»

Я не верил своим глазам. Не может быть, чтобы мое имя было связано с таким чудовищным подозрением! Уже целых три года я не брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких спиртных напитков.

(Очевидно, время брало свое, и я стал закаляться, потому что без особого огорчения прочел в следующем номере этой газеты свое новое прозвище: «Твени, Белая Горячка», хотя знал, что это прозвище останется за мной до конца избирательной кампании.)

К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они бывали такого содержания:

«Что скажете насчет убогой старухи, которая к вам стучалась за подаванием, а вы ее ногой пнули?»

Пол Прайд.

Или:

«Некоторые ваши темные делишки известны пока что одному мне. Придется вам раскошелиться на несколько долларов, иначе газеты узнают кое-что о вас от вашего покорного слуги.

Хэнди Энди».

Остальные письма были в том же духе. Я мог бы привести их здесь, но думаю, что читателю довольно и этих.

Вскоре главная газета республиканской партии «уличила» меня в подкупе избирателей, а центральный орган демократов «вывел меня на чистую воду» за преступное требование денег.

(Таким образом, я получил еще два прозвища: «Твен, Грязный Плут» и «Твени, Подлый Шантажист».)

Между тем все газеты со страшными воплями стали требовать «ответа» на предъявленные мне обвинения, а руководители моей партии заявили, что дальнейшее молчание погубит мою политическую карьеру. И словно для того, чтобы доказать это и подстегнуть меня, на следующее утро в одной из газет появилась такая статья:

«Подлюбайтесь-ка на этого субъекта! Кандидат независимых продолжает упорно отмалчиваться. Конечно, он не смеет и пикнуть. Предъявленные ему обвинения оказались вполне достоверными, что еще больше подтверждается его красноречивым молчанием. Отныне он заклеймен на всю жизнь! Поглядите на своего кандидата, независимый! На этого Гнусного Клятвопреступника, на Монтанского Вора, на Осквернителя Гробниц! Посмотрите на вашу воплощенную Белую Горячку, на вашего Грязного Плута и Подлого Шантажиста! Вглядитесь в него, осмотрите со всех сторон и скажите, решитесь ли вы отдать ваши честные голоса этому негодяю, который тяжкими своими преступлениями заслужил столько отвратительных кличек и не смеет даже раскрыть рот, чтобы опровергнуть хоть одну из них».

Дальше уклоняться было уже, видимо, нельзя, и, чувствуя себя глубоко униженным, я засел за «ответ» на весь этот ворох незаслуженных грязных поклепов. Но мне так и не удалось закончить мою работу, так как на следующее утро в одной из газет появилась новая ужасная и злобная клевета: меня обвинили в том, что я поджег сумасшедший дом со всеми его обитателями, потому что он портил вид из моих окон. Тут меня охватил ужас. Затем последовало сообщение о том, что я отравил своего дядю с целью завладеть его имуществом. Газета настойчиво требовала вскрытия трупа. Я боялся, что вот-вот сойду с ума. Но этого мало: меня еще обвинили в том, что, будучи попечителем приюта для подкидышей, я пристроил по протекции своих выживших из ума беззубых родственников на должность разжевывателей пищи для пинтоцев. У меня голова пошла кругом. Наконец бесстыдная травля, которой подвергли меня враждебные партии, достигла наивысшей точки: по чьему-то наущению во время предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и, цепляясь за мои ноги, стали кричать: «Папа!»

Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не по силам.

Я написал, что снимаю свою кандидатуру, и в порыве ожесточения подписался:

«С совершенным почтением ваш когда-то честный человек, а ныне:

Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист

Марк Твен».

НАУКА ИЛИ УДАЧА

— В те времена, — начал свой рассказ мистер К., — азартные игры в штате Кентукки строго преследовались. Однажды десять или двенадцать молодых людей были застигнуты, когда они играли на деньги в «семерку». Эта игра известна также под названием «старые санки». Дело подлежало рассмотрению в суде, защитником должен был выступить Джим Сторджис. Чем более раздумывал Сторджис и чем внимательнее вчитывался он в показания свидетелей, тем яснее ему становилось, что дело совсем безнадежное. Молодые люди действительно были застигнуты за азартной игрой, играли на деньги, от этого куда не уйдешь. Опрометчивость Сторджиса вызвала сочувствие к нему в обществе. «Стоило ли губить столь блестяще начатую карьеру, брать защиту в скандальном деле, которое наверняка окончится обвинительным приговором?» — так думали все.

Несколько суток Сторджис не смыкал глаз, зато однажды наутро поднялся в прекраснейшем настроении: его осенила идея; он, кажется, нашел выход. Весь день он провел у своих подзащитных, а также конфиденциально беседовал в узком кругу друзей. В суде он признал и игру в «семерку», и то, что игра шла на деньги, но вслед за тем объявил недрогнувшим голосом, что не считает «семерку» азартной игрой. Никто в зале не смог удержаться от смеха. Улыбнулся и сам судья. Лицо Сторджиса оставалось бесстрастным, даже суровым. Прокурор попытался высмеять Сторджиса — но без успеха. Судья за тайливо пошутил по поводу занятой адвокатом странной позиции, но на Сторджиса не повлияло и это. Наступила заминка. Судья выразил нетерпение, спросив, не слишком ли далеко зашла шутка защиты? Джим Сторджис ответил, что совсем не склонен шутить, но не допустит, чтобы его подзащитные сели в тюрьму лишь потому, что кому-то угодно считать «семерку» азартной игрой. Он требует доказательств. Судья возразил, что доказать это — дело нетрудное, и вызвал из публики четырех дьяконов — Джаба, Питерса, Бэрка и Джонсона и двух школьных учителей — Вирта и Миггlsa. Все они опровергли юридическую увертку Сторджиса, объявив с большим жаром «семерку» — азартной игрой, в которой выигрывает тот, на чьей стороне удача.

— Что вы скажете на это? — спросил судья.

— Я скажу, что «семерка» — научная игра! — сказал Сторджис. — И не замедлю представить вам веские доводы.

Стратегический план защиты стал для всех ясен.

Сторджис вызвал кучу свидетелей, которые привели множество доводов в пользу того, что «семерка» игра строго научная.

Дело, которое казалось проще простого, сделалось весьма заковыренным. Судья почесал в затылке и сказал, что не видит выхода. И истцы и ответчики могут, как видно, набрать любое число показаний в свою пользу. Судья добавил, что в интересах решения дела он готов сделать шаг навстречу защите, если защита имеет что предложить.

В ту же минуту Сторджис был на ногах:

— Назначьте двенадцать присяжных, шестерых, кто стоит за удачу, и шестерых, кто стоит за науку. Пусть возьмут две колоды карт, запасаются свечами и идут в совещательную комнату. Правда себя покажет.

Против этого возразить было нечего. Четыре дьякона и два школьных учителя принесли присягу как сторонники теории удачи. Шесть поседевших в боях ветеранов «семерки» выступили как сторонники научной теории. Присяжные удалились.

Прошло часа два, и преподобный Питерс прислал человека, чтобы занять три доллара у одного из своих друзей. (Движение в пубlike.) Еще через два часа учитель Миггls прислал человека за тем же. (Снова движение в зале.) В течение следующих трех-четырёх часов второй учитель и остальные три дьякона произвели аналогичные мелкие займы. Публика, переполнявшая зал суда, не расходилась. Бывший Угол давно не сталкивался со столь острой проблемой. Добавим, что она имела насущный практический интерес для каждого уважающего себя отца семейства в поселке.

Конец этой истории таков. На рассвете присяжные вышли в зал заседания, и их старшина, дьякон Джаб, прочитал вердикт:

«Мы, присяжные в деле штата Кентукки против Джона Уилера и других, тщательно рассмотрев обстоятельства дела и проверив теории и доводы, выдвинутые в процессе судебного следствия, единодушно решили, что игра, известная под названием «семерка», или «старые санки», является безусловно не азартной, а научной игрой. Предпринятая нами проверка указанных теорий и доводов выяснила, обнаружила, с очевидностью показала, что за целую ночь сторонники теории удачи не имели ни одного козыря и не выиграли ни единого кона, в то время как противная сторона многократно демонстрировала и то и другое. В пользу нашего решения свидетельствует также и то, что сторонники теории удачи проигрались до последнего цента, и их деньги перешли к представителям противной теории. Вследствие чего мы, присяжные, заключаем, что теория удачи применительно к игре «семерка», или «старые санки», является пагубной и может принести неисчислимые страдания и тяжкий материальный ущерб всем, кто ей будет следовать».

— Вот как получилось, что в штате Кентукки «семерку» исключили из списка азартных игр и стали рассматривать как игру чисто научную и запретили подлежащую, — сказал мистер К. — Решение суда получило силу закона и не оспорено по сей день.

ПРИЯТНОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Поскольку полученное нами нижеследующее объявление касается предприятия, которое представляет несомненный интерес для широкой публики, мы сочли себя вправе поместить его на столбцах нашей газеты. Мы уверены, что этот наш поступок нуждается лишь в пояснении, а не в извинениях.

Редактор «Нью-Йорк геральд»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Настоящим сообщаю, что в компании с мистером Барнумом я взял напрокат комету сроком на несколько десятков лет и прошу уважаемую публику поддержать задуманное нами выгодное предприятие.

Мы намереваемся оборудовать в комете удобные и даже роскошные помещения для всех, кто почтит нас своей поддержкой и предпримет вместе с нами длительное путешествие среди небесных тел. Мы приготовим 1 000 000 кают в хвосте кометы (с горячей и холодной водой, газом, зеркалами, парашютами, зонтиками и т. д.), а в случае щедрой поддержки публики увеличим количество кают. В комете будут также бильярдные, игровые залы, мюзик-холлы, кегельбаны, множество вместительных театров и публичных библиотек; на главной палубе мы будем держать лошадей и экипажи для прогулок по шоссе протяженностью в 100 000 миль. Мы будем также издавать ежедневные газеты.

ОТПРАВЛЕНИЕ КОМЕТЫ

Комета покинет Нью-Йорк в 10 вечера 20 сего месяца, поэтому желательно, во избежание толкучки при отправлении, чтобы пассажиры поднялись на борт не позднее восьми часов. Непозвонно, понадобятся ли паспорта, но мы советуем пассажирам иметь их при себе и тем самым оградить себя от всяких неожиданностей. Собаки на борт кометы не допускаются. Это правило установлено в соответствии с существующим отношением к этим животным, и мы намерены твердо его придерживаться. Мы будем всемерно заботиться о безопасности наших пассажиров и обнесем комету прочными железными перилами; подходить к ним и заглядывать за борт можно будет только вместе со мной или с моим компаньоном.

ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ

обеспечиваются полностью. Безусловно, мы имеем в виду только телеграфное сообщение. Наши пассажиры смогут обмениваться впе-

чатлениями со своими друзьями, находясь в каютах, на расстоянии 20 000 000 и даже 30 000 000 миль от них; время прохождения телеграммы в оба конца — однанадцатая суток. Ночной тариф снижается вполночь. Вся эта широко разветвленная почтовая система будет находиться под личным надзором мистера Хейла из штата Мэн. Завтраки, обеды и ужины — в любое время дня и ночи. Подача белья в каюты оплачивается дополнительно.

Мы не ждем враждебных действий ни с одной из больших планет, однако мы решили, что лучше ошибиться, чем попасть враска, — вот почему мы запаслись достаточным количеством мортир, осадных орудий и abordажных крюков. История показывает, что мелкие отдаленные поселения, как, например, племена уединенных островов, склонны враждебно относиться к иноземцам. То же может случиться и

С ЖИТЕЛЯМИ ЗВЕЗД

десятой — двадцатой величины. Самы мы ни в коем случае не станем обижать обитателей звезд, если только к тому не будет повода, а проявим по отношению к ним вежливость и доброжелательство и на самой малой планете не позволим себе ничего такого, что не решились бы позволить себе на Юпитере или Сатурне. Повторяю, без повода мы не обидим ни одну из звезд, но в случае если правительство какой-либо звезды небосвода попытается причинить нам зло или поведет себя недостаточно почтительно, оно получит немедленный ответ. Мы против кровопролития, но тем не менее будем решительно и безбоязненно придерживаться этой политики не только по отношению к отдельным звездам, но и к целым созвездиям. Мы надеемся оставить хорошее впечатление об Америке на всех звездах и планетах, которые посетим, — от Венеры до Урана. Во всяком случае, если мы не сумеем пробудить любовь к нашей родине, то по крайней мере заставим уважать ее везде, куда бы мы ни ступили. На комете бесплатно полетит

БОЛЬШОЙ ОТРЯД МИССИОНЕРОВ,

которые прольют истинный свет на небесные сферы, так как те хотя и светят физически, но духовно пребывают во тьме. Повсюду, где только возможно, будут учреждены воскресные школы. Будет также введено обязательное обучение.

Прежде всего наша комета посетит Марс, а затем направится на Меркурий, Юпитер, Венеру и Сатурн. Лицам, связанным с правительством Колумбийского округа, и прежним городским властям Нью-Йорка, если они пожелают обследовать кольца, будет предоставлено на то время и необходимое снаряжение. Мы посетим все звезды первой и второй величины и выделим время для экскурсий в наиболее интересные пункты на территории этих светил.

вычеркнуто из программы. Много времени будет уделено Большой Медведице и, безусловно, всем важным созвездиям, а также Солнцу, Луне и Млечному Пути — этому небесному Гольфстриму. Для экскурсий по Солнцу приготовлена специальная защитная одежда. Наша программа составлена так, что почти через каждые 100 000 000 миль мы будем делать остановку на какой-нибудь звезде. Таким образом, остановки предполагаются частые, и нашим туристам скучать не придется. Багаж можно сдавать до любого пункта путешествия. Пассажиры, которые захотят проделать лишь часть путешествия и тем самым сэкономить на стоимости билета, смогут сойти на любой избранной ими звезде и дожидаться там нашего возвращения.

Посетив все наиболее известные звезды и созвездия нашей системы и лично осмотрев самые отдаленнейшие свечения, которые в настоящее время обнаружены на небосводе наиболее мощным телескопом, мы смело продолжим наш

ПОТРЯСАЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ

средн бесчисленных блуждающих миров, которые хаотически кружат в необозримых пространствах — тех пространствах, что в торжественной пустынности простираться на многие биллионы миль за пределами видимости самого сильного телескопа, и залетим так далеко, что маленький, блистающий звездан свод, на который мы сможем с Земли, покажется нам лишь отблеском светящейся волны, мелькнувшей за кормой лодки путешественника в тропических морях и стершейся в его памяти после долгих лет скитаний по бескрайним фосфоресцирующим просторам. С детей, занимающих места за столом первого класса, плата будет взиматься полностью.

КАЮТЫ ПЕРВОГО КЛАССА

от Земли до Урана, с заездами на Солнце, Луну и все главные планеты по пути следования стоят всего лишь по два доллара за каждые 50 000 000 миль пути. На весь рейс, в оба конца, делается большая скидка. Наша комета — новая и в полном порядке, она отправляется в свое первое путешествие. Насколько нам известно, это самая быstroходная комета на линии. Она делает 20 000 000 миль в день, и с отборной американской командой и при хорошей погоде несомненно сможет дать и 40 000 000 миль. Однако мы не намерены развлекать опасную скорость и строго-настроено запретим гонки с другими кометами. Пассажиры, которые пожелают изменить курс своего путешествия или вернуться на Землю, будут переплавлены на другие кометы в любом пункте. Мы свяжемся со всеми надежными линиями. Безопасность пассажиров полностью гарантируется, но не станем скрывать, что небеса кишат

которые не осматривались и не ремонтировались 10 000 лет и которые надо бы давным-давно сломать или переделать на грузовые баржи. С ними мы не будем поддерживать никаких связей. Пассажирам третьего класса вход на верхнюю палубу воспрещается.

Генералу Батлеру, мистеру Шеперду, мистеру Ричардсону и другим выдающимся гражданам, чьи заслуги перед обществом дают им право на отдых и развлечения, мы предоставим бесплатные билеты туда и обратно. Группам экскурсантов, изъявившим желание проделать все путешествие, будут обеспечены дополнительные удобства. Путешествие закончится 14 декабря 1991 года — в этот день пассажиры снова ступят на землю Нью-Йорка. Таким образом, мы обернемся по крайней мере на сорок лет быстрее, чем любая другая комета. Многие члены конгресса собираются проделать с нами все путешествие, если их избиратели дадут им отпуск. На борту кометы вас ждут всевозможные невинные развлечения, но всякие пари, особенно относительно скорости кометы, и азартные игры во время полета запрещаются. Ко всем постоянным звездам небосвода мы отнесемся с должным уважением, но блуждающие звезды, которые нужно закрепить на одном месте, мы закрепим. Мы будем очень сожалеть, если при этом возникнут волнения, но все-таки закрепим их.

Поскольку мистер Коджн сдал нам свою комету напрокат, она будет называться теперь не его именем, а именем моего партнера.

NB. Пассажиры, оплатившие двойную стоимость проезда, получают право на долю во всех новых звездах, солнцах, лунах, кометах, метеорах и складах грома и молний, которые мы обнаружим. Фирмы патентованных медикаментов благоволят принять к сведению, что мы захватим с собой

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ

для размещения на созвездиях, а также кисти и краски; фирмы могут заключить с нами договоры. Напоминаем тем, кто предпочитает, чтобы после смерти их не предали земле, а сожгли, что мы направляемся прямым в самое пекло и можем захватить их с собой. Для большинства пассажиров наша поездка будет просто приятной экскурсией, нас же интересует деловая сторона. Мы надеемся выжать из кометы все, что она может дать.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОДРОБНОСТИ

относительно стоимости билетов и провоза багажа вы узнаете на борту кометы или у моего компаньона, ко мне же с вопросами не обращайтесь, потому что я вступаю в свои обязанности лишь после отправления кометы. В настоящее время я не имею возможности загружать свой мозг всякими мелочами.

Марк Твен.

Был летний вечер. Сумерки. Мы сидели на веранде дома, стоявшего на вершине холма, а тетка Рэчел почтительно присела пониже, на ступеньках, как подобает служанке, да притом еще цветной. Она была высокого роста и крепкого сложения; и хотя ей перевалило уже за шестьдесят, глаза ее еще не померкли и силы ей не изменили. Нрав у нее был веселый и добродушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь. Теперь она, как обычно по вечерам, оказалась под огнем — иными словами, под градом наших шуток, что доставляло ей огромное удовольствие. Она покатывалась со смеху, закрывала лицо руками и тряслась и задыхалась в припадке веселья. В одну из таких минут я посмотрел на нее и сказал:

— Тетка Рэчел, как это ты ухитрилась прожить на свете шестьдесят лет и ни разу не испытать горя?

Она замерла. Наступила тишина. Потом она повернула голову и, глядя на меня через плечо, сказала без тени улыбки:

— Мисту Клеменс, вы не шутите?

Я удивился и тоже перестал смеяться. Я сказал:

— Ну да, я думал... я полагал... что у тебя никогда не бывало горя. Я ни разу не слышал, чтобы ты вздыхала. Твои глаза всегда смеются.

Она повернулась ко мне, полная волнения:

— Знала ли я горе? Мисту Клеменс, я вам расскажу, а вы судите сами. Я родилась среди рабов; я знаю, что такое рабство, поэтому что сама была рабыней. Ну вот, мой старик — муж мой — любил меня и был ласков со мной, точь-в-точь как вы ласковы с вашей женой. И были у нас дети — семеро деток, — и мы любили их, точь-в-точь как вы любите ваших деток. Они были черные, но бог не может сделать детей такими черными, чтобы мать не любила их и согласилась расстаться с ними, — нет, ни за что, даже за все богатства мира.

Ну вот, я росла в Виргинии, а моя мать росла в Мэриленде; и как же она гордилась тем, что родилась в таком аристократическом месте! Было у ней одно любимое присловье. Выпрямится, бывало, подбоенится и скажет: «Что я, в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной смеялась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, — вот кто я такая!» Это они себя так величают — те, которые родились в Мэриленде, — и гордятся этим. Да, это было ее любимое присловье. Я никогда его не забуду, потому что она часто повторяла его и сказала в тот день, когда мой Генри ободрал руку и чуть не проломил себе голову, а негры не поспешили помочь ему. Да еще сказали ей что-то поперек. А она подбоенилась и говорит: «Слушайте, негры, разве я в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, — вот кто я такая!» — и унесла ребенка на кухню и сама сделала

перевязку. Я тоже повторяю это присловье, когда сержусь.

Ну вот, как-то раз говорит моя старая мисс: я, мол, разорилась и продаю всех своих негров. Как услыхала я, что она повезет всех нас в Ричмонд на аукцион, я — господи боже ты мой! — я сразу поняла, чем это пахнет.

Одуревшая рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во весь рост — черный силуэт на звездном небе.

— Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост — вот как эта веранда, — двадцать футов высотой; и народ толпился кругом. Много народу толпились. Они подходили к нам, и осматривали нас, и шупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили: «Этот слишком старый», или: «Этот слабоват», или: «Этому грош цена». И продали моего старика и увели его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать; а мужчина и говорит мне: «Замолчишь ты, проклятая плакса!» — и ткнул мне в зубы кулаком. А когда увели всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю: «Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему». Но Генри прижал ко мне и шепчет: «Я убегу и буду работать — и выкуплю тебя на волю». О, милый мой мальчик, он всегда был такой добрый! Но они увели его... они увели его, эти люди; а я билась, и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями; и они меня колотили, но я уже и не чувствовала побоев.

Да, так и увели моего старика и всех моих деток — всех семерых, — и шестерых я с тех пор уже не видала больше; и исполнилось этому двадцать два года на пасху. Тот человек, который купил меня, был из Ньюберна и увез меня туда. Ну вот, время шло да шло, и началась война. Мой хозяин был полковник Южной армии, а я у него в доме была кухаркой. Когда войска северян взяли город, южане убежали и оставили меня с другими неграми в огромном доме совсем одних. Заняли его северные офицеры и спрашивают меня — согласна ли я для них стряпать. «Господь с вами, говорю, а для чего же я здесь?»

Они были не какие-нибудь — важные были офицеры! А уж как гоняли своих солдат! Генерал велел мне распоряжаться на кухне и сказал: «Если кто вздумает к вам приста- вать, гоните его без разговоров; не бойтесь, говорит, вы теперь среди друзей».

Ну вот, я и думаю: если, думаю, моему Генри удалось бежать, так, наверно, он ушел на Север. И вот как-то раз, когда собрались офицеры, вошла я к ним в гостиную, и вежливо присела, и рассказала им о моем Генри, а они слушали меня все равно как белую. Я и говорю: «А пришла я вот зачем: если он убежал на Север, откуда вы пришли, то, может, вам случится встретить его, и вы скажете мне, где он теперь и как его найти. Он был очень маленький, у него шрам на левой руке и на лбу». Лица у них стали грустные,

а генерал говорит мне: «Давно ли вы с ним расстались?» А я говорю: «Тринадцать лет». Тогда генерал говорит: «Значит, он теперь уже не ребенок, он взрослый человек».

А мне это и в голову не приходило раньше. Для меня-то он все был маленький мальчуган; я и не думала, что он вырос и стал большой. Но тут я все поняла. Ни один из этих господ не встречался с ним, и они ничего не могли мне сказать о нем. Но все это время мой Генри был в бегах, на Севере, и сделался цирюльником и зарабатывал деньги, только я ничего этого не знала. А когда пришла война, он и говорит: «Полно мне, говорит, цирюльничать, попробую отыскать мою старуху мать, если она еще жива». Продав он свою цирюльню, наился в услужение к полковнику и пошел на войну; всюду побывал — все искал свою старуху мать, нанимался то к одному офицеру, то к другому: весь Юг, мол, обойду. А я-то ничего не знала. Да и как мне было знать?

Ну вот, как-то вечером у нас был большой солдатский бал; солдаты в Ньюберге всегда задавали балы, и сколько раз устраивали их в моей кухне, — просторная была кухня. Мне это, понимаете, не очень-то нравилось: я служила у офицеров, и мне было досадно, что простые солдаты выпяскивают у меня на кухне. Ну да я с ними не церемонилась и, если, бывало, рассердит меня, живо выпроваживала вон из кухни.

Как-то вечером, было это в пятницу, явился целый взвод солдат *черного* полка, карауливших дом, — в доме-то был главный штаб, понимаете? — и тут-то у меня желчь расходилась! Страсти! Такое зло разбурляло! Чувствую, так меня и подмывает, так и подмывает — и только и жду, чтобы они меня раззадорили чем-нибудь. А они-то танцуют, они-то выпяскивают! Просто дым коромыслом! А меня так и подмывает, так и подмывает! Немного погодя приходит нарядный молодой негр с какой-то желтой барышней и давай вертеться, вертеться — голова кружится, глядя на них; поравнялись они со мной и давай переступать с ног на ногу, и покачиваться, и подсменываться над моим красным тюрбаном. Я на них и окрыслась: «Пошли прочь, говорю, шваль!» И вдруг у молодого человека лицо разом изменилось, но только на секунду, а потом он опять начал подсменываться, как раньше. Тут вошел несколько негров, которые играли музыку в том же полку и всегда важничали. А в ту ночь уж и вовсе разважничались. Я на них цыкнула. Они засмеялись, это меня раззадорило; другие тоже стали хохотать, — и я взбеленнись! Глаза мои так и загорелись! Я выпрямилась — вот этак, чуть не до потолка, — подбоченилась, да и говорю: «Вот что, говорю, негры, разве я в хлеву родилась, чтобы всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, — вот кто я такая!» И вижу, молодой человек устоялся на меня, а потом на потолок — будто забыл что-то и не может вспомнить. Я, значит, наступаю на негров — вот так, как генерал какой;

а они пятаются передо мной — и в дверь. И слышу я, молодой человек говорит, уходя, другому негру: «Джим, говорит, сходи-ка ты к капитану и скажи, что я буду в восемь часов утра; у меня, говорит, есть кой-что на уме, и я не буду спать эту ночь». Ты уходи к себе, говорит, и не беспокойся обо мне».

А был час ночи. В семь я уже вставала и готовила офицерам завтрак. Я нагнулась над печкой — вот так, пускай ваша нога будет печка, — отворнула ее, толкнула дверь — вот как сейчас толкаю вашу ногу, и только было достала противень с горячими булочками и подняла его, глядь — какое-то черное лицо просунулось из-под моей руки и заглядывает мне в глаза — вот как теперь на вас гляжу; и тут я остановилась да так и замерла, гляжу, и гляжу, и гляжу, а противень начал дрожать — и вдруг... я *узнала!* Противень полетел на пол, схватила я его левую руку и завернула рукав — вот как вам заворачиваю, — а потом откинула назад его волосы — вот так, и говорю: «Если ты не мой Генри, откуда же у тебя этот шрам на руке и этот рубец на лбу? Благодарение господу богу на небесах, я нашла моего ребенка!»

О нег, мисту Клеменсе, я не испытала в жизни горя. Но и радости тоже.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОВРАТИЛ ГЕДЛИБЕРГ

I

Это случилось много лет назад. Гедлиберг считался самым честным и самым безупречным городом во всей близлежащей округе. Он сохранял за собой беспорочное имя уже три поколения и гордился им как самым ценным своим достоянием. Гордость его была так велика и ему так хотелось продлить свою славу в веках, что он начал внушать понятия о честности даже младенцам в колыбели и сделал эти понятия основой их воспитания и на дальнейшие годы. Мало того: с пути подрастающей молодежи были убраны все соблазны, чтоб честность молодых людей могла окрепнуть, закалиться и войти в их плоть и кровь. Соседние города завидовали превосходству Гедлиберга и, притворствуя, издевались над ним и называли его гордость зазнайством. Но в то же время они не могли не согласиться, что Гедлиберг действительно неподкупен, а припрятые к стенке, вынуждены были признать, что самый факт рождения в Гедлиберге служит лучшей рекомендацией всякому молодому человеку, покнивавшему свою родню в поисках работы где-нибудь на чужбине.

Но вот однажды Гедлибергу не повезло: он обидел одного проезжего, возможно даже не подозревая об этом и, уж разумеется, не сожалея о содеянном, ибо Гедлиберг был сам себе голова и его мало тревожило, что о нем думают посторонние люди. Однако на сей раз следовало бы сделать исключение, так как по натуре своей человек этот был зол и мстителен. Проведя весь сле-

дующий год в страстивах, он не забыл наисеенного ему оскорбления и каждую свободную минуту думал о том, как бы отплатить своим обидчикам. Много плавои рождалось у него в голове, и все они были неплохи. Не хватало им только одного — широты масштаба. Самый скромный из них мог бы сгубить не один десяток человек, но мститель старался придумать такой план, который охватил бы весь Гедлиберг так, чтобы никто из жителей города не избежал общей участи. И вот, наконец, на ум ему пришла блестящая идея. Он ухватился за нее, загоревшись злыми торжеством, и мозг его сразу же заработал над выполнением некоего плана. «Да, думал он, вот так я и сделаю, — я соврашу весь Гедлиберг!»

Полгода спустя этот человек явился в Гедлиберг в часов в десять вечера подъехал в тележке к дому старого кассира, служившего в местном банке. Он вынул из тележки мешок, взвалил его на плечо и, пройдя через двор, постучался в дверь домика. Женский голос ответил ему: «Войдите!» Человек вошел, опустил свой мешок возле железной печки в гостиной и учтиво обратился к пожилой женщине, читавшей у зажженной лампы газету «Миссионерский вестник».

— Пожалуйста, не вставляйте, сударыня. Я не хочу вас беспокоить. Вот так... теперь он будет в полной сохранности, никто его здесь не заметит. Могу я побеседовать с вашими супругом, сударыня?

— Нет, он уехал в Брикстон и, может быть, не вернется до утра.

— Ну что ж, не беда. Я просто хочу оставить этот мешок на его попечение, сударыня, с тем чтобы он передал его законному владельцу, когда тот отыщется. Я здесь чужой, ваш супруг меня не знает. Я приехал в Гедлиберг сегодня вечером исключительно для того, чтобы исполнить долг, который уже давно надо мной тяготеет. Теперь моя цель достигнута, и я уеду отсюда с чувством удовлетворения, отчасти даже гордости, и вы меня больше никогда не увидите. К мешку приложено письмо, из которого вы все поймете. Доброй ночи, сударыня!

Таинственный незнакомец испугал женщину, и она обрадовалась, когда он ушел. Но тут в ней проснулось любопытство. Она поспешила к мешку и взяла письмо. Оно начиналось так:

«Прошу отыскать законного владельца через газету или навести необходимые справки негласным путем. Оба способа годятся. В этом мешке лежат золотые монеты общим весом в сто шестьдесят фунтов четыре унции...»

— Господи боже, а дверь-то не заперта!

Миссис Ричардс, вся дрожа, кинулась к двери, заперла ее, спустила шторы на окнах и стала посреди комнаты, со страхом и волнением думая, как уберечь и себя и деньги от опасности. Она прислушалась, не лезут ли грабители, потом, подавшись пожирившему ее любопытству, снова подошла к лампе и дочитала письмо до конца:

«...Я иностранец, на днях возвращаюсь к себе на родину и останусь там навсегда. Мне хочется поблагодарить Америку за все, что она мне дала, пока я жил под защитой американского флага. А к одному из ее обитателей — гражданину города Гедлиберга — я чувствую особую признательность за то великое благодеяние, которое он оказал мне года два назад. Точнее — два великих благодеяния. Сейчас я все объясню».

Я был игроком. Подчеркиваю — был игроком, проигравшимся в пух и прах. Я попал в ваш город ночью, голодный, с пустыми карманами, и попросил подаяния — в темноте: неистовствовать при свете мне было стыдно. Я не ошибся, обратившись к этому человеку. Он дал мне двадцать долларов — другими словами, он вернул мне жизнь. И не только жизнь, но и целое состояние. Ибо эти деньги принесли мне крупный выигрыш за игорным столом. А его слова, обращенные ко мне, я помню и по сию пору. Они победили меня и, победы, спасли остатки моей добродетели: с картами покончено. Я не имею ни малейшего понятия, кто был мой благодетель, но мне хочется разыскать его и передать ему эти деньги. Пусть он поступит с ними как ему угодно: раздаст их, выбросит вон, оставит себе. Таким путем я хочу только выразить ему свою благодарность. Если б у меня была возможность задержаться здесь, я бы разыскал его сам, но он и так отыщется. Гедлиберг — честный город, неподкупный город, и я знаю, что ему смело можно довериться. Личность нужного мне человека вы установите по тем словам, с которыми он обратился ко мне. Я убежден, что они сохранились у него в памяти.

Мой план таков: если вы предпочтете навести справки частным путем, воля ваша; сообщите тогда содержание этого письма, кому найдете нужным. Если избранный вами человек ответит: «Да, это был я, и я сказал то-то и то-то», — проверьте его. Вскройте для этого мешок и выньте оттуда запечатанный конверт, в котором найдете записку со словами моего благодетеля. Если эти слова совпадут с теми, которые вам сообщит ваш кандидат, без дальнейших расспросов отдайте ему деньги, так как он, конечно, и есть тот самый человек.

Но если вы предпочтете предать дело гласности, тогда опубликуйте мое письмо в местной газете со следующими указаниями: ровно через тридцать дней, считая с сегодняшнего дня (в пятницу), претендент должен явиться в городскую магистратуру к восьми часам вечера и вручить запечатанный конверт с теми самыми словами его преподобию мистеру Берджесу (если он соизволит принять участие в этом деле). Пусть мистер Берджес тут же сломает печать на мешке, вскрыет его и проверит правильность сообщенных слов. Если слова совпадут, передайте деньги вместе с моей искренней благодарностью опознающему таким образом человеку, который облагодетельствовал меня».

Миссис Ричардс опустилась на стул, пре-

пеца от волнения, и погрузилась в глубокие думы: «Как это все необычайно! И какое счастье привалило этому доброму человеку, который отпустил деньги свои по водам и через много, много дней опять нашел их! Если б это был мой муж... Ведь мы такие бедняки, такие бедняки, и оба старые!.. (Тяжкий вздох.) Нет, это не мой Эдвард, он не мог дать незнакомцу двадцать долларов. Ну что ж, приходится только пожалеть об этом! — И вздрогнув: — Но ведь это деньги игрока! Греховная мада... мы не смогли бы принять их, не смогли бы прикоснуться к ним. Мне даже неприятно сидеть возле них, они оскверняют меня».

Миссис Ричардс пересела подальше от мешка. «Скорей бы Эдвард приехал и отнес их в банк! Того и гляди вломятся грабители. Мне страшно! Такие деньги, а я сижу здесь одна-одинешенька!»

Мистер Ричардс вернулся в одиннадцать часов и, не слушая возгласов жены, обрадовавшейся его приезду, сразу же заговорил:

— Я так устал, просто сил нет! Какое это несчастье — бедность! В мои годы так мыкаться! Гни спину, зарабатывая себе на хлеб, трудись на благо человеку, у которого денег куры не клюют. А он посиживает себе дома в мягких туфлях!

— Мне за тебя так больно, Эдвард. Но успокойся — с голоду мы не умираем, наше честное имя при нас...

— Да, Мэри, это самое главное. Не обращай внимания на мои слова. Минутная вспышка, и больше ничего. Поцелуй меня... Ну вот, все прошло, и я ни на что не жалуюсь. Что это у тебя? Какой-то мешок?

И тут жена поведала ему великую тайну. На минуту ее слова ошеломили его; потом он сказал:

— Мешок весит сто шестьдесят фунтов? Мэри! Значит, в нем со-рок ты-сяч долларов! Подумай только! Ведь это целое состояние. Да у нас в городе не наберется и десяти человек с такими деньгами! Дай мне письмо.

Он быстро пробежал его.

— Вот так история! О таких небыллицах читаешь только в романах, в жизни они никогда не случаются. — Ричардс приободрился, даже повеселел. Он потренировал свою старшую жену по щеке и шутливо сказал: — Да мы с тобой богачи, Мэри, настоящие богачи! Что нам стоит припрятать эти деньги, а письмо сжег? Если этот игрок вдруг явится с распросами, мы смерим его ледяным взглядом и скажем: «Не понимаем, о чем вы говорите!» Мы видим вас впервые и ни о каком мешке с золотом понятия не имеем». Представляешь себе, какой у него будет глупый вид, и...

— Ты все шутишь, а деньги лежат здесь. Скоро ночь — для грабителей самое раздолье.

— Ты права. Но как же нам быть? Наводить справки негласно? Нет, это убьет всякую романтику. Лучше через газету. Подумай только, какой поднимется шум! Наши соседи будут вне себя от зависти. Ведь им хорошо

известно, что ни один иностранец не доверил бы таких денег никакому другому городу, кроме Гедлиберга. Как нам повезло! Побегу скорей в редакцию, а то будет поздно.

— Подожди... подожди, Эдвард! Не оставляй меня одну с этим мешком!

Но его и след простыл. Впрочем, ненадолго. Чуть не у самого дома он встретил издателя газеты, сунул ему в руки письмо незнакомца и сказал:

— Интересный материал, Кокс. Дайте в очередной номер.

— Поздновато, мистер Ричардс; впрочем, попробую.

Очутившись дома, Ричардс снова принялась обсуждать с женой эту увлекательную тайну. О том, чтобы лечь спать, не приходилось и думать. Прежде всего их интересовало следующее: кто же дал незнакомцу двадцать долларов? Ответить на этот вопрос оказалось нетрудно, и оба в один голос проговорили:

— Баркли Гудсон.

— Да, — сказал Ричардс, — он мог так поступить, это на него похоже. Другого такого человека в городе теперь не найдется.

— Это все признают, Эдвард, все... хотя бы в глубине души. Вот уж полгода как наш город снова стал самим собой — честным, ограниченным, фарисейски самодовольным и скaredным.

— Гудсон так и говорил о нем до самой своей смерти, и говорил во всеуслышание.

— Да, и его ненавидели за это.

— Ну еще бы! Но ведь он ни с кем не считался. Кого еще так ненавидели, как Гудсона? Разве только его преподобие мистера Берджеса!

— Берджес ничего другого не заслужил. Кто теперь пойдет к нему в церковь? Хоть и плох наш город, а Берджеса он раскусил, Эдвард! А правда, странно, что этот чужестранец доверяет свои деньги Берджесу?

— Да, странно... Впрочем... впрочем...

— Ну вот, заладил — «впрочем, впрочем»! Ты сам доверился бы ему?

— Как сказать, Мэри! Может быть, чужестранец знаком с ним ближе, чем мы?

— От этого Берджес не станет лучше.

Ричардс растерянно молчал. Жена смотрела на него в упор и ждала ответа. Наконец он заговорил, но так робко, как будто знал заранее, что ему не поверят:

— Мэри, Берджес — неплохой человек.

Миссис Ричардс явно не ожидала такого заявления.

— Вздор! — воскликнула она.

— Он неплохой человек. Я это знаю. Его невзлюбили за ту историю, которая получила такую огласку.

— За ту историю! Как будто подобной истории недостаточно!

— Достаточно. Вполне достаточно. Только он тут ни при чем.

— Что ты говоришь, Эдвард? Как это ни при чем, когда все знают, что Берджес виноват!

— Мэри, даю тебе честное слово, он ни в чем не виноват.

— Не верю и никогда не поверю. Откуда ты это взял?

— Тогда выслушай мое покаяние. Мне стыдно, но ничего не поделяешь. О том, что Берджес не виновен, никто, кроме меня, не знает. Я мог бы спасти его, но... но... ты согласишься, какое возмущение царило тогда в городе... и я... я не посмел этого сделать. Ведь на меня все ополчились бы. Я чувствовал себя подлецом, самым низким подлецом... и все-таки молчал. У меня просто не хватало мужества на такой поступок.

Мэри нахмурилась и долго молчала. Потом заговорила, запинаясь на каждом слове:

— Да, пожалуй, этого не следовало делать... Как-никак общественное мнение... приходится считаться... — Она ступила на опасный путь и вскоре окончательно увязла, но мало-помалу справилась и зашагала дальше. — Конечно, жалко, но... Нет, Эдвард, это нам не по силам... просто не по силам! Я бы не благословила тебя на такое безрассудство!

— Сколько людей отвернулось бы от нас, Мэри! А кроме того... кроме того...

— Меня сейчас тревожит только одно, Эдвард: что он о нас думает?

— Берджес? Он даже не подозревает, что я мог спасти его.

— Ох, — облегченно вздохнула жена. — Как я рада! Если Берджес ничего не подозревает, значит... Ну, слава богу! Теперь понятно, почему он так предупредителен с нами, хотя мы его вовсе не поощряем. Меня уж сколько раз этим попрекали. Те же Уилсоны, Уилкоксы и Гаркиессы. Для них нет большего удовольствия, как сказать: «Ваш друг Берджес», а ведь они прекрасно знают, как мне это неприятно. И что он в нас нашел такого хорошего? Просто не понимаю.

— Сейчас я тебе объясню. Выслушай еще одно покаяние. Когда все обнаружилось и Берджес решил протоптаться через весь город на жерди, совесть меня так мучила, что я не выдержал, пошел к нему тайком и предупредил его. Он уехал из Гедлиберга и вернулся, когда страсти утихли.

— Эдвард! Если б в городе узнали...

— Молчи! Мне и сейчас страшно. Я пожалел об этом немедленно и даже тебе ничего не сказал — из страха, что ты невольно выдашь меня. В ту ночь я не сомкнул глаз. Но прошло несколько дней, никто меня ни в чем не заподозрил, и я перестал раскаиваться в своем поступке. И до сих пор не раскаиваюсь, Мэри, ни капельки не раскаиваюсь.

— Тогда и я тоже рада: ведь над ним хотели учинить такую жестокую расправу! Да, раскаиваться не в чем. Как-никак, а ты был обязан сделать это. Но, Эдвард, а вдруг когда-нибудь узнают?

— Не узнают!

— Почему?

— Все думают, что это сделал Гудсон.

— Да, верно!

— Ведь он действительно ни с кем не считался. Старика Солсбери уговорили сходить к Гудсону и бросить ему в лицо это обвинение. Тот расхрабрился и пошел. Гудсон огля-

дел его с головы до пят, точно отыскивая на нем местечко погаже, и сказал: «Так вы, значит, от комиссии по расследованию?» Солсбери отвечает, что примерно так оно и есть. «Гм! А что им нужно — подробности или достаточно общего ответа?» — «Если подробности понадобятся, мистер Гудсон, я приду еще раз, а пока дайте общий ответ». — «Хорошо, тогда скажите им, пусть убираются к черту. Полагаю, что этот общий ответ их удовлетворит. А вам, Солсбери, советую: когда пойдете за подробностями, захватите с собой корзинку, а то в чем вы потащите домой свои останки?»

— Как это похоже на Гудсона! Узнаю его в каждом слове. У этого человека была только одна слабость: он думал, что лучшего советчика, чем он, во всем мире не найти.

— Но такой ответ решил все и спас меня, Мэри. Расследование прекратили.

— Господи! Я в этом не сомневалась.

И они снова с увлечением заговорили о таинственном золотом мешке. Но вскоре в их беседу стали вкрадываться паузы — глупое раздумье мешало словам. Паузы учащались. И вот Ричардс окончательно замолчал. Он сидел, рассеянно глядя себе под ноги, потом мало-помалу начал нервно шевелить пальцами в такт своим беспокойным мыслям. Тем временем умолкла и его жена; все ее движения тоже свидетельствовали о сменявшей ее тревоге.

Наконец Ричардс встал и бесцельно зашагал по комнате, ероша обеими руками волосы, словно лунатик, которому приснился дурной сон. Но вот он, видимо, надумал что-то, — не говоря ни слова, надел шляпу и быстро вышел из дому.

Его жена сидела нахмурившись, погруженная в глубокую задумчивость, и не замечала, что осталась одна. Время от времени она начинала бормотать:

— Не введи нас во ис... но мы такие бедняки, такие бедняки! Не введи нас во... Ах! Кому это повредит? Ведь никто никогда не узнает... Не введи нас во...

Голос ее затих. Потом она подняла глаза и проговорила не то испуганно, не то радостно:

— Ушел! Но, может быть, уже поздно? Или время еще есть? — И старушка поднялась со стула, взволнованно сжимая и разжимая руки. Легкая дрожь пробежала по ее телу, в горле пересохло, и она с трудом выговорила: — Да простит меня господь! Об этом и подумать страшно... Но, боже мой, как странно создан человек... как странно!

Миссис Ричардс убавила огонь в лампе, крадучись подошла к мешку, опустила рядом с ним на колени и ощупала его ребристые бока, любовно проводя по ним ладонями. Алчный огонек загорелся в старческих глазах несчастной женщины. Временами она совсем забывалась, а приходя в себя, бормотала:

— Что же он не подождет... хоть несколько минут! И зачем было так торопиться!

Тем временем Кокс вернулся из редакции

домой и рассказал жене об этой странной истории. Оба принялись с жаром обсуждать ее и решили, что во всем городе только покойный Гудсон был способен подать страждущему незнакомцу такую щедрую милостыню, как двадцать долларов. Наступила пауза, муж и жена задумались и погрузились в молчание. А потом обоих охватило беспокойство. Наконец жена заговорила, словно сама с собой:

— Никто не знает об этой тайне, кроме Ричардсов и нас... Никто.

Муж вздрогнул, очнулся от своего раздумья и грустно посмотрел на жену. Она побледнела. Он нерешительно поднялся с места, бросил украдкой взгляд на свою шляпу, потом посмотрел на жену, словно безмолвно спрашивая ее о чем-то. Миссис Кокс судорожно глотнула, поднесла руку к горлу и вместо ответа только кивнула мужу. Секунда — и она осталась одна и снова начала что-то тихо бормотать.

А Ричардс и Кокс с разных концов города бежали по опустевшим улицам навстречу друг другу. Еле переводя дух, они столкнулись у лестницы, которая вела в редакцию, и, несмотря на темноту, прочли то, что было написано на лице у каждого из них. Кокс прошептал:

— Кроме нас, никто об этом не знает?

И в ответ тоже послышался шепот:

— Никто. Даю вам слово, ни одна душа!

— Если еще не поздно, то...

Они бросились вверх по лестнице, но в эту минуту появился мальчик-рассыльный, и Кокс окликнул его:

— Это ты, Джонни?

— Да, сэр.

— Не отправляй утренней почты... и дневной тоже. Подожди, пока я не скажу.

— Все уже отправлено, сэр.

— Отправлено?

Какое разочарование прозвучало в этом слове!

— Да, сэр. С сегодняшнего числа поезда на Брикстон и дальше ходят по новому расписанию, сэр. Пришлось отправить газеты на двадцать минут раньше. Я еле успел, еще две минуты — и...

Не дослушав его, Ричардс и Кокс повернулись и медленно зашагали прочь. Минут десять они шли молча; потом Кокс раздраженно заговорил:

— Понять не могу, чего вы так поторопились?

Ричардс ответил смиренным тоном:

— Действительно зря, но знаете, мне как-то не пришло в голову... Зато в следующий раз...

— Да ну вас! Такого «следующего раза» тысячу лет не дожидаться!

Друзья расстались, даже не попрощавшись, и с убитым видом побрели домой. Женщины кинулись им навстречу с нетерпеливым: «Ну что?» — прочли ответ у них в глазах и горестно опустили голову, не дожидаясь объяснений.

В обоих домах загорелся спор, и довольно горячий, а это было нечто новое: и той и

другой супружеской чете спорить приходилось и раньше, но не так горячо, не так ожесточенно. Сегодня доводы спорящих сторон словно в слово повторялись в обоих домах. Миссис Ричардс говорила:

— Если бы ты подождал хоть минутку, Эдвард! Подумал бы, что делаешь! Нет, надо было бежать в редакцию и звонить об этом на весь мир!

— В письме было сказано: «Разыскать через газету».

— Ну и что же? А разве там не было сказано: «Если хотите, проделайте все это негласно». Вот тебе! Правда я или нет?

— Да... да, верно. Но когда я подумал, какой поднимется шум и какая это честь для Гедлнберга, что иностранец так ему доверился...

— Ну конечно, конечно. А все-таки стоило бы тебе поразмыслить немножко, и ты бы сообразил, что того человека не найти: он лежит в могиле и никого после себя не оставил, ни родственников, ни свойственников. А если деньги достанутся тем, кто в них нуждается, и если другие при этом не страдают...

Она не выдержала и залилась слезами. Ричардс ломал себе голову, придумывая, как бы ее утешить, и наконец нашелся:

— Подожди, Мэри! Может быть, все это к лучшему. Конечно, к лучшему! Не забывай, что так было predeterminedо свыше...

— «Предeterminedо свыше!» Когда человеку надо оправдать собственную глупость, он всегда ссылается на «предeterminedо». Но даже если так — ведь деньги попали к нам в дом, значит, это было тоже «предeterminedо», а ты пошел наперекор провидению! По какому праву? Это грех, Эдвард, большой грех! Такая самонадеянность не к лицу скромному, богобоязненному...

— Да ты вспомни, Мэри, чему нас всех, уроженцев Гедлнберга, наставляли с детства! Если можешь совершить честный поступок, не раздумывая ни минуты. Ведь это стало нашей второй натурой!

— Ах, знаю, знаю! Наставления, нескончаемые наставления в честности! Как охраняли от всяких соблазнов еще с колыбели. Но такая честность *искусственна*, она неверна, как вода, и не устоит перед соблазнами, в чем мы с тобой убедились сегодня ночью. Видит бог, до сих пор у меня не было ни тени сомнения в своей остоеневшей и нерушимой честности. А сейчас... сейчас... сейчас, Эдвард, когда перед нами встало первое настоящее искушение, я... я убедилась, что честности нашего города — грош цена, так же как и моей честности... и твоей, Эдвард. Гедлнберг — мерзкий, черствый, скаредный город. Единственная его добродетель — это честность, которой он так прославился и которой так кичится. Да прости меня бог за такие слова, но наступит день, когда честность нашего города не устоит перед каким-нибудь великим соблазном, и тогда слава его рассыплется, как картонный домик. Ну вот, я во всем призналась, и на сердце сразу стало легче. Я притворщица и всю жизнь была притворщицей,

сама того не подозревая. И пусть меня не называют больше честной, — я этого не вынесу!

— Да, Мэри, я... я тоже так считаю. Странно это... очень странно! Кто бы мог предположить...

Наступило долгое молчание, оба глубоко задумались. Наконец жена подняла голову и сказала:

— Я знаю, о чем ты думаешь, Эдвард.

Застигнутый врасплох, Ричардс смутился.

— Мне стыдно признаться, Мэри, но...

— Не беда, Эдвард, я сама думаю о том же.

— Надеюсь... Ну, говори.

— Ты думал: как бы догадаться, что Гудсон сказал незнакомцу?

— Совершенно верно. Мне стыдно, Мэри, я чувствую себя преступником! А ты?

— Нет, мне уж не до этого. Давай ляжем в гостиной. Надо караулить мешок. Утром, когда откроется банк, отнесем его и сдадим в кладовую... Боже мой, боже мой! Какую мы сделали ошибку!

Когда постель в гостиной была постлана, Мэри снова заговорила:

— «Сезам, откройся!..» Что же он мог сказать? Как бы угадать эти слова? Ну хорошо, надо ложиться.

— И спать?

— Нет, думать.

— Хорошо, будем думать.

К этому времени чета Коксов тоже успела и поссориться и помириться, и теперь они тоже ложились спать, — вернее, не спать, а думать, думать, думать, ворочаться с боку на бок и ломать себе голову, какие же слова сказал Гудсон тому бродяге — золотые слова, слова, оцененные теперь в сорок тысяч долларов чистоганом!

Городская телеграфная контора работала в эту ночь позднее, чем обычно, и вот по какой причине: выпускающий газеты Кокса был одновременно и местным представителем Ассоциации Пресс. Правильнее сказать, почетным представителем, ибо его корреспонденции, по тридцать слов каждая, печатались дай бог каких-нибудь четыре раза в год. Но теперь дело обстояло по-иному. На его телеграмму, в которой сообщалось о том, что ему удалось узнать, последовал немедленный ответ:

«Давайте полностью всеми подробностями тысяча двести слов».

Грандиозно! Выпускающий сделал, как ему было приказано, и стал самым известным человеком в своем штате.

На следующее утро, к завтраку, имя неподкупного Гедлиберга было на устах у всей Америки, от Монреаля до Мексиканского залива, от ледников Аляски до апельсиновых рощ Флориды. Миллионы и миллионы людей судили и рядили о незнакомце и о его золотом мешке: волновались, найдется ли тот человек; им уже не терпелось как можно скорее — немедленно! — узнать о дальнейших событиях.

На следующее утро Гедлиберг проснулся всемирно знаменитым, изумленным, счастливым... зазнавшимся. Зазнавшимся сверх всякой меры. Деятнадцать его именитых граждан вкупе со своими супругами пожинали друг другу руки, сияли, улыбались, обменивались поздравлениями и говорили, что после такого события в языке появится новое слово: «Гедлиберг» — как синоним слова «неподкупный», и оно пребудет в словарях навеки. Граждане рангом ниже вкупе со своими супругами вели себя почти так же. Все кинулись в банк полюбоваться на мешок с золотом, а к полудню из Бринкстона и других соседних городов толпами повалили раздосадованные завистники. К вечеру же и на следующий день со всех концов страны стали прибывать репортеры, желавшие убедиться собственными глазами в существовании мешка, выведать его историю, описать все заново и сделать беглые зарисовки от руки: самого мешка, дома Ричардсов, здания банка, пресвитерианской церкви, баптистской церкви, городской площади и зала магистратуры, где должны были состояться испытания и передача денег законному владельцу. Репортеры не поленились набросать и шаржированные портреты четырех Ричардсов, банкира Пинкертонна, Кокса, выпускающего, его преподобия мистера Берджеса, почтмейстера и даже Джека Хэлидея — добродушного бездельника и шалопая, промышлявшего рыбной ловлей и охотой, друга всех мальчишек и бездомных собак в городе. Противный маленький Пинкертон с елейной улыбкой показывал мешок всем желающим и, радостно потирая свои пухлые ручки, разглагольствовал о добром, честном имени Гедлиберга и о том, как оправдалась его честность, и о том, что этот пример будет, несомненно, подхвачен всей Америкой и послужит новой вехой в деле нравственного возрождения страны... и так далее и тому подобное.

К концу недели ликование несколько поулеглось. На смену бурному опьянению гордостью и восторгом пришла трезвая, тихая, не требующая словозаливаний радость, вернее чувство глубокого удовлетворения. Лица всех граждан Гедлиберга сияли мирным, безмятежным счастьем.

А потом наступила перемена — не сразу, а постепенно, настолько постепенно, что на первых порах ее почти никто не заметил, может быть даже совсем никто не заметил, если не считать Джека Хэлидея, который всегда все замечал и всегда над всем посмеивался, даже над самыми почетными вещами.

Он начал отпускать шуточные замечания насчет того, что у некоторых людей вид стал далеко не такой счастливый, как день-два назад; потом заявил, что лица у них явно грустнее; потом — что вид у них становится попросту кислый. Наконец он заявил, что всеобщая задумчивость, рассеянность и дурное расположение духа достигли таких размеров, что ему теперь ничего не стоит выудить цент со дна кармана у самого жадного человека в

городе, не нарушив этим его глубокого раздумья.

Примерно в то же время глава каждого из девятнадцати именитейших семейств, ложась спать, ронял — обычно со вздохом — следующие слова:

— Что же все-таки Гудсон сказал?

А его супруга, вздрогнув, немедленно отвечала:

— Перестань! Что за ужасные мысли лезут тебе в голову! Гоин их прочь, радн создателя!

Однако на следующую ночь мужья опять задавали тот же вопрос — и опять получали ответ. Но уже не столь суровую.

На третью ночь они в тоске, совершенно машинально, повторили то же самое. На сей раз — и следующей ночью — их супруги поехали, хотели что-то сказать... но так ничего и не сказали.

А на пятую ночь они обрели дар слова и ответили с мук в голосе:

— О, если бы угадать!

Шуточки Хэлидея с каждым днем становились все злее и обиднее. Он сновал повсюду, высмеивая Гедлиберга, — всех его гражданскою и каждого в отдельности. Но, кроме Хэлидея, в городе никто не смеялся; его смех звучал среди унылого безмолвия — в пустоте. Хотя бы тень улыбки мелькнула на чьем-нибудь лице! Хэлидей не расставался с сигарным ящичком на треноге и, разыгрывая из себя фотографа, останавливал всех проходящих, наводил на них свой аппарат и командовал: «Спокойно! Сделайте приятное лицо!» Но даже такая остроумнейшая шутка не могла zastавить эти мрачные физиономии смягчиться хотя бы в иезвольной улыбке.

Третья неделя близилась к концу, до срока оставалась только одна неделя. Был субботний вечер; все отужинали. Вместо обычного для предпраздничных вечеров оживления, веселья, толкотни, хождения по лавкам на улицах царил безлюдье и тишина. Ричардс сидел со своей женой в крохотной гостиной, оба унылые, задумчивые. Так проходили теперь все их вечера. Прежнее времяпрепровождение — чтение вслух, вязанье, мирная беседа, прием гостей, визиты к соседям — кануло в вечность давным-давно... две-три недели назад. Никто больше не разговаривал в семейном кругу, никто не читал вслух, никто не ходил в гости — все в городе сидело по домам, вздыхало, мучительно думало и хранило молчанье. Все старались отгадать, что сказал Гудсон.

Почтальон принес письмо. Ричардс без всякого интереса взглянул на почерк на конверте и почтовый штемпель — и то и другое незнакомое, — бросил письмо на стол и снова вернулся к своим мучительным и бесплодным домysłам: «А может быть, так, а может быть, эдак?», продолжая их с того места, на котором остановился. Часа три спустя его жена устало поднялась с места и направилась в спальню, не пожелав мужу спокойной ночи, — теперь это тоже было в порядке вещей. Бросив рассеянный взгляд на письмо, она распечатала его и пробежала мельком

первые строки. Ричардс сидел в кресле, уткнув подбородок в колени. Вдруг сзади послышался глухой стук. Это упала его жена. Он кинулся к ней, но она крикнула:

— Оставь меня! Читай письмо! Боже, какое счастье!

Ричардс так и сделал. Он пожирает глазами страницы письма, в голове у него мутнелось. Письмо пришло из отдаленного штата, и в нем было сказано следующее:

«Вы меня не знаете, но это не важно, мне иужно кое-что сообщить вам. Я только что вернулся домой из Мексики и услышал о событии, случившемся в вашем городе. Вы, разумеется, не знаете, кто сказал те слова, а я знаю, и кроме меня, не знает никто. Сказал их Гудсон. Мы с ним познакомились много лет назад. В ту ночь я был проездом в вашем городе и остановился у него, дожидаясь ночного поезда. Мне пришлось услышать слова, с которыми он обратился к незнакомцу, остановившему нас на темной улице, — это было в Гейл-Эллен. По дороге домой и сядя у него в кабинете за сигарой, мы долго обсуждали эту встречу. В разговоре Гудсон упоминал о многих из ваших сограждан — большей частью в весьма неслестных выражениях. Но о двоих-трех он отзывался более или менее благоприятно, между прочим — и о вас. Подчеркиваю: «более или менее благоприятно», не больше. Помню, как он сказал, что никто из граждан Гедлиберга не пользуется его расположением, решительно никто; но будто бы вы — мне кажется, речь шла именно о вас, я почти уверен в этом, — вы оказали ему однажды очень большую услугу, возможно даже не сознавая всей ее цены. Гудсон добавил, что, будь у него большое состояние, он оставил бы вам наследство после своей смерти, а прочим гражданам — проклятие, всем вместе и каждому в отдельности. Итак, если эта услуга исходила действительно от вас, значит вы являетесь его законным наследником и имеете все основания претендовать на мешок с золотом. Полагаясь на вашу честь и совесть — добродетель, издавна присущие всем гражданам города Гедлиберга, — я хочу сообщить вам эти слова в полной уверенности, что если Гудсон имел в виду не вас, то вы разыщите того человека и приложите все старания, чтобы вышеупомянутая услуга была оплачена покойным Гудсоном сполна. Вот эти слова: «Вы не такой плохой человек. Ступайте и попытайтесь исправиться».

Гюард Л. Стивенсон.

— Деньги наши! Какая радость, какое счастье! Эдвард! Поцелуй меня, милый... мы давно забыли, что такое поцелуй, а как они нам необходимы... я про деньги, конечно... Теперь ты развещаешься с Пинкертонем и с его банком. Довольно! Кончилось твое рабство! Господи, у меня будто крылья выросли от радости!

Какие счастливые минуты провел Ричардс, сидя на диванчике и осыпая друг друга ласками! Слово вернулись прежние дни —

те дни, которые начались для них, когда они были женихом и невестой, и тянулось без перерыва до тех пор, пока незнакомец не пришел к ним в дом эти страшные деньги. Прошло полчаса, и жена сказала:

— Ах, Эдвард! Какое счастье, что ты со- служил такую службу этому бедному Гудсо- ну. Он мне никогда не нравился, а теперь я его просто полюбила. И как это хорошо и благородно с твоей стороны, что ты никому ничего не сказал, ни перед кем не хвастал- ся. — Потом, с оттенком упрека в голосе: — Но мне-то, жене, можно было рассказать?

— Да знаешь, Мэри... я... э-э.

— Довольно тебе мекать и занкаться, Эд- вард! Рассказывай, как это было? Я всегда любила своего муженька, а сейчас горжусь им. Все думают, что у нас в городе была только одна добрая и благородная душа, а теперь оказывается, что... Эдвард, почему ты молчишь?

— Я... э-э... я... Нет, Мэри, не могу!

— *Не можешь? Почему не можешь?*

— Видишь ли... он... он... взял с меня сло- во, что я буду молчать.

Жена смерила его взглядом с головы до пят и, отчеканивая каждый слог, медленно проговорила:

— Взял с те-бя сло-во? Эдвард, зачем ты мне это говоришь?

— Мэри! Неужели ты думаешь, что я ста- ну лгать!

Минуто миссис Ричардс молчала, нахму- рив брови, потом взяла его под руку и ска- зала:

— Нет... нет. Мы и так зашли слишком далеко... храни нас бог от этого. Ты за всю свою жизнь не вымолвил ни одного лживого слова. Но теперь... теперь, когда основы всех основ рушатся перед нами, мы... мы... — Она запнулась, но через минуту овладела собой и продолжала прерывающимся голосом: — Не введи нас во искушение!.. Ты дал слово, Эд- вард. Хорошо! Не будем больше касаться этого. Ну вот, все прошло. Развеселись, сей- час не время хмуриться!

Эдвард было не так-то легко выполнить это приказание, ибо мысли его блуждали да- леко: он старался припомнить, о какой же услуге говорил Гудсон.

Супружеская чета лежала без сна почти всю ночь: Мэри — счастливая, озабоченная, Эдвард — тоже озабоченный, но далеко не такой счастливый. Мэри мечтала, что сдела- ет на эти деньги. Эдвард старался вспомнить услугу, оказанную Гудсону. Сначала его му- чила совесть — ведь он солгал Мэри... если только это была ложь. После долгих размыш- лений он решил: ну, допустим, что ложь. Что тогда? Разве это так уж важно? Разве мы не лжем в *поступках*? А если так, зачем остере- гаться лживых слов? Взять хотя бы Мэри! Чем она была занята, пока он, как честный человек, бегал выполнять порученное ему де- ло? Горевала, что они не уничтожили письма и не завладели деньгами! Спрашивается, не- ужели воровство лучше сна?

Вопрос о лжи отступил в тень. На душе

стало спокойнее. На передний план выступи- ло другое: оказал ли он Гудсону на самом де- ле какую-то услугу? Но вот свидетельство са- мого Гудсона, сообщенное в письме Ствен- сона. Лучшего свидетельства и не требуется — факт можно считать установленным. Разуме- ется! Значит, с этим вопросом тоже покон- чено... Нет, не совсем. Он поморщился, вспо- мнив, что этот неведомый мистер Ственсон был не совсем уверен, оказал ли услугу чело- век по фамилии Ричардс или кто-то другой. Вдобавок — ах, господи! — он полагается на его порядочность! Ему, Ричардсу, предоста- влено решать самому, кто должен получить деньги. И мистер Ственсон не сомневается, что если Гудсон говорил о ком-то другом, то он, Ричардс, со свойственной ему честностью, займется поисками истинного благодетеля. Чудовищно ставить человека в такое положе- ние. Неужели Ственсон не мог написать наверняка? Зачем ему понадобилось припу- тывать к делу свои домыслы?

Последовали дальнейшие размышления. Почему Ственсону запала в память фамилия *Ричардс*, а не какая-нибудь другая? Это как будто убедительный довод. Ну конечно, убе- дительный! Чем дальше, тем довод становил- ся все убедительнее и убедительнее и в кон- це концов превратился в прямое *доказатель- ство*. И тогда чутье подсказало Ричардсу, что, поскольку факт доказан, на этом надо оста- новиться.

Теперь он более или менее успокоился, хотя одна маленькая подробность все же не выходила у него из головы. Он оказал Гуд- сону услугу, это факт, но *какую*? Надо вспо- минать — он не заснет, пока не вспомнит, а тогда можно будет окончательно успокоиться. И Ричардс продолжал ломать себе голову. Он придумал много всяких услуг той или иной степени вероятности. Но все они были ни то ни се — все казались слишком мелк- ми, ни одна не стоила тех денег, того богат- ства, которое Гудсон хотел завещать ему. Кроме того, он вообще не мог вспомнить, чтобы Гудсон пользовался когда-нибудь его услугами. Нет, в самом деле, чем можно ус- лужить человеку, чтобы он вдруг проник к тебе благодарностью? Спасти его душу? А ведь верно! Да, теперь ему вспомнилось, что однажды он решил обратиться Гудсона на путь истинный и трудился над этим... Ричардс хо- тел сказать — три месяца, но, по зрелом раз- мышлении, три месяца усохли сначала до ме- сяца, потом до недели, потом до одного дня, а под конец от них и вовсе ничего не оста- лось. Да, теперь он вспомнил с неприятной отчетливостью, как Гудсон послал его ко всем чертам и посоветовал не совать нос в чужие дела. Он, Гудсон, видите ли, не так уж стре- мился попасть в царствие небесное в компа- нии со всеми прочими гражданами. города Гедлинберга!

Итак, это предположение не подтверди- лось — Ричардсу не удалось спасти душу Гудсона. Он приуныл. Но через несколько ми- нут его осенила еще одна мысль. Может быть, он спас состояние Гудсона? Нет, вздор! У

Гудсона и не было никакого состояния. Спас ему жизнь? Вот оно! Ну разумеется! Как это ему раньше не пришло в голову! Уж теперь-то он на правильном пути. И воображение Ричардса заработало полным ходом.

В течение двух мучительных часов он был занят тем, что спасал Гудсону жизнь. Он вырвал его из трудных и порой даже опасных положений. И каждый раз все сходило гладко... до известного предела. Стоило ему окончательно убедить себя, что это было на самом деле, как вдруг откуда ни возьмись выскакивала какая-нибудь досадная мелочь, которая рушила все. Скажем, спасение утопающего. Он бросился в воду и на глазах рукопашавшей ему огромной толпы вытащил бесчувственного Гудсона на берег. Все шло прекрасно, но вот Ричардс стал припоминать это происшествие во всех подробностях, и на него хлынул целый рой совершенно убийственных противоречий: в городе знали бы о таком событии, и Мэри знала бы, да и в его собственной памяти оно бы сыяло, как маяк, а не таялось где-то на задворках смутных намеков на какую-то незначительную услугу, которую он оказал, может быть, «даже не сознавая всей ее цены». И тут Ричардс вспомнил кстати, что он не умеет плавать.

Ага! Вот что упущено из виду с самого начала: это должна быть такая услуга, которую он оказал, «возможно, не сознавая всей ее цены». Ну что ж, это значительно облегчает дело — теперь будет не так трудно копаться в памяти. И действительно, через несколько минут он докопался. Много-много лет назад Гудсон хотел жениться на очень славной и хорошенькой девушке по имени Џэнс Хьюнт, но в последнюю минуту брак почему-то расстроился; девушка умерла, а Гудсон так и остался холостяком и с годами превратился в старого брюзгу и ненавистника всего рода человеческого. Вскоре после смерти девушки в городе установили совершенно точно — во всяком случае, так казалось горожанам, — что в жилах ее была примесь негритянской крови. Ричардс долго раздумывал над этим и наконец припомнил все обстоятельства дела, очевидно, ускользнувшие из его памяти за давностью лет. Ему стало казаться, что негритянскую примесь обнаружил именно он; что не кто другой, как он, и оповестил город о своем открытии и что Гудсону так и было сказано. Следовательно, он спас Гудсона от женитьбы на девушке с негритской кровью, и это и есть та самая услуга, «цены которой он не сознавал», — вернее, не сознавал, что это можно назвать услугой. Но Гудсон знал ей цену, знал, какая ему грозила опасность, и сошел в могилу, испытывая чувство признательности к своему спасителю и сожалея, что не может оставить ему наследство. Теперь все стало на свое место, и чем больше размышлял Ричардс, тем отчетливее и определеннее вырисовывалась перед ним эта давняя история. И наконец, когда он, успокоенный и счастливый, свернулся калачиком, собираясь уснуть, неудачное сватовство Гудсона предстало перед ним с такой яс-

ностью, будто все это случилось только накануне. Ему даже припомнилось, что Гудсон когда-то *благодарил* его за эту службу.

Тем временем Мэри успела потратить шесть тысяч долларов на постройку дома для себя и мужа и покупку новых домашних вещей в подарок пастору и мирно уснула.

В тот же самый субботний вечер почтальон вручил по письму и другим именитым гражданам города Гедлнберга — всего таких писем было двенадцать. Среди них не оказалось и двух схожих конвертов. Адреса тоже были написаны разными почерками. Что же касается содержания, то оно совпадало слово в слово, за исключением следующей детали: они были точной копией письма, полученного Ричардсом, вплоть до почерка и подписи «Стивенсон», во место фамилии Ричардс в каждом из них стояла фамилия одного из восемнадцати других адресатов.

Всю ночь восемнадцать именитейших граждан города Гедлнберга делали то же, что делал их собрат Ричардс: напрягали все свои умственные способности, чтобы вспомнить, какую примечательную услугу оказали они, сами того не подозревая, Баркли Гудсону. Работа эта была, признаться, не из легких, но тем не менее она принесла свои плоды.

И пока они отгадывали эту загадку, что было весьма трудно, их жены растратывали деньги, что было совсем нетрудно. Из сорока тысяч, которые лежали в мешке, двенадцать жен потратили за одну ночь в среднем по семи тысяч каждая, что составляло в целом сто тридцать три тысячи долларов.

Следующий день принес Джеку Хэлидену большую неожиданность. Он заметил, что на физиономиях двенадцати первейших граждан Гедлнберга и их жен снова появилось выражение мирного, безмятежного счастья. Хэлидей терялся в догадках и не мог изобрести ничего такого, что бы испортило или хотя сколько-нибудь нарушило это всеобщее блаженное состояние духа. Настал и его черед испытать немилость судьбы. Все его догадки оказывались при проверке несостоятельными. Повстречав миссис Уилкокс и увидев ее сияющую тихим восторгом физиономию, Хэлидей сказал сам себе: «Не иначе как у них кошка окотилась», — и пошел справиться у кухарки, так ли это... Нет, ничего подобного. Кухарка тоже замечала, что хозяйка чему-то радуется, но причины этой радости не знала. Когда Хэлидей прочел подобный же восторг на физиономии «квакера» Билсона (так его прозвали в городе), он решил, что кто-нибудь из соседей Билсона сломал себе ногу, но произведенное расследование опровергло эту догадку. Сдержанный восторг на физиономии Грегори Ейтса мог означать лишь одно — кончину его тещи. Опять ошибка! А Пинкертон... Пинкертон, должно быть, неожиданно для самого себя получил с кого-нибудь десять центов долгу... И так далее и тому подобное. В некоторых случаях догадки Хэлидея так и остались не более чем догадками, в других — ошибочность их была совершенно бесспорна. В конце концов Джек пришел к следующему

выводы: «Как ни вери, а злот так: девятнадцать гедлибергских семейств временно переселились на седьмое небо. Объяснить это я никак не могу, знаю только одно — господь бог сегодня явно допустил какой-то недосмотр в своем хозяйстве».

Никто архитектор и строитель из соседнего штата рискнул открыть небольшую контору в этом захолустном городишке. Его вывеска висела уже целую неделю — и хоть бы один клиент! Архитектор приуныл и уже начинал жалеть, что приехал сюда. И вдруг погода резко переменилась. Супруги двух именитых граждан Гедлиберга — сначала одна, потом другая — шепнули ему:

— Зайдите к нам в следующий понедельник, но пока пусть это остается в тайне. Мы хотим строиться.

Архитектор получил одиннадцать приглашений за день. В тот же вечер он написал дочери, чтобы она порвала с женом-студентом и присматривала себе более выгодную партию.

Банкир Пинкертон и двое-трое самых состоятельных граждан подумывали о загородных виллах, но пока не торопились. Люди такого сорта обычно считают хлопоты по осени.

Уилсоны замыслили нечто грандиозное — костюмированный бал. Не связывая себя обещаниями, они сообщали по секрету знакомым о своих планах и прибавляли: «Если бал состоится, вы, конечно, получите приглашение». Знакомые дивились и говорили между собой: «Эта голь перекатная, Уилсоны, сошли с ума! Разве им по средствам задавать балы?» Некоторые жены из числа Девятнадцати поделились с мужьями следующей мыслью: «Это даже к лучшему. Мы подождем, пока они провалятся со своим убогим балом, а потом такой закатым, что им тошно станет от зависти!»

Дни бежали, а безумные траты за счет будущих благ все росли и росли, становились час от часу нелепее и безудержнее. Было ясно, что каждое из девятнадцати семейств ухитрится не только растратить сорок тысяч долларов до того, как они будут получены, но и влезть в долги. Некоторые безумцы не ограничивались одними планами на будущее, но и сорили деньгами в кредит. Они покупали землю, закладные, фермы, акции, наряженные туалеты, лошадей и много чего другого. Вносили задаток, а на остальную сумму выдавали векселя — с учетом в десять дней. Но вскоре наступило отрезвление, и Хэлндей заметил, что на многих лицах появилось выражение лихорадочной тревоги. И он снова разводил руками и не знал, чем это объяснить. Котята у Уилкоков не могли сдохнуть по той простой причине, что они еще не родились; никто не сломал себе ногу; убыли в тещах не наблюдается, — одним словом, ничего не произошло, и тайна остается тайной.

Недоумевать приходилось не только Хэлндю, но и его преподобно Берджесу. Последние дни за ним неотступно следили и всюду его подкарауливали. Если он оставался один, к нему тут же подходил кто-нибудь из девятнадцати, тайком совал в руку конверт, шеп-

тал: «Вскройте в магистратуре в пятницу вечером», — и с виноватым видом исчезал. Берджес думал, что претендентов на мешок окажется не большого одного — и то вряд ли, поскольку Гудсон умер. Но о таком количестве он даже не помышлял. Когда долгожданная пятница наступила, на руках у него было девятнадцать конвертов.

III

Здание городской магистратуры никогда еще не блистало такой пышностью убранства. Эстрада в конце зала была красиво задрапирована флагами, флаги свисали с хоров, флагами были украшены стены, флаги увивали колонны. И все это для того, чтобы поразить воображение приезжих, а их ожидалось очень много, и среди них должно было быть немало представителей прессы. В зале не осталось ни одного свободного места. Постоянных кресел было четыреста двенадцать, к ним пришлось добавить еще шестьдесят восемь приставных. На ступенях эстрады тоже сидели люди. Наноблее почетным гостям отвели место на самой эстраде. А ниже, за составленными подковой столами, восседала целая армия специальных корреспондентов, прибывших со всех концов страны. Город никогда еще не видал на своих сборищах такой разнаряженной публики. Там и сям мелькали довольно дорогие туалеты, но на некоторых дамах они сидели как на корове седых. Во всяком случае, таково было мнение гедлибергцев, хотя оно, вероятно, и страдало некоторой предвзятостью, ибо город знал, что эти дамы впервые в жизни облачились в такие роскошные платья.

Золотой мешок был поставлен на маленький столик к краю эстрады — так, чтобы все могли его видеть. Большинство присутствующих разглядывало мешок, сгорая от зависти, пуская слюнки от зависти, расстраиваясь и тоскуя от зависти. Меньшинство, состоявшее из девятнадцати супружеских пар, взирало на него нежно, по-хозяйски, а мужская половина этого меньшинства повторяла про себя чувствительные благодарственные речи, которые им в самом непродолжительном времени предстояло произнести экспромтом в ответ на аплодисменты и поздравления всего зала. Они то и дело вынимали из жилетного кармана бумажку и заглядывали в нее украдкой, чтобы освежить свой экспромт в памяти.

Собравшиеся, как водится, переговаривались между собой — ведь без этого не обойдешься. Однако стоило только преподобному мистеру Берджесу подняться с места и положить руку на мешок, как в зале наступила полная тишина. Мистер Берджес ознакомил собрание с любопытной историей мешка, потом заговорил в весьма теплых тонах о той вполне заслуженной репутации, которую Гедлиберг давно снискал себе своей безукоризненной честностью и которой он вправе гордиться.

— Репутация эта, — продолжал мистер

Берджес, — истинное сокровище, волею providения неизмеримо возросшее в цене, ибо недавние события принесли широкую славу Гедлибергу, привлекли к нему взоры всей Америки и, будем надеяться, сделают имя его на вечные времена синонимом неподкупности. (*Аплодисменты.*) Кто же будет хранителем этого бесценного сокровища? Вся наша община? Нет! Ответственность должна быть личная, а не общая. Отныне каждый из вас будет оберегать наше сокровище и нести личную ответственность за его сохранность. Оправдате ли вы — пусть каждый говорит за себя — это высокое доверие? (Бурное: «*Оправдаем!*») Тогда все в порядке. Завещайте же этот долг вашим детям и детям детей ваших. Ныне чистота ваша безупречна, — позаботьтесь же, чтобы она осталась безупречной и впредь. Ныне нет среди вас человека, который, поддавшись злему наущению, протянул бы руку к чужому грошу, — не лишите же себя духовного благолепия. (*Нет! Нет!*) Здесь не место сравнивать наш город с другими городами, кои часто относятся к нам неприязненно. У них одни обычаи, у нас — другие. Так удовлетворяемся же своей долей. (*Аплодисменты.*) Я кончаю. Вот здесь, под моей рукой, вы видите красноречивое признание ваших заслуг. Оно исходит от чужестранца, и, благодаря ему, о наших заслугах услышит теперь весь мир. Мы не знаем, кто он, но от нашего имени, друзья мои, я выражаю ему благодарность и прошу вас поддержать меня.

Весь зал поднялся как один человек, и стены дрогнули от грома приветственных кликов. Потом все снова уселось по местам, а мистер Берджес извлек из кармана сюртука конверт. Публика, затаив дыхание, следила за тем, как он вскрыл его и вынул оттуда листок бумаги. Медленно, выразительно Берджес прочел то, что там было написано, а зал, словно зачарованный, вслушивался в этот волшебный документ, каждое слово которого стоило слитка золота:

— *«Я сказал несчастному чужестранцу следующее: «Вы не такой уж плохой человек. Ступайте и постарайтесь исправиться».* — И, прочитав это, Берджес продолжал: — Сейчас мы узнаем, совпадает ли содержание оглашенной мною записки с той, которая хранится в мешке. А если это так, — в чем я не сомневаюсь, — то мешок с золотом перейдет в собственность нашего согражданина, который отныне будет являть собой в глазах всей нации символ добродетели, доставившей городу Гедлибергу всенародную славу... Мистер Билсон!

Публика уже приготовилась разразиться громом рукоплесканий, но вместо этого оцепенела, словно в параличе. Секунды две в зале стояла глубокая тишина, потом по рядам пробежал шепот. Уловить из него можно было примерно следующее:

— *Билсон?* Ну нет, это уж слишком! Двадцать долларов чужестранцу или кому бы то ни было — Билсон? Расскажите это вашей бабушке!

Но тут у собрания вновь захватило дух от неожиданности, ибо обнаружилось, что одновременно с дьяконом Билсоном, который стоял, смиренно склонив голову, в одном конце зала, — в другом, в точно такой же позе, поднялся стряпчий Уилсон. Минуту в зале царил недоуменное молчание. Озадачены были все, а девятнадцать супружеских пар, кроме того, и негодовали.

Билсон и Уилсон повернулись и оглядели друг друга с головы до пят. Билсон спросил язвительным тоном:

— Почему, собственно, поднялись вы, мистер Уилсон?

— Потому что имею на это право. Может быть, вас не затруднит объяснить, почему поднялись *вы*?

— С величайшим удовольствием. Потому что это была моя записка.

— Наглая ложь! Ее написал я!

Тут уж оцепенел сам преподобный мистер Берджес. Он бессмысленно переводил взгляд с одного на другого и, видимо, не знал, как поступить. Присутствующие совсем растерялись. И вдруг стряпчий Уилсон сказал:

— Я прошу председателя огласить подпись, стоящую на этой записке.

Председатель пришел в себя и прочел:

— Джон Уортон Билсон.

— Ну что? — возопил Билсон. — Что вы теперь скажете? Как вы объясните мне и оскорбленному вами собранию это самозванство?

— Объяснений не дожидаетесь, сэр! Я публично обвиняю вас в том, что вы ухитрились выкрасть мою записку у мистера Берджеса, сняли с нее копию и скрепили своей подписью. Иначе вам не удалось бы узнать эти слова. Кроме меня, их никто не знает — ни один человек!

Положение становилось скандальным. Все замесили с прискорбием, что стенографы строчат как одержимые. Слышались голоса: «К порядку! К порядку!» Берджес застучал молоточком по столу и сказал:

— Не будем забывать о благопристойности! Произошло явное недоразумение, только и всего. Если мистер Уилсон давал мне письмо, — а теперь я вспоминаю, что это так и было, — значит, оно у меня.

Он вынул из кармана еще один конверт, распечатал его, пробежал записку и несколько минут молчал, не скрывая своего недоумения и беспокойства. Потом машинально развел руками, хотел что то сказать и запнулся на полуслове. Послышались крики:

— Прочтите вслух, вслух! Что там написано?

И тогда Берджес начал, еле ворочая языком, словно во сне:

— *«Я сказал несчастному чужестранцу следующее: «Вы не такой плохой человек. (Все с изумлением уставились на Берджеса.) Ступайте и постарайтесь исправиться».* (Шепот: «Поразительно! Что это значит?») Внизу подпись, — сказал председатель: — «Терлоу Дж. Уилсон».

— Вот видите! — крикнул Уилсон. — Те-

перье все ясно. Я так и знал, что моя записка была украдена.

— Украдена? — возопил Билсон. — Я вам покажу, как меня...

Председатель. Спокойствие, джентльмены, спокойствие! Сядьте оба, прошу вас!

Они повиновались, негодуя, тряс головой и ворча что-то себе под нос. Публика была ошарашена — вот странная история! Как же тут поступить?

И вдруг с места поднялся Томсон. Томсон был шапочником. Ему очень хотелось принадлежать к числу Деятельности, и такая честь была слишком велика для владельца маленькой мастерской. Томсон сказал:

— Господин председатель, разрешите мне обратиться к вам с вопросом: неужели оба джентльмена правы? Рассудите сами, сэр, могли ли они обратиться к чужестранцу с одними и теми же словами? На мой взгляд...

Но его перебил поднявшийся с места скорняк. Скорняк был из недовольных. Он считал, что ему сам бог велел занять место среди Деятельности, но те его никак не признавали. Поэтому он держался грубовато и в выражениях тоже не очень стеснялся.

— Не в этом дело. Такая вещь может случиться раза два за сто лет, но что касается прочего, то позвольте не поверить. Чтобы кто-нибудь из них подал нищему двадцать долларов! (*Живые аплодисменты.*)

Уилсон. Я подал!

Билсон. Я подал!

И оба стали уличать друг друга в краже записки.

Председатель. Тише. Садитесь, прошу вас. Обе записки все время находились при мне.

Чей-то голос. Отлично! Значит, больше и говорить не о чем!

Скорняк. Господин председатель, помоему, теперь все ясно: один из них забрался к другому под кровать, подслушал разговор между мужем и женой и выведал их тайну. Я бы не хотел быть слишком резким, но да будет мне позволено сказать, что они оба на это способны. (Председатель. Призываю вас к порядку!) беру свое замечание обратно, сэр, но тогда давайте повернем дело так: если один из них подслушал, как другой сообщил своей жене эти слова, то мы его тут же и уличим.

Голос. Каким образом?

Скорняк. Очень просто. Записки не совпадают слово в слово. Вы бы и сами это заметили, если б прочли их сразу, одну за другой, а не отвлеклись ссорой.

Голос. Укажите, в чем разница?

Скорняк. В записке Билсона есть слово «уж», а в другой — нет.

Голоса. А ведь правильно.

Скорняк. Следовательно, если председатель огласит записку, которая находится в мешке, мы узнаем, кто из этих двух мошенников... (Председатель. Призываю вас к порядку!)... кто из этих двух проходивших... (Председатель. Еще раз к порядку!)... кто из этих двух джентльменов... (*Смех, апло-*

дисменты)... заслужив звание первейшего бесчестного лжеца, возвращенного нашим городом, который он опозорил и который теперь задал ему перцу! (*Бурные аплодисменты.*)

Голоса. Вскройте мешок!

Мистер Берджес сделал в мешке надрез, запустил туда руку и вынул конверт. В конверте были запечатаны два сложенных пополам листа. Он сказал:

— Один с пометкой: «Не оглашать до тех пор, пока председатель не ознакомится со всеми присланными на его имя сообщениями, если таковые окажутся». Другой озаглавлен: «Материалы для проверки». Разрешите мне прочесть этот листок. В нем сказано следующее:

«Я не требую, чтобы первая половина фразы, сказанная мне моим благодетелем, была приведена в точности, ибо в ней не заключалось ничего особенного и ее легко можно было забыть. Но последние слова настолько примечательны, что их трудно не запомнить. Если они будут переданы неправильно, значит человек, претендующий на получение наследства, лжец. Мой благодетель предупредил меня, что он редко дает кому-либо советы, но уж если дает, так только первосортные. Потом он сказал следующее — и эти слова никогда не изгладятся у меня из памяти: «Вы не такой плохой человек...»

Полсотни голосов. Правильно! Деньги принадлежат Уилсону! Уилсон! Пусть произнесет речь!

Все повскакали с мест и, столпившись вокруг Уилсона, жали ему руки и осыпали его горячими поздравлениями, а председатель стоял молоточком по столу и громко зывал к собравшимся:

— К порядку, джентльмены, к порядку! Сделайте милость, дайте мне дочитать!

Когда тишина была восстановлена, он продолжал:

— *Ступайте и постарайтесь исправиться, не то, помните мое слово, наступит день, когда грехи сведут вас в могилу и вы попадете в ад или в Гедлиберг. Первое предпочтительнее.*

В зале воцарилось зловещее молчание. Лица граждан затуманило облако гнева, но немного погодя облако это рассеялось и сквозь него стала пробиваться насмешливая ухмылка. Пробивалась она так настойчиво, что сдержат ее стоило мучительных усилий. Репортеры, граждане города Брикстона и другие гости наклоняли голову, закрывали лицо руками и приличия ради принимали героические меры, чтобы не рассмеяться. И тут, как нарочно, тишину нарушил громовой голос — голос Джека Хэлидея:

— Вот это действительно первосортный совет!

Теперь больше не было сил — расхохотались и свои и чужие. Мистер Берджес и тот утратил свою серьезность. Увидев это, собрание сочло себя окончательно освобожденным от необходимости сдерживаться и охотно воспользовалось такой поблажкой. Хохотали долго, хохотали со вкусом, хохотали от всей

души. Потом хохот постепенно затих. Мистер Берджес возобновил свои попытки заговорить, публика успела кое-как вытереть глаза — и вдруг снова взрыв хохота, за ним еще, еще... Наконец Берджесу дали возможность обратиться к собранию со следующими серьезными словами:

— Что толку обманывать себя — перед нами встал очень важный вопрос. Затронута честь нашего города, его славное имя находится под угрозой. Расхождение в одном слове, обнаруженное в записках, которые подали мистер Билсон и мистер Уилсон, само по себе — вещь серьезная, поскольку оно говорит о том, что один из этих джентльменов совершил кражу...

Оба джентльмена сидели поникшие, увядшие, подавленные, но при последних словах Берджеса их словно пронизало электрическим током, и они вскочили с места.

— Садитесь! — строго сказал председатель, и оба покорно сели. — Как я уже говорил, перед нами встал очень серьезный вопрос, но до сих пор это касалось только одного из них. Однако дело осложнилось, ибо теперь опасность угрожает чести их обоих. Может быть, мне следует пойти дальше и сказать: неистовая опасность? Оба они опустили в своем ответе решающие слова.

Берджес умолк. Он выжидал, стараясь, чтобы это многозначительное молчание произвело должный эффект на публику. Потом заговорил снова:

— Объяснить такое совпадение можно только одним способом. Я спрашиваю обоих джентльменов, что это было: тайныйговор? Сговор?

По рядам пронесся тихий шепот; смысл его был таков: попались оба!

Билсон, не привыкший выпутываться из таких критических положений, совсем сник. Но Уилсон недаром был стряпчим. Бледный, взволнованный, он с трудом поднялся на ноги и заговорил:

— Прошу собрание выслушать меня со всей возможной синхроничностью, поскольку мне предстоит крайне тягостное объяснение. С горечью скажу я то, что надо сказать, ибо это причинит неоправданный вред мистеру Билсону, которого до настоящей минуты я почитал и уважал, твердо веря, как и все вы, что ему не страшны никакие соблазны. Но ради спасения собственной чести я вынужден говорить — говорить со всей откровенностью. К стыду своему, должен признаться — и тут я особенно рассчитываю на вашу синхроничность, — что я сказал проигравшемуся чужестранцу все те слова, которые приводятся в его письме, включая и хулительные замечания. *(Волнение в зале.)*

Прочтя газетную публикацию, я вспомнил их и решил заявить свои претензии на мешок с золотом, так как по праву он принадлежит мне. Теперь прошу вас: обратьте внимание на следующее обстоятельство и взвесьте его должным образом. Благодарность этого незнакомца была беспредельна. Он не находил слов для выражения ее и говорил, что если

у него будет когда-нибудь возможность отплатить мне, то он отплатит тысячекратно. Теперь разрешите спросить вас: мог ли я ожидать, мог ли думать, мог ли представить себе хотя бы на минуту, что человек столь признательный отплатит своему благодетелю черной неблагодарностью, приведя в письме и это совершенно излишнее замечание. Уготовить мне западню! Выставить меня подлецом, оклеветавшим свой родной город! И где? В зале наших собраний, перед лицом всех моих сограждан! Это было бы нелепо, ни с чем не сообразно! Я не сомневался, что он заставит меня повторить в виде испытания только первую половину фразы, полную благожелательности к нему. Будучи на моем месте, вы рассудили бы точно так же. Кто из вас мог бы ожидать такого коварного предательства со стороны человека, которого вы не только ничем не обидели, но даже облагодетельствовали? Вот почему я с полным доверием, ни минуты не сомневаясь, написал лишь начало фразы, закончив ее словами: «Сступайте и попытайтесь исправиться», и поставил внизу свою подпись. В ту минуту, когда я хотел вложить записку в конверт, меня вызвали из конторы. Записка осталась лежать на столе. — Он замолчал, медленно повернулся лицом к Билсону и после паузы заговорил снова: — Прошу вас отметить следующее обстоятельство: немного погодя я вернулся и увидел мистера Билсона — он выходил из моей конторы. *(Волнение в зале.)*

Билсон вскочил с места и крикнул:

— Это ложь! Это наглая ложь!

Председатель. Садитесь, сэр! Слово имеет мистер Уилсон.

Друзья усадили Билсона и привели его в чувство. Уилсон продолжал:

— Таковы факты. Моя записка была передана на другое место. Я не придавал этому никакого значения, полагая, что ее сдуло сквозняком. Мне и в голову не пришло заподозрить мистера Билсона в том, что он позволил себе прочесть чужое письмо. Я думал, что честный человек не способен на подобные поступки. Если мне будет позволено высказать свои соображения по этому поводу, то, по-моему, теперь ясно, откуда взялось лишнее слово «уж»: мистера Билсона подвела память. Я единственный человек во всем мире, который может пройти эту проверку, не прибегая ко лжи. Я кончил.

Что другое может так одурманить мозги, перевернуть вверх дном все ранее сложившиеся мнения и взбалтывать чувства публики, не привыкшей к уловкам и хитростям опытных красноречивцев, как искусно построенная речь?

Уилсон сел на место победителем. Его последние слова потонули в громе аплодисментов; друзья кинулись к нему со всех сторон с поздравлениями и рукопожатиями, а Билсону не дали даже открыть рот. Председатель стучал молоточком по столу и зывал к публике:

— Заседание продолжается, джентльмены, заседание продолжается!

Когда наконец в зале стало более или менее тихо, шапочник поднялся с места и сказал:

— Чего же тут продолжать, сэр? Надо вручить деньги — и все.

Голоса. Правильно! Правильно! Уилсон, выходите!

Шапочник. Предлагаю прокричать трикратно «гип-гип ура» в честь мистера Уилсона — символ той добродетели, которая...

Ему не дали договорить. Под оглушительное «ура» и под отчаянный стук председательского молоточка несколько не помнящих себя от восторга граждан взгромодили Уилсона на плечи к одному из его приятелей — человеку весьма рослому — и уже двинулись триумфальным шествием к эстраде, но тут председателю удалось перекричать всех:

— Тише! По местам! Вы забыли, что надо прочитать еще один документ!

Когда тишина была восстановлена, Берджес взял со стула другое письмо, хотел было прочесть его, но раздумал и вместо этого сказал:

— Я совсем забыл! Сначала надо огласить все врученные мне записки.

Он вынул из кармана конверт, распечатал его, извлек оттуда записку и, пробежав ее мельком, сильно чему-то удивился. Потом долго держал листок в вытянутой руке, присматриваясь к нему и так и эдак...

Человек двадцать — тридцать дружно крнкнули:

— Что там такое? Читайте вслух! Вслух!

И Берджес прочел медленно, словно не веря своим глазам:

«Я сказал чужестранцу следующее: (Голоса. Это еще что?)... вы не такой плохой человек... (Голоса. Вот чертовщина!)... ступайте и постарайтесь исправиться». (Голоса. Ой! Не могу!) Подписано «Банкир Пинкертон».

Тут в зале поднялось нечто невообразимое. Столь буйное веселье могло бы довести человека рассудительного до слез. Те, кто считал, что их дело сторона, уже не смеялись, а рыдали. Репортеры, корчась от хохота, выводили такие каракули в своих записных книжках, каких не разобрал бы никто в мире. Славшая в углу зала собака проснулась и подняла с перепугу отчаянный лай. Среди общего шума и гама слышались самые разнообразные выкрики:

— Час от часу богатеет — два Символа Неподкупности, не считая Билсона!

— Три! «Квакера» туда тоже! Что там приедняться!

— Правильно! Билсон избран!

— А Уилсон-то, бедняга, — его обворовали сразу двое!

Мощный голос. Тише! Председатель вынул еще что-то из кармана!

Голоса. Ура! Что-нибудь новенькое? Вслух! Вслух!

Председатель (читает). «Я сказал чужестранцу...» и так далее... «Вы не такой плохой человек. Ступайте...» и так далее. Подпись: «Грегори Ейтс».

Ура! Ура! Ура! Голосов. Четыре Символа! Ура Ейтсу! Выуживайте дальше!

Собрание было вне себя от восторга и не желало упускать ни малейшей возможности повеселиться. Несколько супружеских пар из числа Девятнадцати поднялись бледные, расстроенные и начали пробираться к проходу между рядами, но тут раздалось десятка два голосов:

— Двери! Двери на запор! Неподкупные и шагу отсюда не сделают! Все по местам!

Приказание было исполнено.

— Выуживайте из карманов все, что там есть! Вслух! Вслух!

Председатель вынул еще одну записку, и уста его снова произнесли знакомые слова:

— «Вы не такой плохой человек...»

— Фамиллю! Фамиллю! Как фамилля?

— Л. Ийгoldsби Сарджент.

— Пятеро избавных! Символ на Символе! Дальше, дальше!

— «Вы не такой плохой...»

— Фамиллю! Фамиллю!

— Николас Унтворт.

— Дальше! Нам слушать не лень! Вот так Символический день!

Кто-то подхватил две последние фразы (выпустив слова «вот так») и затаил их на мотив прелестной арии из оперетты «Микадо».

Не бойтесь любви, волнения в крови...

Собрание стало с восторгом вторить солисту, и как раз вовремя кто-то сочинил вторую строку:

Но вот что запомнить изволь-ка

Все проревел ее зычными голосами. Тут же подошла третья:

Наш Гедлиберг свят с макушки до пят...

Проревела и эту. И не успела замереть последняя нота, как Джек Хэллдей звучным, отчетливым голосом подсказал собранию заключительное:

А грех в нем — лишь символ, и только!

Эти слова пропели с особеним воодушевлением. Потом ликующее собрание с огромным подъемом исполнило все четверостишие два раза подряд и в заключение трижды три раза прокричало «гип-гип ура» в честь «Неподкупного Гедлиберга» и всех тех, кто удостоился получить высокое звание «Символа его неподкупности». Потом граждане снова стали звать к председателю:

— Дальше! Дальше! Читайте дальше!

Все прочтите, все, что у вас есть.

— Правильно! Читайте! Мы стяжем себе неуязвимую славу!

Человек десять поднялись и заявили протест. Они говорили, что эта комедия — дело рук какого-то беспутиого шутника, что это оскорбляет всю общину. Подписи, несомненно, подделаны...

— Сядьте! Сядьте! Хватит! Сами себя дайте! Ваши фамиллии тоже там окажутся!

— Господин председатель, сколько у вас таких конвертов?

Председатель занялся подсчетом.

— Вместе с распечатанными — девятнадцать.

Гром насмешливых рукоплесканий.

— Может быть, в них во всех поведана одна и та же тайна? Предлагаю огласить каждую подпись и, кроме того, зачитать первые пять слов.

— Поддерживаю предложение.

Предложение проголосовали и принял единогласно. И тогда бедняга Ричардс поднялся с места, а вместе с ним поднялся и его старушка жена. Она стояла опустив голову, чтобы никто не видел ее слез. Ричардс взял жену под руку и заговорил срывающимся голосом:

— Дузья мои, вы знаете нас обонх — и Мэри и меня... вся наша жизнь прошла у вас на глазах. И мне кажется, что мы пользовались вашей симпатией и уважением...

Мистер Берджес прервал его;

— Позвольте, мистер Ричардс. Это все верно, что вы говорите. Город знает вас обонх. Он расположен к вам, он вас уважает — больше того, он вас любит и чтит...

Раздался голос Хэлидеа:

— Вот еще одна первосортная истинна! Если собрание согласно с председателем, пусть оно подтвердит его слова. Встать! Теперь «гип-гип ура» хором!

Все дружно встали и повернулись лицом к престарелой чете. В воздухе, словно снежные хлопья, замелькали носовые платки, грянули сердечные приветственные крики.

— Я хотел сказать следующее: все мы знаем ваше доброе сердце, мистер Ричардс, но сейчас не время проявлять милосердие к провинившимся. (Крики: «Правильно! Правильно!») По вашему лицу видно, о чем вы собираетесь просить со свойственным вам великодушием, но я никому не позволю заступаться за этих людей...

— Но я хотел...

— Мистер Ричардс, сядьте, прошу вас. Нам еще предстоит просмотреть остальные записки — хотя бы из простого чувства справедливости по отношению к уже изблеченным людям. Как только с этим будет покончено, мы вас выслушаем — положитесь на мое слово.

Голоса. Правильно! Председатель говорит дело. Сейчас нельзя прерывать! Дальше! Фамидии! Фамидии! Собрание так постановило!

Старички нехотя опустили на свои места, и Ричардс пошептал жене:

— Теперь начнется мучительное ожидание. Когда все узнают, что мы хотели просить только за самих себя, это будет еще позорнее.

Председатель начал оглашать следующие фамилии, и веселье в зале вспыхнуло с новой силой.

— «Вы не такой плохой человек...»

Подпись: «Роберт Дж. Титмарш».

— «Вы не такой плохой человек...»

Подпись: «Элфалет Уикс».

— «Вы не такой плохой человек...»

Подпись: «Оскар Б. Уайлдер».

И вдруг собрание осенена блестящая идея: освободить председателя от необходимости читать первые пять слов. Председатель похорил

ся — и нельзя сказать, чтобы неохотно. В дальнейшем он вынимал очередную записку из конверта и показывал ее собранню. И все дружным хором тянули нараспев первые пять слов (не смущаясь тем, что этот речитатив смахивал на один весьма известный церковный гимн): «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой че-ло-ве-ек...» Потом председатель говорил «Арчибалд Уилкоккс». И так далее и так далее — одну фамилию за другой.

Ликование публики возрастало с минуты на минуту. Все получало огромное удовольствие от этой процедуры, за исключением несчастных Девятнадцати. Время от времени, когда оглашалось какое-нибудь особенно блистательное имя, собрание заставляло председателя выждать, пока оно не проплет всю sacramентальную фразу от начала до конца, включая слова: «...н вы попадете в ад или в Гедлиберг. Первое предпочтительнее». В таких экстренных случаях пение заключалося громогласным, величавым и мучительно протяжным «ами-ни!»

Непрочитанных записок оставалось все меньше и меньше. Несчастный Ричардс вел им счет, вздрагивая, если председатель произносил фамилию, похожую на его, и с волнением и страхом ожидал той унизиющей минуты, когда ему придется встать вместе с Мэри и закончить свою защитительную речь следующими словами:

«...До сих пор мы не делали ничего дурного и скромно шли своим скромным путем. Мы бедняки, и оба старые. Детей и родных у нас нет, помощи нам ждать не от кого. Соблазн был велик, и мы не устояли перед ним. Поднявшись в первый раз, я хотел открыто во всем покаяться и просить, чтобы мое имя не произносили здесь при всех. Нам казалось, что мы не перенесем этого. Мне не дали договорить до конца. Что ж, это справедливо, мы должны принять муку вместе со всеми остальными. Нам очень тяжело... До сих пор наше имя не могло осквернить чьи-либо уста. Сжальтесь над нами... ради нашего доброго прошлого. Все в ваших руках — будьте же милосердны и облегчите бремя нашего позора».

Но в эту минуту Мэри, заметив отсутствующий взгляд мужа, легонько толкнула его локтем. Собрание тянуло нараспев: «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой...» и т. д.

— Готовься, — шепнула она, — сейчас наша очередь! Восемнадцать уже прочел.

— Следующий! Следующий! — слышалось со всех сторон.

Берджес опустил руку в карман. Старички, дрожа, привстали с мест. Берджес пошарил в кармане и сказал:

— Оказывается, я все прочел.

У стариков ноги подкосились от изумления и радости. Мэри пошептала:

— Слава богу, мы спасены! Он потерял наше письмо. Да мне теперь и сотни таких мешков не надо!

Собрание грянуло свою пародию на арию из «Микадо», пропело ее еще три раза подряд со все возрастающим воодушевлением и,

дойдя в последний раз до заключительной строки:

А грех в нем — лишь символ, и только, — поднялся с места. Пенне завершилось оглушительным «гип-гип ура» в честь «кристальной чистоты Гедлиберга и восемнадцати ее Символов, стяхавших себе бессмертие».

Вслед за этим шорник мистер Уингэйт встал с места и предложил прокрячать «ура» в честь «самого порядочного человека в городе, единственного из его именитых граждан, который не похотился на эти деньги, — в честь Эдварда Ричардса».

«Гип-гип ура» прокричали с трогательным единодушием. Потом кто-то предложил избрать Ричардса «Единственным Блюстителем и Символом священной огнище гедлибергской традиции, чтобы он мог бесстрашно смотреть в глаза всему миру».

Предложение даже не понадобилось ставить на голосование. И тут снова пропели четверостишие на мотив арии из «Микадо», закончив его несколько по-иному:

Один в нем есть символ — и только.

Наступила тишина. Потом:

Голоса. А кому же достанется мешок?

Скорняк (*весьма изысканно*). Это решить нетрудно. Деньги надо поделить поровну между восемнадцатью Неподкупными, каждый из которых дал страждущему незнакомцу двадцать долларов да еще ценный совет в придачу. Чтобы пропустить мимо себя эту длинную процессию, незнакомцу понадобилось по меньшей мере двадцать две минуты. Общая сумма взноса — триста шестьдесят долларов. Теперь он, конечно, хотят получить свои денежки обратно с начисленным процентом. Итого сорок тысяч долларов.

Множество голосов (*издевательски*). Правильно! Правильно! Сжальтесь над бедняками, не томите их!

Председатель. Тише! Предлагаю вашему вниманию последний документ. Вот что в нем говорится: «Если претендентов не окажется (*собрание издало дружный стон*), вскрыйте мешок и передайте деньги на хранение самым видным гражданам города Гедлиберга (*крики: «Ого!»*), с тем чтобы они употребили их по своему усмотрению на поддержание благородной репутации вашей общины — репутации, которая зиждется на неподкупной честности (*«Ого!»*) и которой имена и деяния этих граждан придадут новый блеск». (*Бурный взрыв насмешливых рукоплесканий.*) Кажется, все. Нет, еще постскриптум: «Граждане Гедлиберга! Не пытайтесь отгадать заданную вам загадку — отгадать ее невозможно. (*Сильное волнение.*) Не было ни злосчастного чужестранца, ни подаяния в двадцать долларов, ни напутственных слов. Все это выдумка. (*Общий гул удивления и восторга.*) Разрешите мне рассказать вам одну историю, это займет не много времени. Однажды я был проездом в вашем городе, и мне нанесли там тяжкое, совершенно незаслуженное оскорбление. Другой на моем месте убил бы одного или двух из вас и на том успокоился. Но для меня такой мелкой местн было недостаточно,

ибо мертвые не страдают. Кроме того, я не мог бы убить вас всех поголовно, да человека с моим характером это и не удовлетворило бы. Я хотел бы погубить каждого мужчину и каждую женщину в вашем городе, но так, чтобы погубил не тело их или имущество, — нет, я хотел поразить их тщеславие — самое уязвимое место всех глупых и слабых людей. Я изменил свою наружность, вернулся в ваш город и стал изучать его. Справиться с вами оказалось нетрудно. Вы издвигали снискали себе великую славу своей честностью и, разумеется, чванились ею. Вы оберегали свое сокровище как зеницу ока. Но, увидев, как тщательно и как неукоснительно вы устраняете со своего пути и с пути ваших детей все соблазны, я понял, что мне надо сделать. Просто-фили! Нет ничего более неустойчивого, чем добродетель, не закаленная огнем. Я разработал план и составил список фамилий. План этот заключался в том, чтобы совратить неподкупный Гедлиберг с пути истинного, сделать лжецами и мошенниками по крайней мере полсотни беспорочных граждан, которые за всю свою предыдущую жизнь не сказали ни одного лживого слова, не украли ни одного цента. Опасения вызывал во мне только Гудсон. Он родился и воспитывался не в Гедлиберге. Я боялся, что, прочтя мое письмо, вы скажете: «Гудсон — единственный среди нас, кто мог бы подать двадцать долларов этому несчастному горемыке», и не пойдете на мою приманку. Но господь прибрал Гудсона. И тогда я понял, что опасаться нечего, и расставил свою западню. Быть может, из тех, кто получат мое письмо с вымышленными напутственными словами, не все попадутся в эту западню, но большинство все же попадется, или я не раскусил Гедлиберга. (*Голоса.* «Так и есть! Попались все — все до одного!») Я уверен, что эти жалкие люди не устоят перед соблазном и протянут руку к заведомо нечистым деньгам, добытым за игорным столом. Смею надеяться, что мне удастся раз навсегда обуздать ваше тщеславие и осенить Гедлиберг новой славой — такой, которая удержится за ним на веки вечные и проглотит далеко за его пределами. Если я преуспею в этом, вскрыйте мешок и создайте комиссию по охране и пропаганде репутации города Гедлиберга».

Урагаи голосов. Вскройте мешок! Вскройте мешок! Все восемнадцать — на эстраду! Комиссия по пропаганде гедлибергской традиции! Неподкупные, вперед!

Председатель рванул на подиум, вынул из мешка пригоршню блестящих желтых монет, подкинул их на ладони, рассмотрел внимательное...

— Друзья, это просто позолоченные свиновые бляхи!

Эта новость была встречена взрывом буйного ликования. Когда шум немного утих, скорняк крикнул с места:

— Председателем комиссии по охране гедлибергской традиции следует избрать мистера Уилсона. За ним право первенства. Пусть поднимается на эстраду и, заручившись дове-

рием всей своей честной компании, получит деньги.

Сотни голосов. Уилсон! Уилсон! Уилсон! Пусть произнесет речь!

Уилсон (*голосом, дрожащим от ярости*). Разрешите мне сказать, не стесняясь в выражениях: черт бы побрал эти деньги!

Голос. А еще баптист.

Голос. Итого в остатке семнадцать Символов! Просим, джентльмены. Выходите вперед и принимайте деньги!

(*Полное безмолвие.*)

Шоринк. Господин председатель! От нашей бывшей аристократки остался только один ничем себя не запятнавший человек. Он нуждается в деньгах и вполне заслужил их. Я вношу предложение: поручить Джеку Хэлидею пустить с аукциона эти позолоченные двадцатидолларовые бляхи вместе с мешком, а выручку отдать тому, кого Геллиберг глубоко уважает, — Эдварду Ричардсу.

Предложение было одобрено всеми, в том числе и сабокой. Шоринк открыл торг с одного доллара. Граждане города Бринкстона вступили в отчаянную борьбу. Зал бурно приветствовал каждую надбавку, волнение росло с минуты на минуту. Участники торга вошли в азарт, прибавляли все смелее и смелее. Цена подскочила с одного доллара до пяти, потом до десяти, двадцати, пятидесяти, до ста, потом...

В самом начале аукциона Ричардс в отчаянии шепнул жене:

— Мэри! Как же нам быть? Это... это награда... этим хотят отметить нашу порядочность... Но... но как же нам быть? Может, мне нужно встать и... Что же делать? Мэри! Как ты...

Голос Хэлидея. Пятнадцать долларов! Мешок с золотом — пятнадцать долларов... Двадцать!.. Благодарю!.. Тридцать!.. Еще раз благодарю! Тридцать, тридцать... Сорок?.. Я не ослышался? Правильно, сорок! Большие жизни, джентльмены! Пятьдесят! Щедрость — украшение города! Мешок с золотом — пятьдесят долларов! Пятьдесят... Семьдесят!.. Девяносто! Великолепно! Сто! Кто больше, кто больше? Сто двадцать... Сто двадцать — раз. Сто двадцать — два. Сто сорок — раз... Двести. Блестяще! Двести. Я не ослышался? Благодарю! Двести пятьдесят долларов!

— Новое искушение, Эдвард!.. Меня лихорадит... Беда только миновала... Мы получили такой урок, и вот...

— Шестьсот! Благодарю! Шестьсот пятьдесят, шестьсот пятьдесят... Семьсот долларов!

— И все-таки, Эдвард... ты только подумай... Никто даже не подозревает...

— Восемьсот долларов! Ура! Ну, а кто девятьсот? Мистер Парсонс, мне послышалось... Благодарю... Девятьсот! Вот этот почтенный мешок, набитый действительно чистым свинцом с позолотой, идет всего за девятьсот... Что? Тысяча? Мое вам инжайше! Сколько вы изволили сказать? Тысяча сто?.. Мешок! Самый знаменитый мешок во всех Соединенных...

— Эдвард! (*С рыданием в голосе.*) Мы с

тобой такие бедные... Хорошо... Поступай как знаешь... как знаешь...

Эдвард пал... то есть остался сидеть на месте, уже не вменяя своей неспокойной, но побужденной обстоятельствами совести.

Между тем за событиями этого вечера с явным интересом следил незнакомец, который сильно смахивал на сыщика-любителя, перешедшего этим английским графом из романа. Он с довольным видом поглядывал по сторонам и то и дело отпускал про себя замечания по поводу всего происходившего в зале. Его монолог звучал примерно так:

— Никто из восемнадцати не принимает участия в торгах. Это не годится. Представление лишается драматического единства. Пусть сами купят мешок, который пытались украсть, пусть заплатят за него подороже — среди них есть богатые люди. И еще вот что: оказывается, не все граждане Геллиберга скроены на один лад. Человек, который заставил меня так просчитаться, должен получить награду за чей-то счет. Этот бедняк Ричардс посрамил меня, не оправдав моих ожиданий. Он честный старик. Не пойму, как это случилось, но факт остается фактом. Он оказался искусным партнером, выигрыш за ним. Так пусть же сорвет куш побольше. Он подвел меня, но я на него не в обиде.

Незнакомец продолжал внимательно следить за ходом аукциона. Последствия надбавки стали быстро понижаться. Он ждал, что будет дальше. Сначала вышел из строя один участник торга, за ним другой, третий... Тогда незнакомец сам надбавил цену. Когда надбавки упали до десяти долларов, он крикнул: «Пять!» Кто-то предложил еще три; незнакомец выждал минуту, надбавил сразу пятьдесят долларов, и мешок достался ему за тысячу двести восемьдесят два доллара. Взорвав восторга — мгновенная тишина, ибо незнакомец встал с места, поднял руку и заговорил.

— Разрешите мне попросить вас об одном одолжении. Я торгую редкостями, и среди моей обширной клиентуры во всех странах мира есть люди, интересующиеся нумизматикой. Я мог бы выгодно продать этот мешок так, как он есть, но если вы примете мое предложение, мы с вами поднимем цену на эти свинцовые двадцатидолларовые бляхи до стоимости золотых монет такого же достоинства, а может быть и выше. Дайте мне только ваше согласие, и тогда часть моего барыша достанется мистеру Ричардсу, неуязвимой честности которого вы отдали сегодня должную дань. Его доля составит десять тысяч долларов, и я вручу ему деньги завтра. (*Бурные аплодисменты всего зала.*)

При словах «неуязвимой честности» старики Ричардсы зарделись; впрочем, это сошло за проявление скромности с их стороны и не повредило им.

— Если мое предложение будет принято большинством голосов — не меньше двух третей, я сочту, что получил санкции всего вашего города, а мне больше ничего и не нужно. Интерес к редкостям сильно повышается, когда на них есть какой-нибудь девиз или эмбле-

ма, имеющая свою историю. И если вы позволите мне выйти на этих фальшивых монетах имена восемнадцати джентльменов, которые...

Десять десятых собрания, включая и собаку, дружно поднялись с мест, и предложение было принято под гром аплодисментов и оглушительный хохот.

Все сели, и тогда Символы (за исключением «доктора» Клея Гаркнеса) вскочили в разных концах зала, яростно протестуя против такого надругательства, угрожая...

— Прошу не угрожать мне, — спокойно сказал незнакомец. — Я знаю свои права, и криком меня не возьмешь. (Аплодисменты.)

Он опустился на место. Доктор Гаркнес решил воспользоваться представившимся ему случаем. Он считался одним из двух самых богатых людей в городе. Другим был Пинкертон. Гаркнес был владельцем золотых россыпей, иными словами — владельцем фабрики, выпускавшей ходкое патентованное лекарство. Гаркнес выставил свою кандидатуру в городское управление от одной партии. Пинкертон — от другой. Борьба между ними велась не на жизнь, а на смерть и разгоралась с каждым днем. Оба любили деньги; оба недавно купили по большому участку земли — и испроста! Предполагалась постройка новой железнодорожной линии, и каждый из них рассчитывал, став членом городской магистратуры, добиться прокладки ее в наиболее выгодном для него направлении. В таких случаях от одного голоса иной раз зависит многое. Ставка была крупная, но Гаркнес никогда не боялся рисковать. Незнакомец сидел рядом с ним, и пока остальные Символы увеселяли собрание своими протестами и мольбами, Гаркнес нагнулся к соседу и спросил его шепотом:

— Сколько вы хотите за мешок?

— Сорок тысяч долларов.

— Даю двадцать.

— Нет.

— Двадцать пять.

— Нет.

— Ну а тридцать?

— Моя цена — сорок тысяч долларов, и я не уступлю ни одного цента.

— Хорошо, согласен. Я буду у вас в гостинице в десять часов утра. Пусть это останется между нами. Поговорим с глазу на глаз.

— Отлично.

Вслед за тем незнакомец встал и обратился к собранию:

— Время уже позднее. Высказывания этих джентльменов не лишены резона, не лишены интереса, не лишены блеска. Однако я попрошу разрешения покинуть зал. Благодаря вас за ту любезность, которую вы мне оказали, исполнив мою просьбу. Господин председатель, сохраните, пожалуйста, мешок до завтра, а вот эти три банковых билета по пятьсот долларов передайте мистру Ричардсу. — И он протянул председателю деньги. — Я найду за мешком в девять часов утра, а остальные, что причитаются мистру Ричардсу, принесу ему сам в одиннадцать часов. Доброй ночи!

И незнакомец вышел из зала под крики

«ура», пение куплета на мотив арни из «Микадо», яростный собачий лай и торжественные раскаты гимна: «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой чело-ве-ек — Ами-инь!»

IV

Верившись домой, чета Ричардсов была вынуждена до глубокой ночи принимать поздравителей. Наконец стариков оставили в покое. Вид у них был грустный; они сидели, не говоря ни слова, и размышляли. Наконец Мэри сказала со вздохом:

— Как ты думаешь, Эдвард, нам есть в чем упрекнуть себя... по-настоящему упрекнуть? — И ее блуждающий взор остановился на столе, где лежали три злополучных банковых билета, которые недавние посетители разлагивали и трогали с таким благоговением.

Эдвард долго молчал, прежде чем ответить ей, потом вздохнул и нерешительно начал:

— А что мы могли поделать, Мэри? Это было predetermined свыше... как и все, что делается на свете.

Мэри пристально посмотрела на него, но он отвел глаза в сторону. Помолчав, она сказала:

— Раньше мне казалось, что принимать поздравления и выслушивать похвалы очень приятно. Но теперь... Эдвард!

— Что?

— Ты останешься в банке?

— Н-нет!

— Попросишь увольнения?

— Завтра утром... напишу письмо с просьбой об отставке.

— Да, так, пожалуй, будет лучше!

Ричардс закрыл лицо ладонями и пробормотал:

— Сколько чужих денег проходило через мои руки. И я ничего не боялся... А теперь... Мэри, я так устал, так устал!

— Давай ляжем спать.

На следующий день в девять часов утра незнакомец явился в здание магистратуры за мешком и увез его в гостиницу. В десять часов они с Гаркнесом беседовали наедине. Незнакомец получил от Гаркнеса то, что потребовал: пять чеков «на предъявителя» в один из столичных банков — четыре по тысяче пятьсот долларов и пятый на тридцать четыре тысячи долларов. Один из мелких чеков он положил в бумажник, а остальные, на сумму тридцать восемь тысяч пятьсот долларов, запечатал в конверт вместе с запиской, которая была написана после ухода Гаркнеса. В одиннадцать часов он подошел к дому Ричардсов и постучал в дверь. Миссис Ричардс посмотрела в щелку между ставнями, вышла на крыльцо и взяла у него конверт. Незнакомец удалился, не сказав ей ни слова. Она вошла в гостинию вся красная, чуть пошатываясь, и с трудом проговорила:

— Вчера мне показалось, будто я где-то видела этого человека, а теперь я его узнала.

— Это тот самый, что принес мешок?

— Я в этом почти уверена!

— Значит, он и есть тот неведомый Стивенсон, который так провел всех именитых граждан нашего города. Если он принес нам чеки, а не деньги, это тоже подвох. А мы-то думали, что беда миновала! Я уж было успокоился, отошел за ночь, а теперь мне и смотреть тошно на этот конверт. Почему он такой легкий? Ведь как-никак восемь с половиной тысяч, даже если самыми крупными купюрами.

— А если там чеки, что в этом плохого?

— Чеки, подписанные Стивенсоном? Я готов взять эти восемь с половиной тысяч наличными... По-видимому, это предопределено свыше, Мэри... Но я никогда особым мужеством не отличался, и сейчас у меня просто не хватает духу предъявлять к оплате чеки, подписанные этим губительным именем. Тут явная ловушка. Он хотел поймать меня с самого начала. Но мы каким-то чудом спаслись, а теперь ему пришла в голову новая хитрость! Если там чеки...

— Эдвард, это ужасно! — И Мэри залилась слезами: в руках у нее были чеки.

— Брось их в огонь! Скорее! Не поддадимся соблазну! Он и из нас хочет сделать всеобщее посмешище! Он... дай мне, если не можешь сама!

Ричардс выхватил у жены чеки и, всеми силами стараясь удержаться, чтобы не разжать руки, бросился к печке. Но он был человек, он был кассир... и он остановился на секунду посмотреть подпись. И чуть не упал замештво.

— Мэри! Мне душно, помахай на меня чем-нибудь! Эти чеки — все равно что золото!

— Эдвард, какое счастье! Но почему?

— Они подписаны Гаркнесом. Новая загадка, Мэри!

— Эдвард, неужели...

— Посмотри! Нет, ты только посмотри! Тысяча пятьсот... тысяча пятьсот... тысяча пятьсот... тридцать четыре... тридцать восемь тысяч пятьсот! Мэри! Мешок не стоит и двенадцати долларов... Что же... неужели Гаркнес заплатил за него по золотому курсу?

— И это все нам — вместо десяти тысяч?

— Похоже, что нам. И все чеки написаны «на предъявителя».

— А это хорошо, Эдвард? Для чего он так сделал?

— Должно быть, намекает, что лучше полагаться по ним в другом городе. Может, Гаркнес не хочет, чтобы об этом знали? Смотри... письмо!

Письмо было написано рукой Стивенсона, но без его подписи. Оно гласило:

«Я ошибся в своих расчетах. Вашей честности не страшны никакие соблазны. Я был другого мнения о вас и оказался неправ, в чем и приношу свои искренние извинения. Я вас глубоко уважаю, поверьте в мою искренность и на сей раз. Этот город недостойно лбызать край вашей одежды. Я побился об заклад с самим собою, уважаемый сэр, что в вашем фарисейском Гедлиберге можно со-

вратить с пути истинного девятнадцать целоевек, — и проиграл. Возьмите выигрыш, он ваш по праву».

Ричардс испустил глубокий вздох и сказал:

— Это письмо обжигает пальцы — оно словно огнем написано. Мэри, мне опять стало не по себе!

— Мне тоже. Ах, боже мой, если б...

— Ты только подумай! Он верит в мою честность!

— Перестань, Эдвард! Я больше не могу!

— Если б эта высокая похвала досталась мне по заслугам, — а видит бог, Мэри, когда-то я думал, что этого заслуживаю, — я легко расстался бы с такими деньгами. А письмо сохранил бы — оно дороже золота, дороже всех сокровищ. Но теперь... Оно будет нам вечным укором, Мэри!

Он бросил письмо в огонь. Пришел рассылный с пакетом. Ричардс распечатал его. Письмо было от Берджеса.

«Вы спасли меня в трудную минуту. Я спас вас обоих вчера вечером. Для этого мне пришлось солгать, но я пошел на такую жертву охотно, по велению сердца, преисполненного благодарности. Я один во всем городе знаю, сколько в вас доброты и благодарства. В глубине души вы, вероятно, не можете не презирать меня — ведь вам известно, что вменяется мне в вину всей нашей общиной. Прошу вас по крайней мере об одном: верьте, что я не лишен чувства благодарности. Это облегчает мне мое бремя.

Берджес».

— Мы спасены еще раз! Но какой ценой! — Он бросил письмо в огонь. — Лучше, кажется, смерти!.. Умереть, уйти от всего этого...

— Какие скорбные дни наступили для нас, Эдвард! Удары, наносимые великодушной рукой, так жестоки и так быстро следуют один за другим...

За три дня до выборов каждый из двух тысяч избирателей неожиданно оказался обладателем ценного сувенира — фальшивой монеты из прославленного золотого мешка. На одной стороне этих монет было выбито: «Я сказал несчастному незнакомцу следующее...» А на другой: «Сступайте и постарайтесь исправиться». (Подпись: «Пинкертон».)

Таким образом, ведро с ополосками после знаменитой каверзной шутки было вылито на одну-единственную голову, и результаты этого были поистине катастрофические. На сей раз всеобщим посмешищем стал один Пинкертон, и Гаркнес проскочил в члены городского управления без всякого труда.

За сутки, протекшие с тех пор, как Ричардс получил чеки, их обескураженная совесть притихла. Старики примирились с содеянным грехом. Но им еще суждено было узнать, какие ужасы таит в себе грех, который вот-вот должен стать достоянием гласности. Старики послушали в церкви обычную утреннюю проповедь — давно известные слова о

давно известных вещах. Все это было слышано и переслышано тысячи раз и, потеряв всякую остроту, всякий смысл, нагоняло на них раиные сон. Но теперь иное дело: теперь каждое слово проповеди звучало как обвинение, и вся она была направлена против тех, кто таит от людей свои смертные грехи.

Служба кончилась, они постарались поскорее отделаться от толпы поздравителей и поспешили домой, дрожа, как в ознобе, от смутного, неопределенного предчувствия беды. И увидели на улице мистера Берджеса в ту минуту, когда тот заворачивал за угол. Берджес не ответил на их поклон! Он просто не заметил стариков, но они этого не знали. Чем объяснить такое поведение? Боже! Да мало ли чем. Неужели Берджес проведаль, что Ричардс мог обелить его в те давние времена, и теперь выжидает удобного случая, чтоб свести с ним счеты?

Придя домой, они вообразили с отчаяния, будто служанка подслушивала из соседней комнаты, когда Ричардс признался жене, что Берджес ии в чем не виноват. Ричардс припомнил, будто из той комнаты доносился шорох платья. Через минуту он уже окончательно уверил себя в этом. Надо позвать Сарру под каким-нибудь предлогом и понаблюдать за ней: если она действительно донесла на них Берджеса, это сразу будет видно по ее лицу.

Они задали девушке несколько вопросов, — и она сразу решила, что старики повредились в уме от неожиданного привалившего богатства. Их настороженные, подозрительные взгляды окончательно смутили ее. Она покраснела, встревожилась, и старики увидели в этом явное доказательство ее внии. Она шпионит за ними, она доносчица!

Оставшись снова наедине, они принялись связывать воедино факты, не имевшие между собой никакой связи, и пришли к ужасающим выводам. Дойдя до полного отчаяния, Ричардс вдруг ахнул, и жена спросила его:

— Что ты? Что с тобой?

— Письмо... письмо Берджеса. Он надо мной издевался, я только сейчас это понял! — И Ричардс процитировал: — «В глубине души вы, вероятно, не можете не презирать меня — ведь вам известно, что вменяется мне в вину...» Теперь все ясно! Боже правый! Он знает, что я знаю! Видишь, как хитро построена фраза? Это ловушка, и я попался в нее как дурак! Мэри...

— Какой ужас! Я знаю, что ты хочешь сказать... Берджес не вернул нам твоё письмо!

— Да, он решил придержать его, мне на погнбел! Мэри, Берджес уже выдал нас кое-кому. Я это знаю... знаю наверняка. Поминишь, как на нас смотрели в церкви? Берджес не ответил на наш поклон... Это неспроста: он знает, что делает!

Ночью вызвали доктора. Утром по городу разнеслась весть, что старики опасно больны. По словам доктора, их подкосили волнения последних дней, вызванные неожиданным счастьем, а тут еще приходилось выслушивать

поздравления, засиживаться по вечерам, поздно ложиться спать...

Город искренне опечалился, ибо старая супружеская чета была теперь его единственной гордостью.

Через два дня разнеслись еще худшие вести. Старики начали заговариваться и вели себя очень странно. По словам сиделок, Ричардс показывал им чеки. На восемь тысяч пятьсот? Нет, на огромную сумму — на тридцать восемь тысяч пятьсот долларов. Откуда ему привалило такое счастье?

На следующий день сиделки сообщили еще более поразительные новости. Они боялись, что чеки затеряются, и решили их спрятать, но, пошарив у большого под подушкой, ничего не нашли — чеки исчезли бесследно. Большой сказал:

— Не трогайте подушку. Что вам нужно?

— Мы думали, чеки лучше спрятать...

— Вы их больше не увидите, — я уничтожил их. Это дело сатаны. На них печать ада. Я знал, зачем их мне прислали: чтобы вовлечь меня в грех!

И дальше он понес такое, что и понять было невозможно и вспомнить страшно, к тому же доктор велел им молчать об этом.

Ричардс сказал правду — чеков больше никто не видел.

Но одна из сиделок, вероятно, проговорила во сне, ибо через три дня слова, сказанные Ричардсом в бесамятстве, стали достоянием всего города. Бред его был действительно странен. Выходило, что Ричардс тоже претендовал на мешок и что Берджес сначала утаил записку старика, а потом коварно выдал его.

Берджесу так и сказали, но он всячески отрицал это и вдобавок осудил тех, кто придал значение бреду больного, неменяемого старика. Все же в городе поняли, что тут что-то неладно, и разговоры об этом не прекращались.

Дня через два пошли слухи, будто миссис Ричардс в бреду почти слово в слово повторяет речи мужа. Подозрения вспыхнули с новой силой, потом окончательно укрепились, и вера Геллберга в кристальную чистоту своего единственного непорочного именитого гражданина померкла и готова была вот-вот совсем угаснуть.

Прошло еще шесть дней, и по городу разнеслась новая весть: старики умирают. В предсмертный час рассудок Ричардса прояснился, и он послал за Берджесом. Берджес сказал:

— Оставьте нас наедине. Он, вероятно, хочет поговорить со мной без свидетелей.

— Нет, — возразил Ричардс, — мне нужны свидетели. Пусть все слышат мою исповедь. Я хочу умереть как человек, а не как собака. Я считал себя честным, но моя честность была искусственная, как и ваша. И, так же как и вы, я пал, не устояв перед соблазнами. Я скрепил ложь своим именем, позарываясь на злосчастный мешок. Мистер Берджес не забыл одной услуги, которую я ему оказал, и из чувства благодарности, которой

я не заслуживаю, утаил мою записку и спас меня. Все вы помните, в чем его обвиняли много лет назад. Мои показания — и только мои — могли бы установить его невиновность, а я оказался трусом и не спас его от позора...

— Нет, нет, мистер Ричардс. Вы...

— Наша служанка выдала ему мою тайну...

— Никто мне ничего не выдавал!

— ...и тогда он поступил так, как поступил бы каждый на его месте: пожалел о своем добром поступке и разоблачил меня... воздал мне по заслугам...

— Это неправда! Клянусь вам...

— Прощаю ему от всего сердца!..

Горячие уверения Берджеса пропали даром — умирающий не слышал их. Он отошел

в вечность, не зная, что еще раз был несправедлив к бедняге Берджесу. Его старушка жена умерла в ту же ночь.

Девятнадцатый — последний! — из непогрешимой плеяды пал жертвой окаянного золотого мешка. С города был сорван последний лоскут его былой славы. Он не выставял напоказ своей скорби, но скорбь эта была глубока.

В ответ на многочисленные ходатайства и петиции было решено переименовать Гедлиберг (как — не важно, я его не выдам), а также изъять одно слово из девиза, который уже много лет украшал его печать.

Он снова стал честным городом, но держит ухо востро — теперь его так легко не проведешь!



ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

Разве не добродетельна наша полиция? Разве не следит она за порядком в городе? Не ее ли бдительность и умелая работа возвращают на путь истинный устранных хулиганов и головорезов? Разве это не подтверждается тем, что наши дамы, когда их охраняет полк солдат, осмеливаются в дневное время ходить даже по окраинам города? Разве это не подтверждается тем, что хотя многие важные преступники преспокойно разгуливают на свободе, но стоит только какому-нибудь китайцу залезть в чужой курятник, как его в два счета засадят в катажку и имена полнsmенов, задержавших похитителя курницы, будут увековечены на столбах газет? Разве это не подтверждается тем, что полиsmены постоянно нацеху и так осторожны, что ни-когда ни один из нх не попал под колеса? А какие полиsmены сметливые, энергичные, подвижные! Взгляните на любого из нх, как он шествует по тротуару со скоростью один квартал в час, — от такого темпа у людей начинает рябнуть в глазах и делается нервное расстройство. А как аккуратно полиsmен носит форму! А какие у него нежные руки! Вы говорите, полиsmен не трудится? Не работает как вол? По-вашему, нет? А как он мило улыбается женщинам! Даже обеснsmев от своей напряженной деятельности, прислонится к фонарному столбу и все улыбается, улыбается, пока не упадет в обморок. Душки полиsmены! Душки они, правда? В поте лица они не трудятся, такого случая мы еще не видели, а если бы кто увидел, то, наверное, воскликнул бы: «Ах, этот несчастный умирает, ведь это же противоестественно!» Можете не беспокоиться, никто из нас еще не видел, чтобы полиsmен трудился в поте лица! Побойтесь, вот он стоит в своей ljubной позе на солнышке, прислонившись спиной к фонарному столбу, — спокойный, неторопливый, вполне довольный своей жизнью, почесывая ногой ногу. Кроткая душа? Пожалуй, все-таки нет!

Лишь я не имею никаких претензий к полиции, но, может быть, д-р Роуэл держится на этот счет иного мнения. Когда позавчера вечером лавочник Зили проломил череп несча-

стному бродяге, утащившему у него на семьдесят пять центов мешков из-под муки, полиsmен поволок вора в тюрьму и весьма добродушно запер его в камеру. Вы полагаете, что это было неправильно? По-моему, правильно. Не арестовывать же было лавочника Зили, не говорить же ему: «Полно, братец, ты заявляешь, что поймал этого неизвестного с полным у себя во дворе, а мы видим только одно: что ты размозил ему голову дубиной; так вот, посиди н ты за решеткой, пока мы не спросим противную сторону, — вдруг твои показания не подтвердятся? Твое же преступление доказано и карается по статье «Оскорбление действsmе». Чего ради поступила бы так полиция?! Ладно, не волнуешься, никто этого н не говорит!

Разве плохо, что полиsmены бросили полуживого человека в камеру, даже не позвав врача осмотреть его рану? Они просто считали, что это успеется и на следующий день, — если только бедняга протянет до следующего дня! Разве плохо, что тюремщик не стал тревожить искалеченного человека, когда два часа спустя обнаружил его без чувств? Зачем было будить арестованного — ведь он спал, а люди с проломленным черепом имеют обыкновенно так безмятежно спать! Разбудить заключенного было невозможно, но тюремщик не видел в этом повода для беспокойства. Чего тут было беспокоиться? В самом деле, чего? Арестант — чертов иммигрант, правом голоса не пользуется. Кроме того, ведь заявил же давеча про него джентльмен, что он украл какие-то мешки! Ага, украл! Значит, сам поставил себя вне общества и своим гнусным преступлением лишил себя права на христианское сострадание! Я в этом убежден. И полиция тоже. Поэтому хотя неизвестный и скончался в семь часов утра, после четырехчасового бодрящего сна в тюремной камере, с головой, «рассеченной на две половины, словно яблоко» (так зафиксировано протоколом вскрытия), но какого черта вы лезете обвинять полицию? Вечно вы суете нос куда не следует! Других дел у вас нет, что ли? Я уже с ног сбился, защищая полицию от разных нападок.

Мне хорошо известно, что наша полиция — воплощение добра, великодушия и гуманности. Только вчера мне напомнили, с ка-

ким блеском проявились эти ее качества в случае с капитаном Лизом. Лиз сломал себе ногу, и шеф полиции назначил Шилда, Уорда и еще двух полисменов ухаживать за капитаном, с материнской нежностью выполнять все его прихоти. Подумайте только, шеф дал капитану четверых самых сильных и работоспособных своих полисменов, в то время как другие, мелочные людишки сочли бы, что на худой конец хватило бы с Лиза и двоих. Да, шеф не покусился: он отправил в полное распоряжение больного всю четверку этих клоунов в полицейской форме. И это не так уж дорого обошлось городу Сан-Франциско: каких-нибудь пятьсот долларов, поскольку жалование полисмена в месяц сто двадцать пять долларов. А ведь находятся же люди, которые по злобе своей утверждают, что капитану Лизу не грех было бы самому раскошелиться и что если бы он лечился за собственный счет, то наверняка не стал бы тратить с такой легкостью по пятьсот долларов в месяц на сестер милосердия! Кстати: по слухам, городские власти завалены петициями от разных заинтересованных лиц об увеличении штатов полиции — как мере чрезвычайно необходимой. А между тем полицейское начальство не знает, куда девать своих новых подчиненных и, зачислив их на службу, мечется, высунув язык, изобретая для них разные занятия, вплоть до ухода за больными, лишь бы найти им дело. И вы, конечно, слышали всякие разговорчики о том, что городским властям надо бы завести отряд сестер милосердия и держать его наготове для несчастных случаев, дабы имущество граждан не оставалось без охраны, когда полисмены уходят дежурить у больных. Вы и представить себе не можете, как меня огорчают эти вечные нападки на нашу доблестную полицию! Ну, ничего, — я верю, что ей за все воздастся сторицей на том свете!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММОДОРУ ВАНДЕРБИЛЬТУ

Как болит мое сердце за вас, как мне вас жаль, коммодор!

Почти у каждого человека есть хотя бы небольшой круг друзей, преданности которых служит ему поддержкой и утешением в жизни. Вы же, по-видимому, — лишь кумир толпы низкопоклонников, жалких людишек, которые с наслаждением воспевают ваши самые вопиющие гнусности, или молитвенно славят ваше огромное богатство, или распиывают вашу частную жизнь, самые обыкновенные привычки, слова и поступки, как будто бы ваши миллионы придадут им значительность; эти друзья рукоплещут вашей сверхъестественной скредности с таким же восторгом, как и блестящим проявлением вашего коммерческого гения и смелости, а наряду с этим и самым беззаконным нарушениям коммерческой честности, ибо сии восторженные почитатели чужих долларов, должно быть, не видят различия между тем и другим и одина-

ково, снимая шляпы, поют «аллилуйя» всему, что бы вы ни сделали. Да, жаль мне вас! Жалости достойн всякий, у кого такие друзья. Вам, должно быть, стали ненавистны газеты. Мне кажется, вы не рискуете и заглядывать ни в одну — из опасения, что увидите до неприличия восторженных панегирик по поводу какого-либо вашего поступка, либо самого обыденного, либо такого, которого следовало бы стыдиться. Хотя мы с вами и незнакомы, искреннее сострадание к вам дает мне право так говорить. Скажите, вы когда-нибудь пытались трезво поразмыслить о репутации, которую создают вам газеты? Разобрались, из чего она создается? А это интересно, уверяю вас. Вот, например, в один прекрасный день кто-либо из ваших «подданных» посвящает два-три газетных столбца подробностям вашего «восхождения» от нищеты к богатству и, восторгаясь вами, как будто вы самое совершенное и прекрасное из всего, что создал бог, он, сам того не замечая, показывает, как безмерно низок должен быть человек, чтобы достигнуть того, чего достигли вы. Затем другой ваш подданный описывает, как вы катаетесь по парку: презрительный вид, опущенная голова... Вы не смотрите ни влево, ни вправо, не хотите порадовать тысячи людей, жаждущих удостоиться хотя бы одного вашего взгляда, и мчитесь вперед, бесшабашно пренебрегая всеми правилами езды. Все ваше поведение ясно говорит: «Пусть, никто не попадетсся мне на дороге, а если попадетсся и я его сшибу, изувечу — не важно, откуплюсь». И как же этот рассказчик столь умильных эпизодов пресмыкается перед вами, лежа в пыли у ваших ног, как славит вас, Вандербильт! Далее один из ваших людей помещает в газете длинную заметку, в которой описывается, как вы каким-то тайным, хитрым способом «обошли» людей, затеяв какую-то махинацию с акциями «Эри», и прибавили еще один грязный миллион к толстым пачкам своих банкнотов. И — заметьте! — этот писак только превозносит вашу ловкость; ни единого слова о том, что темные дела и столь высоким посту, как ваш, — опасный пример для подражающего поколения коммерсантов, более того — они убийственны для всего нашего народа, пока существуют такие пресмыкающиеся, как ваши поклонники, которые в печати ставят вам эти делишки в заслугу как величайшую добродетель. В «Харперс» один такой субъект рассказывает в качестве забавного анекдота, как одна дама держала пари на пару перчаток, что сумеет тронуть вас рассказом о нуждах благотворительного общества, которое организует благородные и самоотверженные люди для помощи несчастным, и тогда вы, расшедрившись, уделили ему кое-какие крохи от ваших несметных богатств. А вы дослушали до конца ее рассказ о нужде и страданиях — и что же? Вы дали этой даме один жалкий доллар (такой поступок уже сам по себе — оскорбление. Представьте, что с моей сестрой или вашей кто-нибудь поступил бы так!) и сказали: «Теперь можете объявить тому, с кем вы держа-

ли пари, что перчатки — ваши». Рассказав я печати этот анекдот, ваш верноподданный покатывается со смеху — такой забавной кажется ему мысль, что вы способны поддаться угворам чувствительного адвоката в юбке и мужественно уделить от своих щедрот целый доллар в помощь хотя бы единому существу под солнцем. Вот какие у вас преданные друзья, Вандербильт! От одного из них мы узнали, например, что когда вам принадлежали пароходы Калифорнийской линии, вы приказывали кассирам составлять фальшивые списки пассажиров, фактически же перевозили на несколько сот человек больше, чем разрешается законом. Так вы нарушали законы нашей страны и подвергали опасности жизнь пассажиров, до отказа набивая людьми пароходы, которым предстоял долгий путь по тропическим морям в страшную жару и под угрозой эпидемии на борту. И, разумеется, ваш друг журналист отдал дань восхищения столь замечательной ловкости! А я помню, как ругали и проклинали вас жертвы вашей алчности, пассажиры, добравшиеся до Панамского перешейка, в особенности женщины и девушки, которым всю дорогу приходилось спать на палубах вповалку, бок о бок с какими-то мужчинами, подонками общества, которые, если верить бедным женщинам, лежали даже рядом с ними на койках. И можете мне поверить, о великий Вандербильт, — вы, кого воспевают и кому завидуют, — что в Калифорнии не было человека, который усомнился бы в их словах. Женщины эти нам с вами чужие, но если бы было иначе, мы были бы возмущены и скандализированы таким обращением с ними, не правда ли? Чтобы правильно судить о таких фактах, давайте попробуем себе представить, что на месте этих пассажиров — наши родственницы или любимые женщины, тогда уж нам будет не до смеха и кровь наша закипит от негодования. Такто, мой милый коммодор!

Восхищенные почитатели рассказывают про вас и другие истории, но умолчим о них, они вас только позорят. Они ясно показывают, как опасно человеку богатство, как он мелчает, если деньги для него — не слуги, а божество. Да, ваши подвиги свидетельствуют, каким бездушиным делает человека богатство, — вспомним хотя бы прелестную историю о том, как один молодой адвокат потребовал с вас за какие-то услуги пятьсот долларов, а вы нашли, что это слишком много. И вот вы пустили в ход хитрый трюк: завоевав доверие молодого человека, убедили его занять деньги и вложить их в акции «Эри», которые, как вы заведомо знали, в то время падали. Адвокат попал в расставленную вами западню, стал нищим, а вы были отомщены и злорадствовали. Почитатели ваши, конечно, не преминули огласить этот случай в печати, превозносили до небес вашу изобретательность.

Ну, пожалуй, будет приводить примеры! Не помню, чтобы я хоть раз прочел о вас что-нибудь такое, чего вы не должны были бы стыдиться.

Сейчас я хочу настойчиво посоветовать вам лишь одно: преодолите свои врожденные инстинкты и сделайте что-нибудь действительно похвальное, чтобы поступок этот не заставил вас краснеть, когда вы прочтете о нем в печати. Сделайте что-нибудь такое, что может пробудить искру благородства в сердцах ваших почитателей. Хотя один-единственный раз подайте добрый пример тысячам молодых людей, которые до сих пор стремились с вами соревноваться только в энергии и неутомимости. Пусть в мусоре ваших дел сверкнет хотя бы единая крупинка чистого золота. Сделайте это, молю вас, иначе среди нас — не дай бог! — скоро появятся пятьсот новых Вандербильтов, следующих по вашему пути. Прошу вас, решайтесь, совершите хоть один достойный поступок. Наберитесь духу — и великодушно, благородно, смело пожертвуйте четыре доллара на какое-нибудь большое благотворительное дело. Знаю, это разобьет вам сердце. Ну да ничего, все равно вам жить осталось недолго, и лучше умереть скоропостижно от порыва благородства, чем жить еще сто лет, оставаясь тем же Вандербилтом. Послушайтесь же меня, и, честное слово, я тоже начну петь вам дифирамбы.

Бедный Вандербильт! Мне, право, жаль вас, честное слово! Вы — старый человек, и пора бы вам уйти на покой. А вам приходится лезть из кожи, лишать себя спокойного сна и мира душевного, отказываться от многого в вечной погоне за деньгами. Я всегда сочувствую таким беднякам, как вы, которых заездили их «нищета». Поймите меня правильно, Вандербильт. Мне известно, что у вас семьдесят миллионов. Но мы с вами знаем, что человек богат не тогда, когда у него большие деньги, а когда ему этих денег достаточно. А пока он жаждет увеличить свой капитал, он еще не богат. Будь у него даже семьдесят раз семьдесят миллионов, они еще не делают его богатым, пока он томится жаждой накопить больше. Моех средств только-только хватило бы, вероятно, на покупку самой плохой лошади с вашей конюшни, но я могу сказать, положу руку на сердце, что больше одной лошади мне не нужно. Значит, я богат. А вы! У вас есть семьдесят миллионов, но вам непременно нужно пятьсот, и вы из-за этого искренне страдаете. Такая нищета просто ужасает. Честно вам говорю, вряд ли я мог бы прожить и сутки под тяжким бременем презренной жажды добыть еще четыреста тридцать миллионов. Это убilo бы меня. Ваша злополучная нищета так меня удручает, что, встретив вас сейчас, я охотно бросил бы в вашу жестянку десять центов и сказал бы: «Да смилуется над вами господь, горемыка вы несчастный!»

Прошу вас, Вандербильт, не сердитесь на меня. Уверю вас, я все это говорю, желая вам добра, и слова мои искреннее, чем все, что до сих пор говорилось вам и о вас. Так что давайте-ка сделайте что-нибудь такое, чего не пришлось бы стыдиться! Сделайте нечто подобающее обладателю семидесяти миллионов, человеку, чьи самые незначительные

поступки запоминаются людьми более молодыми во всей стране и служат примером для подражания. Не обольщайтесь мыслью, будто все, что вы делаете и говорите, замечательно, но верьте словам, которые без конца твердят это в газетах. Не обманывайте себя. Очень часто ваш иден по существу вовсе не блестящий, они попросту сняют отраженным блеском ваших семидесяти миллионов. Подумайте об этом на досуге. Вам подражает вся наша молодежь. Я тоже пробовал подражать вам и стать знаменитым. Но мои подвиги не привлекли ничьего внимания. Однажды я дал нищей калек два цента и шутливо посоветовал ей пойти в отель «Пятая авеню» и прожить там на эти деньги целую неделю. Но про мою выходку нигде не писали. А если бы так поступили вы, все стали бы кричать, что это самая остроумная шутка на свете. Ибо вам, Вандербильт, можно изрекать неслыханные пошлости — в газетах их тут же объявят образцом мудрости и остроумия. А вот недавно я говорил в Чикаго о своем плане откупить железную дорогу «Юнион-Пасифик» до самых Скалистых гор и эксплуатировать ее самостоятельно, на свой риск. Столь замечательная идея, столь смелый проект не рождались даже в вашем хваленном мозгу, — а вы звали они сенсацией в газетах? Ничуть не бывало. Зато если бы это придумали вы, во всем газетном мире поднялась бы буря восторгов. Нет, сэр, другие люди не уступают вам в блеске идей и речей, но им не хватает ореола семидесяти миллионов. Так что не верьте хору похвал. Большая часть их относится не к вам, а к вашим миллионам. Говорю это, чтобы предостеречь вас против суетного тщеславия, и нездорового и беспочвенного: ибо если бы вы лишились своих миллионов, вы с удивлением и горечью убедились бы, что отныне все ваши слова и дела будут казаться банальными, ничем не замечательными.

Заметьте, я ничего не говорю о вашей душе, Вандербильт. Не говорю, ибо у меня есть все основания думать, что души у вас нет. Никто меня не сможет убедить, что человек с вашей беспримерной коммерческой сметкой, если бы у него была душа, упустил бы такую сверхвыгодную сделку с господом богом: ведь вы могли бы обеспечить себе миллионы лет покоя, мира и блаженства в раю ценой такого пустяка, как десяток лет, безгрешно прожитых на земле! А вам вряд ли осталось жить больше какого-нибудь десятка лет — ведь вы глубокий старик...

Впрочем, быть может, душа у вас все-таки есть. Но знаю я вас, Вандербильт, отлично знаю: вы попытаетесь торговаться, купить спасенные души подешевле. Миллионы лет райского блаженства вас, конечно, прельщают, и вы готовы пойти на эту сделку — еще бы, такая дивная перспектива! Но вы будете выжидать, тянуть до своего смертного часа и тогда предложите за нее то, что у вас осталось, — один час и сорок минут. Знаю я вас, Вандербильт! Впрочем, так поступают и люди похуже вас. Преступники, которых ждет виселица, всегда

в последнюю минуту посылают за священником.

Поверьте, Вандербильт, я говорю все это ради вашего же блага, а вовсе не для того, чтобы вас позлить. Право, вы ведете себя не умнее, чем Асторы. Впрочем, лучше быть подлецом, но живым человеком, чем палкой, даже если эта палка с золотым набалдашником.

Ну вот, я свою задачу выполнил. Я хотел вас расшевелить и привести в хорошее настроение. Ведь вам, наверно, иногда до тошноты надоедает приторная лесть и подхалимство, и вы для разнообразия не прочь услышать честную критику, даже брань. Еще одно скажу вам на прощанье: вы, стоящий во главе финансовой аристократии Америки, наверно испытываете порой смутную потребность свершить что-нибудь замечательное, подвиг коммерческой чести, гуманистический, мужества, чести и достоинства, — подвиг, который сразу прославит вас во всей стране, и через сто лет после вашей смерти матери все еще будут твердить о нем своим юным и честолюбивым сыновьям. Думаю, что у вас бывают такие минуты, — ведь это вполне естественно, — и потому горячо совету вам превратить эту мысль в действие. Решайтесь, удивите всю страну каким-нибудь добрым делом. Перестаньте совершать поступки и говорить слова, недостойные человека и крайне ничтожные, слова и поступки, которые ваши друзья восхваляются в печати. Умните этих подхалимов или удавите их.

Ваш *Марк Твен*.

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

Студенты первого курса, изучающие новейшую Моральную философию, встают и читают нараспев:

Какова главная цель человеческой жизни?

Ответ. Стать богатым.

Каким путем?

Ответ. Нечестным, если удастся; честным, если нельзя иначе.

Кто есть бог, истинный и единый?

Ответ. Деньги — вот бог. Золото, банкноты, акции, — бог отец, бог сын, бог дух святой, единый в трех лицах; господь истинный, единый, всевышний, всемогущий, а Уильям Туид — пророк его.

Назовите имена двенадцати апостолов.

Ответ. Святой Осел — Жеребец Холл, на котором пророк въехал в Иерусалим; святой Коноллн — любящий из апостолов; святой Матвей Кариохен, восседающий у приема пошлин; святой Петр Фиск — апостол-вонпель; святой Павел Гулд, бичеванный не раз и славный своими рубцами; святой Уайнненс Искарнот; святой Яков Вандербильт — вдо-сталь чтнмый апостол; святой Харвн — благовзятель; святой Ингерсол, поставщик священных ковров; святая Нью-Йоркская типо-

графская компания, смиренная и кроткая (правая рука ее не ведает, что ханила левая); святой Петр ХOFFман, отрешившийся от своего ирландского учителя, после того как петух общественного мнения пропел шесть или семь раз; святой Барнард — судья премудрый, издающий в годину бедствий специальные судебные определения, дабы спасти душу ближних своих.

Как достичь главной цели человеческой жизни?

Ответ. Поставляйте воображаемые ковры судебным учреждениям и мифические стулья арсеналам; выполняйте невидимые типографские заказы для городского управления.

А что еще можно делать?

Ответ. Да мало ли что. Подкупите за сходящую цену таможенного апостола; сдирайте три шкуры за разгрузку судов; грабьте иммигрантов, прибывающих из-за моря; отведите для бедняков казенное кладбище за десять миль от города и берите за перевоз покойников по сорок долларов с головы; сделайте экспертом по проверке качества стальных конструкций на строительстве; поставьте свинцовые и железные газовые трубы для судебных учреждений, сочиняйте такие счета, как если бы трубы были серебряными и золотыми и сплошь усыпаны бриллиантами; приводите в порядок городские скверы по цене пять долларов за квадратный дюйм; за приличное жалование валайдитесь возле кабака и делайте при этом вид, что вы трудитесь не покладая рук на благо обществу.

Все ли это? А если нет, что еще может сделать человек, чтобы спасти душу свою?

Ответ. Составьте счет на следуемые вам деньги, впишите в него десятикратную сумму, а получив ее, вручите девять десятых пророку и святому семейству. Тогда спасетесь.

Чьему примеру учили юношей в былые дни, кого считали образцом для подражания?

Ответ. Вашингтона и Фрайклина.

Кому учат следовать и подражать сейчас, в наше просвещенное время?

Ответ. Туиду, Холлу, Конолли, Карнохэну, Фиску, Гулду, Барнард и Уайнису.

Какие произведения рекомендовались особенно горячо в былые дни для воспитания юношества?

Ответ. «Альманах простака Ричарда», «Путь паломника» и Декларация независимости.

Какие произведения рекомендуются особенно горячо для изучения в воскресных школах в наше просвещенное время?

Ответ. Святой Холл — «Подложные отчеты», святой Фиск — «Искусство грабежа», святой Карнохэн — «Путь к взятке», святой Гулд — «Как обирать акционеров», святой Барнард — «Специальные судебные определения», святой Туид — «Курс

морали» и одобренное судом издание «Великого крестового похода сорока разбойников».

Значит ли это, что мы движемся по пути прогресса?

Ответ. Будьте уверены!

С совершенным почтением *Марк Твен.*

РАЗНУЗАННОСТЬ ПЕЧАТИ

...Печать столько насмехалась над религией, что высмеивание это вошло в обычай. Под флагом защиты партийных интересов печать так рьяно выражает преступников, занимающих официальные посты, что она сделала сенат Соединенных Штатов нравственно слепым, — его члены не способны понимать, что такое преступление и что такое честь сената. Печать так беззаботно относится к нечестным поступкам, что господа конгрессмены, подрадавшись служить стране за определенную плату, спокойно заходят в государственный карман, ища для себя дополнительного вознаграждения, и бывают удивлены и обижены, когда кто-нибудь поднимает шум из-за таких пустяков.

Я утверждаю, что вину за это безобразное положение несут газеты, — если не целиком, то все же в значительной степени. У нас свободная печать, даже более чем свободная, — это печать, которой разрешено обливать грязью неугодных ей общественных деятелей и частных лиц и отстаивать самые чудовищные взгляды. Она ничем не связана. Общественное мнение, которое должно бы удерживать ее в рамках, печать сумела извести до своего презренного уровня. Существуют законы, охраняющие свободу печати, но, по сути дела, нет ни одного закона, который охранял бы граждан от печати! Человек, решившийся пожаловаться в суд на клевету в прессе, еще до начала законного разбора дела оказывается один на один со всевластным газетным судищем и становится объектом самых наглых издевательств и оскорблений. В Англии обидчивый Чарльз Рид может судиться с газетами и добиваясь решения в свою пользу, у нас в Америке он живо изменил бы тактику: газеты (при поддержке своих выучеников-читателей) быстро вунзлись бы ему, что уж лучше стерпеть любую клевету, нежели жаловаться на них в суд и становиться всеобщим посмешищем.

Мне кажется, что нравственность в Соединенных Штатах падает в той же пропорции, в какой растет число газет. Чем больше газет — тем хуже нравы. Я считаю, что на одну газету, приносящую пользу, приходится пятьдесят, приносящих вред. Когда в каком-нибудь добropорядочном городишке учреждается газета, мы должны это воспринимать как катастрофу.

За последние тридцать — сорок лет в тоне и поведении печати произошли весьма существенные и печальные перемены (я имею в

виду рядовую газету, потому что отдельные скверные образцы существовали и в прежние времена). Раньше рядовая газета выступала как поборник добра и нравственности и старалась придерживаться правды. Не то теперь. На днях одна солидная нью-йоркская газета напечатала передовую статью, в которой оправдывала казнокрадство на том основании, что членам конгресса мало платят, — как будто это оправдание для воровства. Несомненно, многие медлолюбые читатели вполне удовлетворились таким новым освещением вопроса. Зато мыслящие люди относятся к нашим «фабрикам лжи» иначе. Для них утверждение: «Раз прочел в газете, значит правда» — давно уже звучит саркастически. Но, к сожалению, люди не думающие, которые составляют подавляющее большинство нашего, как и всех прочих народов, верят газетам и поддаются их влиянию. Вот где корень зла!

В современном обществе печать — это колоссальная сила. Она может и создать и испортить репутацию любому человеку. Ничто не мешает ей назвать лучшего из граждан мошенником и вором и погубить его навеки. Лгал лн м-р Колфакс, или говорил правду, теперь уже невозможно выяснить, но он до самой своей смерти проходил с ярлыком враля, — ибо таков был приговор газет. Наши газеты — решительно все без исключения — славят «Черного плута», раздувая его успех. А ведь они легко могли бы убить его одним залпом презрительного молчания! Власти допускают процветание таких листков, как «Промещения за день» или «Полицейская газета», потому что наша *искописто-красивая* печать давно развратила читателей, приучила и их любить неспристойности, сделала равнодушными к беззаконию.

В газетах западных штатов охотно напечатать *редакционную статью*, выражающую самые гнусные, вредные взгляды, — стоит только заплатить владельцу по доллару за строчку.

Почти все газеты оказывают поддержку преступникам вроде Розенсвига и, публикуя их платные объявления, помогают им находить новые жертвы. Ни для кого из нас это не секрет.

Во время суда над убийцей Фостера нью-йоркские газеты делали вид, будто они за губернатора и просят читателей поддерживать его намерение действовать строго по закону; но они напечатали целую страницу тошнотворных плаксивых просьб помиловать убийцу — в качестве платного объявления. И я полагаю, они напечатали бы кучу клеветы на губернатора, чтобы парализовать всю его дальнейшую деятельность на этом посту, если бы только явился кто-нибудь и заплатил им — как за объявление. Газета, которая ради денег мешает совершаться правосудию, представляет серьезную угрозу для благополучия граждан.

Общественное мнение нации — эта грозная сила — создается в Америке бандой малограмотных, самодовольных невежд, которые

не сумели заработать себе на хлеб лопатой или сапожной иглой и в журналистику попали случайно, по пути в дом призрения. Я лично знаком с сотнями журналистов и знаю, что суждения большинства из них в частной беседе не стоят выеденного яйца. Но когда один из таких господ выступает на страницах газеты, тогда уже говорит не он, а печать, и писк пророка уже не писк, а громоподобный глас пророка.

По собственному опыту я знаю, что журналисты склонны ко лжи. Несколько лет тому назад я сам ввел на Тихоокеанском побережье особый и весьма живописный вид вранья, и он до сих пор не выродился там. Когда я читаю в газетах, что в Калифорнии прошел кровавый дождь и с неба падали лягушки, когда мне попадает сообщение о найденной в пустыне морской змее или о пещере, утыканной алмазами и изумрудами (и обязательно обнаруженной индейцем, который умер, не успев досказать, где эта пещера находится), то я говорю себе: «Ты породил эти детище, ты и отвечаешь за газетные небылицы». Привычка — вторая натура: мне по сей день приходится все время следить за собой, чтобы не отклоняться от правды.

Каждый из нас рано или поздно несомненно почувствовал на собственной шкуре, что значит развращенность печати. Бедный Стилли считался в Англии чуть ли не богом, хвала ему звучала повсюду. Но никто не говорил о его лекциях — люди деликатно воздерживались от этого, считая, что отмечают более важные его достоинства. А наши газеты разорвали несчастного на куски, разбросав его останки от Мэна до Калифорнии, — и все лишь потому, что Стилли оказался неважным оратором. Насмарку пошел его громадный труд в Африке, авторитет его распотан и уничтожен, и до сих пор дурная слава гонится за ним из города в город, из деревни в деревню, словно Стилли совершил какое-то страшное, кровавое преступление. Брет Гарт жил в безвестности, пока газеты не открыли его и не вознесли до небес, — все редакторы Америки выбегали в любую погоду за дверь — рассматривать в телескопы новоявленное светило и махали ему шляпами, пока шляпы не превращались в клочья и не приходилось занимать головные уборы у знакомых. Но вот в семье Брет Гарта кто-то заболел; встревоженный и расстроенный, он написал вместо очередного рассказа о язычнике-китайце довольно слабую статью, — и сразу же бывшие поклонники возопили: «Да ведь он мошенник!» — и набросились на Брет Гарта. Его стащили на землю, топтали ногами, таскали по грязи, мазали дегтем и вываливали в перьях, сделали мишенью, и до сих пор в него летят комья грязи. В результате Брет Гарт прочел только двенадцать лекций за целый год и выступал при почти пустых аудиториях; слушателей было так мало, и они сидели так далеко друг от друга, что ни одно слово не долетало до двух человек в одно и то же время. Брет Гарт сражен, больше ему не податься. А ведь он человек большого дарова-

ния и мог бы многое сделать и для нашей литературы и для себя, если бы ему больше повезло. Впрочем, сам Брет Гарт дал маху, оказав денежную услугу одному голодавшему прощелыге из нашей братии, этакому журналисту из сапожников, — а тот, вернувшись в Сан-Франциско, поторопился опубликовать в газете разоблачительную статью на целых четыре столбца о преступлениях своего благодетеля, заставляющую краснеть каждого порядочного человека. Газета, поместившая эту мерзость, явно злоупотребила предоставленной ей свободой.

В одном городе в штате Мичиган я отказался сесть за стол с редактором местной газеты, который был пьян: в статье о моей лекции этот редактор назвал ее вульгарной, непристойной и поощряющей пьянство. А ведь он даже не был на моей лекции! Кто знает, если бы он ее прослушал, то, возможно, бросил бы пить.

В Дейтройте одна газета утверждала, что я развлечения ради систематически избиваю свою жену и уже так ее искалечил, что она не в силах прятаться, когда я в обычном своем неизменном состоянии вваливаюсь в дом. Разрешите вам сказать, что добрая половина этого сообщения — чистейший вымысел! Я мог бы, конечно, подать в суд за клевету, но я уже научен горьким опытом! Если бы я затеял дело, то все американские газеты — за считанными достойными исключениями — весьма обрадовались бы известию о том, что я истязую жену, и довели бы эту новость во всех подробностях до сведения читателей.

Не стоило бы в этом признаваться, но я и сам печатал злостные клеветнические статьи о разных людях и давно заслужил, чтобы меня за это повесили.

На этом я заканчиваю. В общем, я считаю, что наша печать взяла себе слишком много воли. Не ощущая здорового сдерживающего влияния, газеты превратились буквально в *проклятие* Америки и того гляди погубят страну.

Есть у газет и кое-какие прекрасные качества, есть силы, оказывающие громадное положительное воздействие; я мог бы перечислить их и расхвалить их вовсе, но тогда вам, джентльмены, уж вовсе нечего будет сказать.

ПИСЬМА С САНДВИЧЕВЫХ ОСТРОВОВ

ОБРАЗЧИК МИНИСТРА

«Министры его величества» — явление диковинное. Это белые люди различных национальностей, которые в отдаленные времена попали на Сандвичевы острова и осели там. Я покажу вам один образчик, — впрочем, не самый приятный. Это мистер Гаррис.

Гаррис — американец; длинноногий, самодовольный, пустоголовый провинциальный адвокат из Нью-Гемпшира. Если бы его мозги были развиты в такой же степени, как его ноги, он затмил бы мудростью царя Соломона; если бы его скромность равнялась его знаниям, фиалка рядом с ним выглядела бы гордячкой; если бы его ученость равнялась его тщеславию, сам Гумбольдт при сопоставлении показался бы таким же темным, как нижняя сторона могильной плиты; если бы размеры его тела соответствовали размеру его совести, Гарриса изучали бы под микроскопом; если бы его мысли были так же грандиозны, как его слова, нам понадобилось бы три месяца, чтобы обойти кругом одну такую мысль; если бы публика подрядилась выслушать до конца его речь, все слушатели умерли бы от старости, а если бы ему позволили говорить до тех пор, куда он не скажет что-нибудь путное, он простоял бы на задних ногах до трубного гласа в день Страшного суда. И у него хватило бы нахальства выждать, пока успокоится волнение, и затем продолжать свою речь.

Вот что представляет (или представлял) собой его превосходительство м-р Гаррис, министр того и этого, пятого и десятого, — ведь он занимался всем понемногу, оставаясь всегда неизменно верным и послушным слугой короля, его ярым приверженцем, его рупором и верным защитником. Когда задавали какой-нибудь вопрос в парламенте (безразлично какой!), Гаррис вскакивал с места и начинал молотить в воздухе своими цепями, он бушевал и становился на дыбы, громыхал пустыми словами, считая это красноречием, изрыгал желчь, воображая, что это юмор, и делал разные гримасы, долженствующие, по его мысли, придавать комическое выражение его физиономии — типичной физиономии гробовщика.

Прибыв на Сандвичевы острова, Гаррис начал свою деятельность в качестве мелкого, безвестного адвоката и поднялся (?) до ранга такого многогранного вельможи, что некоторые насмешники дали ему кличку «Рычач правительства». Он стал великаном в стране пигмеев — в других странах из людей такого калибра выходят полицейские и участковые следователи. Я не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто я предубежден против Гарриса; надеюсь, никто этого и не подумает. Но я должен быть честным летописцем, а посему обязан раскрыть правду: то, что издала напоминает памятник Джорджу Вашингтону, в действительности, когда подойдешь поближе, оказывается не чем иным, как тридцатидолларовой ветряной мельницей.

Гаррис любит заявлять, что он уже больше не американец, и гордится этим; что он стал островитянином до мозга костей, и этим тоже гордится; что он верноподданный слуга своего повелителя — короля, и это также исполняет его гордости и признательности.

ПОЧЕМУ НАМ СЛЕДУЕТ АНИКСИРОВАТЬ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА

Итак, давайте аниксируем эти острова! Подумайте, как мы могли бы поставить там китобойный промысел! (Впрочем, при наших судебных порядках и наших судьях китобойные флотилии чего доброго скоро перестанут заходить в гавайские порты — из боязни, что разные моряки и крючковоры-стряпчие будут обирать и обшипывать их, как, например, Сан-Франциско, который капитаны теперь обходят стороной, словно мель или рифы.) Давайте осуществим аниксию! Мы смогли бы, вероятно, вырабатывать там столько сахара, что его хватило бы на всю Америку, и цены снизились бы с отсечной пошлин. Мы получили бы отличные гавайи для наших тихоокеанских пароходов и удобно расположенные базы снабжения для военного флота; мы могли бы разводить там хлопок и кофе: раз не будет пошлин, дело это должно оказаться выгодным и дать немалые барыши. Кроме того, мы стали бы владельцами самого мощного вулкана в мире — Килауа; его можно бы передать в ведение Барнума, — он у нас теперь мастер на фейерверки! Непременно осуществим эту аниксию! Что касается принца Билла и остальной знати, то их нетрудно усмирить: переселим их в резервацию! Что может быть приятнее для дикаря, чем резервация? Соберите себе каждое лето урожай кукурузы да выменяйте биббли и одеяла на порох и виски — дивная жизнь, Аркадия под охраной солдат! Благодаря аниксин мы по дешевке получили бы пятьдесят тысяч туземцев с их нравственностью и прочими недугами в придачу. Никаких расходов на образование — они уже образованные; никаких забот по обращению их в христианство — они уже крещеные; даже на одежду не придется тратить — по весьма очевидной причине.

Мы должны аниксировать Сандвичевы острова. Мы можем осласливать островитян нашим мудрым, благотельным правлением. Мы можем завести у них новинку — воров, от мелких карманных воршек до важных птиц в муниципалитетах и растратчиков государственных денег, — и показать им, как это забавно, когда таких людей арестовывают, предают суду, а потом отпускают на все четыре стороны — кого за деньги, кого в силу «политических связей». Им придется краснеть за свое простое, примитивное правосудие. Мы можем отменить у них смертную казнь за убийство, к которой они изредка прибегают, и пошлем к ним нашего судью Прэтта, чтобы он передал им свой опыт сохранения на благо общества попавших в беду убийц Авери. Мы можем одолжить им парочку Барнардов, чтобы вытаскивать из затрудений их финансовые корпорации. Мы можем образовать там суд присяжных, набрав заседателей сплошь из самых умнительно-простодушных тупиц. Мы можем учредить у них железнодорожные компании, которые будут скупать законодательные учреждения, как старое платье, и давать колесами поездов лучших местных гражд-

дан, а потом жаловаться, что убитые пачкают рельсы. Вместо безвредного, пустоголового Гарриса мы отдадим островитянам Туида. Мы подарим им Конолли, одолжим Суини, командирем туда Джей Гулдов, которые быстро отучат островитян от старомодного пред-рассудка, будто воровство неблагоприятное занятие. Окажем им честь, пошлем в их распоряжение Вудмила и Клапина. И Джорджа Френсиса Трэна за компанию. И разных лекторов. Я сам первый поеду!

Мы можем превратить эту группу сонных островов в оживленнейший уголок земного шара, украсить его нравственным величием нашей превосходной, священной цивилизации. Аниксия — вот что необходимо бедным островитянам! «Братьям, во мрак погруженным, откажем ли в светоче жизни?»

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ «ДЕЙЛИ ГРАФИК»

«Хартфорд, 17 апреля

Сэр!

Вашу записку получил. Если две строчки, которые я вырезал из нее и прилагаю при сем, написаны вашей рукой, то вы, как я понимаю, просите «от имени американского народа написать прощальное послание». Помилуйте! Радость американского народа насколько преждевременна: я еще не ушел. А даже когда уеду, то ведь не навсегда!

Да, это правда. Я собираюсь пробыть за границей не больше полугода. Я люблю темп и движение, и как только раздадутся первые, трели птиц, повеет весенний ветерок и зацветут первые цветы, как только я почувствую угрозу летней бездельности, томной задумчивости, тягучей истомы, я теряю покой, мне не сидится на месте, мне хочется бежать куда-нибудь, где жизнь бьет ключом. Вы меня, конечно, понимаете, наверно, и вам знакомо это! Как раз сегодня я уловил в воздухе первые признаки зстоя и сказал себе: «Какое счастье, что я уже заказал билеты на паром, который увезет меня отсюда вместе со всеми моими чадами и домочадцами!» В сегодняшних утренних газетах совершенно ничего читать. Посмотрите на заголовки телеграфных сообщений:

ЦВЕТНОЙ КОНГРЕССМЕН В ОПАСНОСТИ.
ВОЛНЕНИЕ В ОЛБАНИ.

ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

ПАНИКА НА УОЛЛ-СТРИТ.

ДВА БАНКРОТСТВА. УЧЕТНАЯ СТАВКА

ВЫРОСЛА В ПОЛТОРА РАЗА.

ДВА УГОЛОВНЫХ ПРОЦЕССА.

АРЕСТОВАН ЗА ГРАБЕЖ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ.

НАПАДЕНИЕ НА ИНКАССАТОРА ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ.

АРЕСТОВАН ЗАБАСОВЩИК ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ.

ЖИЗНЬ КОРОЛЯ, ПОДВЕРГШЕГОСЯ НАПАДЕНИЮ, В ОПАСНОСТИ.

ЖЕНОУБИЙЦА ЛУЗИНЬЯНИ ПРИГОВОРЕН К ПОВЕШЕНИЮ.

ДВА ЧЕЛОВЕКА, ПОКУШАВШИЕСЯ НА УБИЙСТВО, ПРИГОВОРЕННЫ К ПОВЕШЕНИЮ.

РАЗЖИГАНИЕ ВРАЖДЫ В БАПТИСТСКОЙ
ОБЩИНЕ.
РОКОВАЯ ОШИБКА.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОЛОТНО СМЫТО НАВОД-
НЕНИЕМ.
УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ КУ-КЛУКС-КЛАНОМ.
ПОТРЯСАЮЩЕЕ БЕДСТВИЕ!
ПЯТЕРО ДЕТЕЙ ПОГРЕБЕНО ПОД РУХНУВШЕЙ
ТРУБОЙ; ДВОЕ УМЕРЛИ.
РЕЗНЯ В МОДОКЕ.
РИДЛД ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ.
СЫН УБИЛ ОТЦА.
КРОВАВАЯ ДРАКА В КЕНТУККИ.
ВОСЬМИЛЕТНИЙ УБИЙЦА.
КЛАДБИЩЕ РАЗМЫТО, ГРОБЫ ВСПЛЫЛИ.
РЕЗНЯ В ЛУИЗИАНЕ.
ПОДЖОГ ЗДАНИЯ СУДА. ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГ-
СТВУ ЗАСТРЕЛЕНЫ НЕГРЫ.
ДВЕСТИ ИЛИ ТРИСТА ЧЕЛОВЕК СГОРЕЛИ
ЗАЖИВО!
ПОТАСОВКА В ИНДИАНЕ.
ГОРОД БУНТУЕТ.
ГРУППА ШАХТЕРОВ ОСАЖДЕНА В ГОСТИНИЦЕ.
ИЗ ИНДИАНОПОЛИСА ВЫЗВАНЫ ВОЙСКА И
ПОЛИЦИЯ.
ОЖИДАЮТСЯ КРОВАВЫЕ СОБЫТИЯ.
ЛИДЕРЫ АМАЗОНК НЕИСТОВСТВУЮТ.
УЖАСНАЯ ИСТОРИЯ.
НЕГР-НАСИЛЬНИК.
СТРАШНАЯ МЕСТЬ ЗА ТЯЖЕЛОРАНЕННУЮ ЖЕН-
ЩИНУ.
ГРУП ПРОБЫЛ 24 ЧАСА В ОГНЕ И ИЗРЕЗАН НА
МЕЛКИЕ КУСКИ

Все сообщения под этими «шапками» да-
тированы вчерашним числом — 16 апреля
(см. вашу газету!), и, поверьте честному сло-
ву, эти самые обыкновенные случаи выдаются
за новости! «Ох, — подумал я, — так ведь
померешь со скуки! Похоже, что нигде ничего
не происходит. Заснула, что ли, наша передо-
вая нация? Неужели я должен еще целый ме-
сяц сосать лапу, прежде чем заживу интерес-
ной жизнью европейской столицы?»

Но ничего, покада я буду в отъезде, здесь
еще может наступить кое-какое оживление.

Вот уже два месяца, как мой ближайший
сосед Чарльз Дадли Уорнер забросил свои
занятия стариной, и мы написали вместе с
ним объемистый роман. Сюжет сочинил он, я
же наполнил его фактами. По-моему, это са-
мый изумительный роман на свете. Каждый
вечер я просиживаю за ним допоздна, читаю
и перечитываю и заливаюсь слезами. Он бу-
дет напечатан в начале осени с большим ко-
личеством иллюстраций. По-вашему, это рек-
лама? Да? А вы требуете за это деньги, если
человек — ваш друг и к тому же сирота?

Изнемогающий от торжественной тишины,
всеобщего зстоя и глубокого сна, в который
погрузилась наша страна,
преданный вам,

*Сэмюэл Клеменс
(Марк Твен).*

ПОСЛАНИЕ ОРДЕНУ «РЫЦАРЕЙ СВЯТОГО ПАТРИКА»

«Глубоко сожалею, что не могу присутст-
вовать завтра вечером на банкете «Рыцарей
святого Патрика». В этом году, когда отме-

чается столетие существования Соединенных
Штатов, нам должно быть особенно приятно
почтить память человека, чье доброе имя жи-
вет уже четырнадцать веков. Нам это долж-
но быть приятно потому, что в дни юбилея
мы, естественно, вспоминаем о святом Патри-
ке с большой симпатией. В свое время он
проделал колоссальную работу. Он застал
Ирландию богатой республикой и принялся
думать, к чему с наибольшей пользой прило-
жить свои силы. Он заметил, что президент
республики имеет привычку укрывать госу-
дарственных деятелей от заслуженных нака-
заний, и так отколотил президента своим по-
сохом, что тот умер. Он узнал, что военный
министр живет так экономно, что сумел за год
скопить двенадцать тысяч долларов при жа-
лованье в восемь тысяч, — и убил его. Он уз-
нал, что министр внутренних дел всегда при-
читает над каждой бочкой солонины, пред-
назначенной для отправки дикарям, а потом
присваивает эту солонину себе, — и уколошил
этого министра тоже. Он узнал, что морской
министр больше занят разными подозритель-
ными исками, чем вопросами мореходства, —
и тут же прикончил этого министра. Он узнал,
что при помощи одного гнусного типа, состо-
явшего личным секретарем при какой-то пер-
соне, был разыгран жульнический судебный
процесс, — и уничтожил этого личного секре-
таря. Он выяснил, что конгресс, прикидываясь
сверхдобродетельным, рвется начать рассле-
дование деятельности одного посланника, за-
пятнавшего честь своего государства за гра-
ницей, но этот же конгресс столь же рьяно
препятствует назначению на подобный пост
любого человека с незапятнанной репутацией;
что у этого конгресса нет другого бога, кро-
ме политической партии, и нет других прин-
ципов, кроме партийного политиканства; что
кругозор его узок, и вообще непонятно и не-
оправданно само его существование. По-
этому он перебил всех членов конгресса до
единого.

Завершив эту колоссальную работу,
он изрек на своем образном языке: «Вот, смот-
рите, я истребил всех змей в Ирландии!»

Святой Патрик не участвовал в политике:
он стоял за правду, и это само по себе — хо-
рошая политика! Увидев гада, он забывал
спросить, демократ это или республиканец, но
тут же поднимал свой посох и всыпал ему как
следует! Вечная память святому Патрику! Вот
бы его к нам сюда, чтобы он и нас к юбилею
избавил от гадов! Увы, это невозможно! Без-
действует его посох — символ истинных, а не
бутафорских реформ. Впрочем, у нас еще со-
хранился символ Правды — топорик Джорд-
жа Вашингтона, ведь я-то знаю, где его за-
рыли!

Преданный вам, *Марк Твен.*

16 марта 1876 года.

Хартфорд, Коннектикут

I

Итак, великий штат Миссури пал! Нескольким его сыновей прикнуло к личневатель, и клеймо позора легло на всех нас. По милости этой горстки его сыновей о нас теперь сложилось определенное мнение, на нас наклеили ярлык: отныне и вовеки для жителей всего мира мы — «личневатели». Ибо люди не станут долго раздумывать — это не в их привычках, они привыкли делать выводы, исходя из какого-то одного факта. Они не скажут: «Миссурийцы восемьдесят лет старались создать себе репутацию почтенных, уважаемых людей, и эти сто личневателей где-то там, на окраине штата, не настоящие миссурийцы: это ренегаты». Нет, такая здравая мысль не может прийти им в голову; они сделают вывод на основании одного-двух нетипичных образчиков и скажут: «Миссурийцы — это личневатели!» Люди не умеют размышлять, у них нет ни логики, ни чувства соразмерности. Цифры для них не существуют; они ничего им не говорят, не подсказывают никаких разумных суждений. Люди способны, например, сказать, что Китай безусловно будет весь обращен в христианство, и очень скоро, поскольку каждый день по девять китайцев принимают крещение; при этом они даже не обратят внимание на то, что в Китае ежедневно рождается тридцать три тысячи язычников и что это обстоятельство сводит на нет всю их аргументацию. Люди скажут: «У них там сто личневателей; значит, миссурийцы — личневатели». Тот весьма существенный факт, что два с половиной миллиона миссурийцев не принадлежат к числу личневателей, не может изменить их приговор.

II

О Миссури!

Трагедия произошла близ Пирс-Сити, на юго-западной окраине штата. В воскресенье днем молодая белая женщина вышла одна из церкви и вскоре была найдена убитой. Да, там есть церкви; в мое время вера на Юге была глубже и имела более широкое распространение, чем на Севере, и отличалась, по моему, большей искренностью, большей мужественностью, — такой, мне кажется, она и осталась. Итак, молодую женщину нашли убитой! И хотя в той округе немало церквей и школ, народ взбунтовался: личневали трех негров (из них двух стариков), сожгли пять негритянских хижин и выгнали в лес тридцать негритянских семей.

Я не намерен останавливаться на том, что толкнуло людей на преступление, так как это не имеет никакого отношения к делу; вопрос заключается в следующем: *может ли убийца сам вершить суд?* Вопрос простой и правильный. Если доказано, что убийца нарушил prerogative закона, воздавая за содеянное ему

зло, — тогда и говорить не о чем: тысяча причин не оправдает его. У жителей Пирс-Сити были серьезные причины, — судя по некоторым подробностям, у них была самая серьезная из всех причин, — но не в том дело; они решили сами вершить суд, хотя, по местным законам, их жертву все равно бы повесили, если бы делу был дан обычный ход, ибо в этой округе мало негров и они не занимают высокого положения и недостаточно сильны, чтобы повлиять на присяжных.

Почему личневание с его варварскими атрибутами стало в некоторых частях нашей страны излюбленным способом возмездия за так называемое «обычное» преступление? Не потому ли, что это ужасное, отвратительное наказание кажется людям более наглядным уроком и более действенным средством устрашения, чем казнь через повешение на тюремном дворе, без свидетелей и без всякого шума? Нормальные люди так, конечно, не думают. Даже малый ребенок не поверил бы этому. Он знает, что все необычное, вызывающее много толков, тотчас находит подражателей, ибо на свете более чем достаточно впечатлительных людей, которые, стоит их немножко раззадорить, теряют последние остатки разума и начинают творить такое, о чем в другое время и помыслить бы не могли. Он знает, что, если кто-то спрыгнет с Бруклинского моста, — иайдется человек, который последует его примеру; если кто-то решит спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду, — иайдутся люди, которые захотят сделать то же; если какой-нибудь Джек-Потрошитель прославится убийством женщин в темных переулках, — у него иайдутся подражатели; если человек совершит покушение на короля и газеты потрубят об этом на весь мир, — царевичи появятся видимо-невидимо. Даже малому ребенку известно, что достаточно какому-нибудь негру совершить сенсационное преступление и убийство, как это породит брожение в умах многих других негров и повлечет за собой целый ряд тех самых трагедий, которые общество так хочет предотвратить; что каждое из этих преступлений в свою очередь повлечет за собой ряд других, и в результате перечень этих бедствий, вместо того чтобы уменьшиться, будет из года в год расти и расти: словом, что личневатели сами злейшие враги своих жен, дочерей и сестер. Ребенку известно и то, что законы, которые мы сами сочинили, превращают в подражателей не только отдельных людей, но и целые деревни и города, что какое-нибудь личневание, вызвавшее много толков, неизбежно породит другие личневания — и тут, и там, и повсюду, — и что со временем это превратится в магию, в моду — моду, которая будет распространяться с каждым годом все шире и шире, захватывая, подобно эпидемии, все новые штаты. Суд Линча уже добрался до Колорадо, до Калифорнии, до Индианы и теперь — до Миссури! Вполне возможно, что я доживу до того дня, когда посреди Юнион-сквера в Нью-Йорке, на глазах у пятидесятигтысячной толпы, будут сжигать негра и ни единого представителя закона

и порядка не будет поблзости — ни шерифа, ни губерниатора, ни полицейского, ни солдата, ни свещеника.

«Рост личеиваний. В 1900 году было на восемь личеиваний больше, чем в 1899 году, а в этом году, — по-видимому, будет еще больше, чем в прошлом. Сейчас едва перевалило за половиу года, а мы уже имеем восьмьдесят восемь случаев личеиваний, тогда как за весь прошлый год их было сто пятнадцать. Особенно отличаются в этом смысле четыре южных штата — Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи. В прошлом году в Алабама было восемь случаев личеивания, в Джорджин — шестнадцать, в Луизиане — двадцать и в Миссисипи — двадцать. Таким образом, свыше половины личеиваний падает на эти штаты. В этом году в Алабама уже было девять случаев личеивания, в Джорджин — двенадцать, в Луизиане — одиннадцать, в Миссисипи — тринадцать; опять-таки больше половины общего числа личеиваний по всем Соединенным Штатам» (чикагская «Трибюн»).

Вполне возможно, что рост личеиваний объясняется присущим человеку инстинктом подражания, — этим да еще самой распространенной человеческой слабостью: страхом, как бы тебя не стали сторониться и показывать на тебя пальцем, потому что ты поступаешь не так, как все. Имя этому — Моральная Трусость, и она является доминирующей чертой характера у 9999 человек из каждых десяти тысяч. Я не претендую на это открытие — в глубине души самый тупоумный из нас знает, что это такое. История не допустит, чтобы мы забыли или оставили без внимания эту важнейшую черту нашего характера. История настойчиво и не без ехидства напоминает нам, что с сотворения мира все бунты против человеческой подлости и угнетения зачислялись одним храбрым из десяти тысяч, тогда как остальные робко ждали и медленно, нехотя, под влиянием этого человека и его единомышленников из других десятков тысяч, присоединялись к движению. Аболиционисты это помнят. Втайне общественное мнение уже давно было на их стороне, но каждый боялся во всеуслышанье заявить об этом, пока по какому-то наемку не догадался, что его сосед втайне думает так же, как он. Тогда-то и поднялся великий шум. Так всегда бывает. Настанет день, когда так будет в Нью-Йорке и даже в Пенсильвании.

Полагаю — и говорят, — что личеивание доставляет людям удовольствие, что народ рад возможности поглазеть на интересное зрелище. Но этого не может быть, опыт доказывает обратное. Люди, живущие в южных штатах, сделаны из того же теста, что и те, которые живут в северных, а подавляющее большинство этих последних — люди добропорядочные и сердечные, и они были бы глубоко, до боли опечалены подобным зрелищем и... пошли бы смотреть и сделали бы вид, что им это очень нравится, если бы считали, что иначе они вызовут неодобрение общества. Такие мы есть — и тут уж ничего не

поделаешь. Прочие животные — не такие, и тут мы ничего не можем поделать. У них отсутствует Моральный Критерий, мы же не можем избавиться от него, не можем продать его хотя бы за бесенок. Моральный критерий подсказывает нам, что есть добро... и как уклониться от добрых деяний, если они непопулярны.

Как я уже говорил, ные считают, что толпа, собирающаяся на личеивание, получает от этого удовольствие. Это, конечно, неправда, этому невозможно поверить. Последнее время стали открыто утверждать — вы не раз могли видеть это в печати, — что до сих пор мы неправильно понимали, какой импульс движет личеивателями; в них-де говорит в эти минуты не чувство мести, а просто звериная жажда поглазеть на людские страдания. Если бы это было так, толпы людей, видевших пожар отеля «Виндзор», пришли бы в восторг от тех ужасов, которым они были свидетелями. А разве они восторгались? Подобная мысль никому и в голову не придет, подобное обвинение никто не осмелится бросить. Многие рисковали жизнью, спасая детей и взрослых от гибели. Почему они это делали? Потому что никто не стал бы порицать их за это. Ничто не связывало и не ограничивало их — они могли следовать велениям сердца. А почему такие же люди, собравшись в Техасе, Колорадо, Индиане, стоят и смотрят на личеивание, всячески показывая, что это зрелище доставляет им безмерное удовольствие, хотя на сердце у них печально и тяжело? Почему никто из этой толпы пальцем не двинет, ни единого слова не скажет в знак протеста? Думается мне, только потому, что такой человек оказался бы в меньшинстве: каждый опасается вызвать неодобрение своего соседа — для рядового человека это хуже ранения или смерти. Стоит распространиться по округе вести о предстоящем личеивании, как люди запрягают лошадей и с женами и детьми мчатся за несколько миль, чтобы посмотреть на это зрелище. В самом деле для того, чтобы посмотреть?.. Нет, они едут только потому, что боятся остаться дома: а вдруг кто-нибудь заметит их отсутствие и неодобрительно отзовется о них потом! Вот этому можно поверить, ибо все мы знаем, как мы сами отнеслись бы к такому зрелищу и как бы мы поступили в таких обстоятельствах. Мы не лучше и не храбрее других, и нечего нам это скрывать.

Какой-нибудь Саванарола мог бы одним взглядом усмирить и разогнать толпу личеивателей, — иа это способны и Мэррил и Бэлот¹. Нет такой толпы, которая не дрогнула бы в присутствии человека, известного своим хладнокровием и мужеством. К тому же толпа личеивателей рада разбежаться, поскольку вы не сыщите в ней и десяти человек, которые не предпочли бы находиться в любом другом месте и, конечно, не были бы здесь,

¹ Мэррил — шериф округа Керол, штат Джорджия; Бэлот — шериф из Прикстона, штат Индиана. Они обуздывали толпы личеивателей только благодаря тому, что были всем известны как люди непоколебимо мужественные. (Примеч. автора.)

если бы только у них хватило на это храбрости. Еще мальчишкой я видел, как одни смельчак язвительно обругал собравшуюся толпу и заставил ее разойтись, а позже, в Неваде, я видел, как один известный головорез заставил двести человек сидеть не шевелясь в горящем доме до тех пор, пока он не разрешил им покинуть помещение. Если человек не трус, он может один ограбить целый пассажирский поезд, а если он трус только наполовину, он может остановить длинжанс и оборвать всех, кто в нем едет.

Выходит, стало быть, что искоренить линчевание можно следующим образом: в каждой общине, зараженной этой бацнлой, поселить по храброму человеку, который поощрял бы, поддерживал и извлекал на свет божий глубокое возмущение линчеванием, тащасея — в том можно не сомневаться — во всех сердцах. Тогда этн общины найдут себе более подходящий предмет для подражания, ибо они состоят из людей, которые должны, конечно, чему-то подражать. Но где найти таких храбрецов? Вот в этом-то и загвоздка, коль скоро на всей земле их едва ли наберется три сотни. Если б нужны были люди, обладающие только физической храбростью, задача решалась бы легко — таких сколько угодно. Когда Хобсон сказал, что ему нужно семь человек добровольцев, которые последовали бы за ним, в сущности, на верную смерть, вызвалось идти четыре тысячи человек, фактически весь флот, — потому что *весь мир одобрил бы это*; и люди это знали. А вот если бы план Хобсона был осмеян и освящен друзьями и товарищами; чьим добрым мнением дорожат матросы, — он не сумел бы набрать и семи человек.

Нет, по зрелом размышлении проект мой никаду не годится. Где взять людей, храбрых духом? Нет у нас материала, из которого выковырываются люди с отважной душой, в этом отношении мы нищие. Есть у нас те два шерифа на Юге, которые... но что о них говорить — все равно их не хватит на всю страну; так пусть уж остаются на своих местах и заботятся о собственных общинах.

Если б было у нас еще хотя бы три или четыре шерифа такого склада! Помогло бы это? Думаю, что да. Ведь все мы — подражатели: примеру доблестных шерифов последовали бы другие, быть безстрашным шерифом стало бы правилом, а на тех, кто не был бы таким, смотрели бы с порицанием, которого все так стремятся избежать; храбрость человека на этом посту вошла бы в обычай, а отсутствие ее было бы равносильно бесчестью, — так робость новобранца со временем сменяется храбростью. И тогда не будет больше линчеваний, и не будет озверелых толп, и...

Все это очень хорошо, но для всякого дела нужны зачинщики, а откуда мы возьмем этнх зачинщиков? По объявлению? Хорошо, дадим объявление.

А пока что — вот другой план. Давайте вернем американских миссионеров из Китая и предложим им посвятить себя борьбе с

линчеванием. Поскольку каждый из 1511 находящихся там миссионеров обращает по два китайца в год, тогда как ежедневно на свет появляется по тридцать три тысячи язычников¹, потребуется свыше миллиона лет, чтобы количество обращенных соответствовало количеству рождающихся и чтобы «христианизация» Китая стала видна невооруженным глазом. Следовательно, если мы можем предложить нашим миссионерам такое же богатое поле деятельности у себя на родине — притом с меньшими затратами и достаточно опасное, — так почему бы им не вернуться домой и не попытаться счастья? Это было бы и справедливо и правильно. Китайцы, по всеобщему мнению, чудесный народ — честный, порядочный, трудолюбивый, добрый и все прочее. Оставьте их в покое — они и так достаточно хороши. К тому же ведь почти каждый обращенный рискует заразиться нашей цивилизацией. Не мешало бы нам быть осторожнее. Не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем подвергать себя такому риску, — потому что *стоит сделать Китай цивилизованной страной, и его уже не децивилизируете*. А мы не думал об этом. Ну так что ж — подумаем сейчас, пока не поздно. Наши миссионеры увидят, что у нас есть для них поле деятельности — и не только для 1511 человек, а для 15 011. Пусть прочтут следующую телеграмму и решат; найдется ли у них в Китае что-либо более аппетитное. Телеграмма эта из Техаса:

«Негра подтащили к дереву и вздернули на сук. Под ним навалили кучу дров и хвороста и развел большой костер. *Потом кто-то заметил, что нельзя, чтобы негр подох так быстро; его спустили на землю, тем временем несколько человек отправились в Декстер, миль за две, чтобы добыть керосину*. Костер облили керосном, и дело было доведено до конца».

Мы умоляем миссионеров вернуться и помочь нам в нашей беде. Этого требует их долг патриотов. Наша страна находится сейчас в более бедственном положении, чем Китай; они — наши соотечественники, и родина вызывает к ним о помощи в этот час тягчайших испытаний. Они знают, что делать; наш иарод — не знает. Они привыкли к издевкам, насмешкам, надругательствам, опасностям; наш народ к этому не привык. Им свойственно мученичество, а только человек, готовый на мученичество, способен противостоять толпе линчевателей, способен усмирить ее и заставить разойтись. Они могут спасти свою страну; мы заклиняем их вернуться и спасти ее. Мы просим их еще и еще раз перечитать телеграмму из Техаса, представить эту сцену и трезво поразмыслить над ней, потом

¹ Эти цифры не выдуманы, они правильны и достоверны.

Источником для них послужили официальные отчеты миссионеров, находящихся в Китае. См. книгу д-ра Моррисона о его путешествии по Китаю; он приводит эти цифры со ссылкой на источники. Несколько лет он был пекинским корреспондентом лондонской «Таймс» и находился в Пекине во время осады. (Примеч. автора.)

поможит на 115, прибавить 88, поставит эти 203 человеческие факела в ряд так, чтобы вокруг каждого было по 600 квадратных футов свободного пространства, где могли бы разместиться 5000 зрителей, христиан-американцев — мужчин, женщин и детей, юной и девушек. Для большего эффекта пусть они представят себе, что дело происходит ночью, на пологом, постепенно повышающейся равнине, так что столбы расположены по восходящей линии и глаз может охватить всю двадцатичетырехмильную цепь костров из пылающей человеческой плоти. (Если бы мы расположили эти костры на плоской местности, то не могли бы видеть конца цепи, ибо изгиб земной поверхности скрыл бы его от наших глаз.) И вот когда все будет готово, и спустится тьма, и воцарится внушительное молчание, — не должно быть ни звука, если не считать жалобных стонов ночного ветра да приглушенных всхлипываний несчастных жертв, — пусть все уходит вдали, облитые керосином погребальные костры вспыхнут одновременно и пламя вместе с воплями предсмертной муки вознесется прямо к небу, к престолу всевышнего.

Зрителей собралось свыше миллиона человек, свет костров выхватывает из ночи неясные очертания шпилей пяти тысяч церквей. О добрый миссионер, о сострадательный миссионер, покинь Китай, вернись домой и обрати этих христиан!

Думается мне, что если что-либо и может остановить эту эпидемию кровавых безумий, — так это бесстрашие люди, которые способны, не дрогнув, противостоять толпе; и поскольку люди такого рода выковываются только в атмосфере опасности, закаляясь в борьбе с нею, то скорее всего их можно встретить среди миссионеров, которые последний год или два подвизались в Китае. У нас для них непопачканный край работы, дела хватят и еще для многих сотен и тысяч, и поле деятельности ширится с каждым днем. Найдем ли мы таких людей? Можно попытаться. Среди 75 миллионов американцев должны же найтись еще Мэрииллы и Бэлоты, а по законам, которые мы сами изобрели, каждый пример будет пробуждать доколе дремавших рыцарей одного с ними великого ордена и выдвигать их в первые ряды.

О ПАТРИОТИЗМЕ

В Америке, если вы выбираете себе религию согласно требованиям вашей совести, то вы немало не обязаны интересоваться, одобряет ваш выбор еще кто-то или нет.

В Австрии и некоторых других странах дело обстоит иначе. Там государство решает, какую вы исповедовать веру, сами вы тут права голоса не имеете.

Патриотизм — это та же религия: любовь к отчизне, верность ее флагу, готовность жертвовать собой за ее честь и процветание...

В абсолютных монархиях патриотизм в уже заготовленном виде поставляется под-

данным властью монарха; в Англии и Америке патриотизм в заготовленном виде поставляется гражданам газетами и политиками.

Такой газетами и политиками сфабрикованный патриот, втихомолку отлепляясь от того, что ему подсовывают, тем не менее это проглатывает и из всех сил старается удерживать в желудке. Блаженны кроткие.

Иногда в начале какой-нибудь жалкой бессмысленной политической пертурбации его так и подмывает возмутиться, но он этого не делает — он не такой дурак. Он знает, что на этом будет пойман тем, кто его сфабриковал, тем, кто сфабриковал его патриотизм, — непоследовательным, развязным младшим редактором той провинциальной газетки, которую он читает; и этот шестидолларовый младший редактор обольет его в печати грязью и назовет предателем. А ведь это ужасно! И патриот, дрожа, трусливо поджимает хвост. Мы знаем — читателю это прекрасно известно, — как два-три года тому назад девять десятых человеческих хвостов в Англии и Америке сделали именно такой жест. Иначе говоря, девять десятых патриотов в Англии и Америке оказались предателями из боязни, что их называют предателями. Не правда разве? Вы же знаете, что правда. Курьезно, да?

Впрочем, никто не видел в этом ничего постыдного. Человек лишь редко, лишь крайне, крайне редко с успехом борется против того, что внушалось ему пропагандой, — слишком не равны силы. В течение многих лет, если не всегда, пропаганда в Англии и Америке неотрез отказывала человеку в праве на независимую политическую мысль и в штаны встречала такой патриотизм, который основан на его собственных концепциях, на доводах его рассудка, патриотизм, с честью прошедший через горнило его совести. И что же? В результате патриотизм был не более как залежалый товар, получаемый из вторых рук. Патриот не знал, когда и откуда взялся у него его взгляды, да его это и не трогало, коль скоро он был с теми, кто, по его мнению, составлял большинство — ведь только это важно, надежно, удобно. Если вы полагаете, читатель, что среди ваших знакомых найдутся хоть трое, у которых действительно есть определенные доводы исповедывать патриотизм именно их толка, и они могут вам привести их, то вы заблуждаетесь. Вы скорее всего обнаружите, что знакомые ваши получили свой рацион патриотизма из общей кормушки и в приговаривании этой «пищи» участия не принимали.

Пропаганда способна творить чудеса. Она побудила американцев противиться Мексиканской войне, потом побудила их согласиться с тем, что было, по их мнению, мнением большинства (патриотизм большинства — привычный патриотизм!), и как ни в чем не бывало отправиться воевать. До Гражданской войны она заставляла Север мириться с рабовладением и сочувственно относиться к интересам рабовладельцев. В интересах рабо-

владелец она заставила Массачусетс встать в оппозицию к федеральному флагу; видя в нем флаг раскольников, Массачусетс отказался водрузить его на здании своего капитолия. А потом постепенно пропаганда в этом штате дала крен в другую сторону, и массачусетцы в гневе устремились на Юг, чтоб сразиться под тем самым флагом против ранее охраняемых ими же интересов.

Пропаганда может сделать все. Ей подвластен любой взлет и любое падение. Безразличное она превращает в нравственное, а нравственное может объявить безнравственным; она может разрушать принципы и воссоздавать их, может ангелов низводить до простых смертных и простых смертных возводить в ангелы. И любое из этих чудес сотворит вам в какой-нибудь год, даже полгода.

Но если так, то ведь она могла бы воспитать в людях способность создавать патриотизм самим, вынашивать его в голове и в сердце, строить по концепциям собственным, а не подсказанным. Могла бы воспитать людей такими, чтобы они не становились патриотами по приказу, подобно тому как австрийцы исповедуют свою религию.

ЧЕЛОВЕКУ, ХОДЯЩЕМУ ВО ТЬМЕ

Из нью-йоркской газеты «Трибюн», в рождественский сочельник:

«Народ в Соединенных Штатах встречает рождество, исполненный бодрости и надежд. Это свидетельствует о всеобщем довольстве и счастье. Брюзга-критикан, который нет-нет да и заведет свою шарманку, вряд ли найдет себе слушателей. Большинство людей только поднимется, откуда такой взялся, и пройдет мимо».

Из газеты «Сан», Нью-Йорк:

«Задачей этой статьи не является описание страшных преступлений против человечества, которые совершаются в политических целях в некоторых кварталах Ист-Сайда, пользующихся наиболее дурной славой. Эти преступления нельзя описать никаким пером. Единственная задача, которую автор ставит перед собой, — это дать огромному числу более или менее беспечных жителей прекрасного города Нью-Йорка некоторое представление о том, как губят мужчин, женщин и детей в самой густонаселенной и самой неизвестной им части этого гиганта Нового Света. Если у кого-нибудь из читателей приведенный здесь материал вызовет недоверие или чувство незаслуженной обиды, то им могут быть предъявлены в подтверждение даты, фамилии и адреса. Здесь зафиксированы факты и наблюдения без выдумки и без прикрас».

Представьте себе, если можете, часть городской территории, полностью находящуюся под властью одного лица, без разрешения которого нельзя вести никакое законное или незаконное дело; где незаконные дела всячески

поощряются, а законные преследуются; где по вечерам почтенные граждане вынуждены закрывать наглухо окна и двери своих жилищ и задыхаться от жары в душных комнатах, боясь выйти на крылечко дома, хотя только там и можно глотнуть свежего воздуха; где голые женщины пляшут по ночам на улицах, а беспольные мужчины, как хищники, рыщут в темноте в поисках жертв своей профессии — профессии, которая не только не преследуется полицией, но, наоборот, пользуется еще покровительством; где малые дети уже знают, что такое проституция, и девочек с самого юного возраста обучают искусству Фрины; где американские девушки, взращенные в духе строгих правил американской семейной жизни и вывезенные из маленьких городков в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут и Нью-Джерси, содержатся совсем как в тюрьме, пока не утратят всякого подобия женственности; где мальчуанов с малолетства обучают приводить «гостей» в публичные дома; где существует общество молодых мужчин, единственным занятием которых является совращение юных девушек и помещение их в дома терпимости; где человеку, идущему по улице со своей женой, бросают в лицо оскорбления; где в больницах и диспансерах летачет главным образом дети, зараженные детскими болезнями; где убийство, изнасилование, грабеж и воровство — как правило, а не как исключение — остаются безнаказанными, — короче говоря, где политические воротилы извлекают прибыли из самых ужасных форм порока».

Та же газета «Сан» в канун рождества напечатала следующее сообщение из Тикая (курсив мой. — Марк Твен).

«Его преподобие мистер Амент, представитель Американского бюро зарубежных христианских миссий, вернулся из поездки, которую он предпринял с целью собрать контрибуцию за ущерб, нанесенный боксерами. Куда бы он ни приезжал, он всюду заставлял китайцев платить. Мистер Амент заявлял, что в настоящее время все подведомственные ему местные христиане обеспечены. Его плата составляла 700 человек, и из этого числа 300 убито. Мистер Амент взыскал по 300 тазелей за каждого погибшего и добился полного возмещения стоимости всего уничтоженного имущества христиан. Вдобавок он наложил штраф, в тринадцать раз превышающий сумму контрибуции. Эти деньги пойдут на распространение евангельского учения».

Мистер Амент заявлял, что он получил скромную компенсацию по сравнению с той, которая досталась католикам, взимающим, кроме денег, еще жизнь за жизнь. За каждого убитого католика требуют по 500 тазелей. В районе Вэньжоу убито 680 католиков, и за это европейские католики; находящиеся здесь, требуют 750 000 связок монет и 680 голов китайцев».

В беседе мистер Амент коснулся отношения миссионеров к китайцам. Он сказал: «Я решительно отрицаю, что миссионеры мсти-

тельны, что они, как правило, грабят или делают после осады что угодно, чего не требовали обстоятельства. Лично я осуждаю американцев. Мягкая рука американцев куда хуже, чем бронированный кулак немцев. Если проявлять мягкость по отношению к китайцам, они этим воспользуются...»

Здесь восприняли как забавную шутку сообщение, что французское правительство собирается вернуть добро, награбленное его солдатами. Французские солдаты занимались грабежом еще более систематически, нежели немцы. Факты говорят о том, что сегодня, вооруженные современной техникой, христиане католической веры под флагом Франции грабят селения в провинции Чжилн.

По счастливой случайности все эти радостные вести дошли до нас в сочельник — как раз вовремя, чтобы нам отпраздновать рождество с подобающим весельем и душевным подъемом. Настроение у нас превосходное, мы даже находим уместным откалывать шутки вроде такой: куда ни кинь — все китайцы клин!

Преподобный Амент незаметно на своем посту. Мы требуем, чтобы наши миссионеры в чужих краях воплощали не только благость и милосердие, кротость и доброту, свойственные нашей религии, но также и подлинно американский дух. Первыми американцами были индейцы племен пуони. Вот что о них сообщает учебник истории Маколема:

«Когда белый боксер убивает человека из племени пуони и уничтожает его имущество, другие пуони даже не пытаются отыскать убийцу, а приканчивают первого встречного белого; потом они заставляют какую-нибудь деревню, заселенную белыми, возместить населению денежную стоимость убитого человека, а также всего уничтоженного имущества; и вдобавок обязывают жителей внести сумму, в тринадцать раз превышающую эту стоимость, в фонд распространения религии пуони, которая, по мнению этого племени, лучше всех других религий смягчает людские сердца и внедряет гуманность.

Пуони не сомневаются в том, что заставляют невинных отвечать за виновных справедливо и честно и что лучше пусть девяносто девять невинных пострадают, нежели один виновный уйдет от наказания».

Не удивительно, что наш преподобный Амент завидует предприимчивым католикам, которые не только загребают большие деньги за каждую отданную богу душу крещеного туземца, но сверх того, получают еще «жизнь за жизнь». Впрочем, он может утешиться тем, что католики целиком приканчивают эти деньги, тогда как он, будучи менее эгоистичным, оставляет себе только по триста тазлей за человека, а огромную сумму, в тринадцать раз превышающую эту компенсацию, отдает на дело распространения евангельского учения. Своей щедростью мистер Амент заслужил всенародное признание, памятник ему

обеспечен. Пусть же он удовлетворится этими наградами. Мы ценим мистера Амента за то, как мужественно он защищал своих собратьев-миссионеров от разных необоснованных нападок, начинавших уже тревожить нас. Теперь, после его свидетельства, эти нападки в значительной степени потеряли остроту, и мы можем думать о них без особого смущения. Ведь нам теперь известно, что даже до осады миссионеры, «как правило», не промышляли грабежом и что после осады они вели себя вполне благопристойно, за исключением тех случаев, когда «обстоятельства» вынуждали их поступать иначе. Я беру на себя хлопоты о памятнике. Пожертвования можно направлять в Американское бюро zahraniчных христианских миссий, а проекты — мне. Все проекты должны в аллегорической форме изображать возмещение потерь сам-тринадцать, а также цель, ради которой эти деньги были высканы. Памятник должен быть украшен ориентом из шестисот восьмидесяти голов, расположенных в приятном, ласкающем глаз сочетании: ведь католики преуспели как нельзя лучше, и их деяния тоже необходимо увековечить. Можно присылать девизы, если найдутся такие, которые правильно выражают существо дела.

Заставив нищих крестьян распахиваться за других, да еще в тринадцатикратном размере, мистер Амент обрек их вместе с женой и невинными младенцами на голод и медленную смерть. Но эти его подвиги на финансовом поприще, совершенные с целью получить кровавые деньги для распространения евангельского учения, не нарушают моего душевного равновесия, хотя такие слова в сочетании с такими делами представляют собой столь чудовищное, столь грандиозное кошмарство, что равного ему не сыскать в истории. Если бы простой мирянин поступил так, как мистер Амент, оправдываясь тем же мотивами, я, конечно, содрогнулся бы от ужаса; или если бы я сам сотворил подобное под таким же предлогом... Впрочем, это нелепое, хотя некоторые плохо осведомленные люди и считают меня богохульником. Да, бывает, что священнослужитель ударяется в кошунство. И тогда простому мирянину за ним не угнаться!

Мы слышим страстные заверения мистера Амента, что миссионеры «не мстительны». Будем надеяться, что это так, и вознесем господу богу мольбу, чтоб они никогда не стали мстительными, а сохранили свою почти болезненную кротость, честность и любовь к справедливости — качества, доставляющие столько радости их собрату и заступнику.

А вот выдержка из статьи токийского корреспондента, тоже напечатанной в сочельник в нью-йоркской «Трибюне». Статья звучит несколько странно и дерзко, но ведь японцы пока лишь частично приобщились к цивилизации! Когда они сделают полностью цивилизованными, они перестанут говорить такие вещи:

«Вопрос о миссионерах, конечно, у всех на устах. Западным державам необходимо прислушаться к распространенному здесь мне-

нию, что религиозные нашествия на страны Востока, совершаемые мощными западными организациями, равносильны разбойничьим набегам и не только не заслуживают поддержки, но должны самым строгим образом пресекаться. Здесь полагают, что организации миссионеров представляют собой постоянную угрозу для мирных международных отношений.

А теперь давайте решать. Будем ли мы по-прежнему ошастливать нашей Цивилизацией народы, Ходящие во Тьме, или дадим этим несчастным передохнуть? Будем ли мы и в новом веке оглушать мир нашей привычной святошеской трескотней или отрезвемся и сперва поразмыслим? Не благоразумнее ли собрать все орудия нашей Цивилизации и выяснить, сколько осталось на руках товаров в виде Стеклянных бус и Богословия, Пулеметов и Молитвенников, Виски и Факелов Прогресса и Просвещения (патентованных, автоматических, годных при случае для поджога деревьев), а затем подвести баланс и подсчитать прибыли и убытки, чтобы решить уже с толком, продолжать ли эту коммерцию, или лучше распродать имущество и на выручку от продажи затеять новое дело под маркой Цивилизации?

До сих пор оделять Дарам Цивилизации Братьев, Ходящих во Тьме, было, в общем, выгодно, и даже теперь, если действовать осомтрительно, это предприятие может приносить барыши, но все же, по-моему, недостаточные для оправдания серьезного риска. Людей, Ходящих во Тьме, становится все меньше, и уж очень они нас дичатся. Тьма же все редее и редее, — для наших целей ей не хватает густоты. Большинство Людей, Ходящих во Тьме, стало видеть теперь настолько яснее, чем прежде, что это уже не полезно для них и невыгодно для нас. Мы проявили недостаток благоразумия.

Трест «Дары Цивилизации» — предприятие первый сорт, если управлять им разумно и с толком. Он может принести куда больше денег, территории, власти и прочих благ, нежели любая из других азартных игр. Но за последние годы христианские государства ведут игру плохо, и, я думаю, это им даром не пройдет. Они с такой жадностью рвутся загрести все ставки на зеленом сукне, что Люди, Ходящие во Тьме, заметили это — заметили и встревожились. Они стали относиться подозрительно к Дарам Цивилизации. Более того — они начали присматриваться к ним. А это не годится: Дары Цивилизации — славный, отменный товар; только нельзя разглядывать его на ярком свете. При слабом освещении, да еще если смотреть издали, Дары Цивилизации могут показаться джентльменам, ходящим во Тьме, весьма привлекательными. Перечислим их:

Любовь
Справедливость
Кротость
Христианские чувства
Защита слабых

Трезвость
Законность и порядок
Свобода
Честные взаимоотношения
Равенство
Милосердие
Просвещение и тому подобное.

Ну, что плохого? Просто великолепно, сэр! Любый идет из самой непроглядной Тьмы придет в восторг от такого товара! Но уж давайте не путать разные сорта. На этом я категорически настаиваю. Сорт, о котором шла речь выше, по-видимому предназначается для экспорта. Но это одна видимость. Между нами говоря, этот товар вовсе не то, за что мы его выдаем. Между нами говоря, все выше-названное — только обертка, яркая, красная, заманчивая, и на ней изображены такие чудеса нашей Цивилизации, которые предназначаются для отечественного потребления. А вот под оберткой находится Подлинная Суть, и за нее покупатель, Ходящий во Тьме, платит слезами и кровью, землей и свободой. Именно эта Подлинная Суть и есть Цивилизация, предназначенная на экспорт. Отличаются ли эти сорта друг от друга? Да, в некоторых частностях разница есть.

Общезвестно, что трест «Дары Цивилизации» трещит по всем швам. Причина ясна. Она заключается в том, что наш мистер Мак-Кинли, и мистер Чемберлен, и кайзер, и царь, и французы начали экспортировать Подлинную Суть без обертки, в открытом виде. А это-то и портит всю игру. Это показывает, что новые игроки еще недостаточно овладели правилами.

Просто досадно видеть, как бездарно они делают один неправильный ход за другим! Мистер Чемберлен фабрикует войну из такого неубедительного, вздорного материала, что в ложах хватаются за голову, а на галерке смеются. При этом он изо всех сил старается убедить себя, что эта война не просто грабеж, что она все же таит в себе крупную порядочность, — правда, не видимую простым глазом, — и что, вываляв в грязь английский флаг, он сумеет в конце концов отмыть его дочища и этот флаг вновь засияет в поднебесье, как сиял тысячелетие, пока он сам не наложил на него свою нечистую лапу. Неумелая игра. Бездарная игра, потому что она позволяет Людям, Ходящим во Тьме, обнаружить Подлинную Суть. И вот они говорят:

«Как, христиане напали на христиан? И всего-навсего из-за золота? Неужели это и есть великодушные, терпимость, любовь, кротость, милосердие, защита слабых — это странное, демонстративное нападение слона на выводок полевых мышей, под предлогом, что мыши пскинули что-то для него оскорбительное, а такое поведение, по словам мистера Чемберлена, «ни одно уважающее себя правительство не может оставить безнаказанным»? Почему подобный предлог считается достаточным в отношении малого государства, если он оказался недостаточным в отношении большого? Ведь совсем недавно Россия три раза подряд оскорбила слона и осталась

жива и невредима. Значит, это и есть Цивилизация и Прогресс? Чем же это лучше того, что имеется у нас? Разве грабежи, пожары и опустошения в Траисваале — Прогресс по сравнению с нашей Тьмой? Может быть, существуют, два сорта Цивилизации — одни для отечественного потребления, а другой для экспорта на языческий рынок?»

Тревога овладевает Людями, Ходящими во Тьме, и они недоуменно качают головами, а тут им еще попадаетея выдержка из письма английского солдата, описывающего свои подвиги в связи с одной из побед Мэтьюена, еще до битвы при Магерсфонтейне, и тревога их возрастает.

«Мы штурмом взяли высоту, — пишет солдат, — и прыгнули в окопы. Буры поняли, что им не уйти. Они побросали ружья, упали на колени, подняли руки вверх и взмолились о пощаде. Уж тут-то мы им показали пощаду — *длинной ложкой!*»

Длинная ложка означает штык. Загляните в лондонский «Еженедельник Ллойда». В том же номере — и в том же столбце — вы найдете другую заметку, полную возмущения и горьких сетований по поводу жестокости и бесчеловечности буров. Сколько в этом неосознанной иронии!

А тут, как на грех, в игру ввязался кайзер, не овладев предварительно ее тонкостями. Он потерял во время мятежа в Шаньдуне двух германских миссионеров и представил за них завышенный счет. Китай должен был уплатить по сто тысяч долларов за каждого, отдать территорию протяжением в двенадцать миль, стоимостью в двадцать миллионов долларов, с населением в несколько миллионов человек и, кроме того, воздвигнуть памятник и христианский храм, — точно народ Китая не запомнил бы этих миссионеров и без таких дорогостоящих сооружений! Нечего и говорить, это была скверная игра, потому что она не обманула, не могла обмануть и никогда не обманет Человека, Ходящего во Тьме. Ему ясно, что с него содрали лишнее. Он знает, что цена миссионеру, как и всякому смертному, определяется тем, сколько придется истратить на его замену. Большого он не стоит. Миссионер — человек полезный, но полезны также и врач, и шериф, и редактор; однако справедливый император не требует за них уплаты по военным ценам. Разумный, трудолюбивый, безвестный миссионер, как и разумный, трудолюбивый редактор провинциальной газеты, безусловно, стоит немало, но нельзя же за него требовать весь земной шар! Мы уважаем такого редактора, и нам жаль, когда мы его лишаемся, но все же территория в двенадцать миль, и храм, и целое состояние — это слишком высокая компенсация за подобную потерю; представим себе, что редактор был бы китаец и платить за него пришлось бы нам! Разве можно запрашивать такие деньги за редактора или миссионера, когда даже подержанные королни продаются

куда дешевле! Итак, кайзер провел свою партию далеко не блестяще. Правда, он своего добился, *но его действия вызвали восстание в Китае*, бунт возмущенных китайских патриотов — «боксеров», на которых так много клеветают. В конце концов все это дорого обошлось и Германии, и другим Носителям Прогресса и Даров Цивилизации.

Требования кайзера были удовлетворены, а все же игра была плохая, потому что она не могла не произвестн дурного впечатления на жителей Китая, Ходящих во Тьме. Эти события, очевидно, заставили их призадуматься и сказать:

«Цивилизация милостива и прекрасна, — так мы слышали. Только по карману ли она нам? Есть у нас богатые китайцы, — может быть, им доступна такая роскошь; но ведь контрибуция наложена не на них, а на крестьян Шаньдуна; именно они должны выплатить эту огромную сумму при жалком заработке в четыре цента в день. Неужели такая Цивилизация лучше, чем иаша, неужели она более священна, возвышенна и благородна? Неужели это не разбой, не вымогательство?! Разве с Америкн потребовала бы Германия двести тысяч долларов за двух миссионеров, разве стала бы потрясать бронированным кулаком перед ее носом и послала бы к американским берегам корабли с военным десантом?.. «Захватите двенадцать миль американской территории стоимостью в двадцать миллионов долларов как добавочную компенсацию за миссионеров и заставьте крестьян постронть памятник миссионерам и богатый храм для увековечения их памяти!» — неужели Германия дала бы такой приказ своим войскам?.. «Шагай по Америке, режь и коли, *не щадя никого*, пусть на тысячу лет вперед облик германца внушает Америке ужас, такой же, как внушали Европе страшные гунны! Шагай по Великой республике и убивай направо и налево! Огнем и мечом прокладывая через ее сердце и внутренности путь для нашей оскорбленной религии», — разве осмелнлась бы Германия сказать такое своим солдатам?.. Разве поступила бы так Германия по отношению к Америке, Англии, Франции, России?.. Или так можно обращаться только с Китаем, по примеру слона, напавшего на полевых мышей? Так стонт ли нам вкладывать средства в эту Цивилизацию, которая прозвала Наполеона разбойником за то, что он вывез из Венеции бронзовых коней, а сама ворует с наших стен старинные астрономические приборы и бесстыдно занимается грабежом? Это относится ко всем иностранным солдатам (кроме американских), которые штурмуют деревни, терроризируют жителей и ежедневно шлют домой лжущим газетным редакциям телеграфные сводки такого содержания: «Потери китайцев — 450 человек убитыми; с нашей стороны ранены один офицер и два солдата. Завтра выступаем в поход против соседней деревни, где, как сообщают, началась резня». Скажите, по карману ли нам Цивилизация?»

Затем включается в игру Россия — и тоже играет неумно. Раз два она оскорбляет Англю (Человек, Ходящий во Тьме, видит это и мотает на ус); при моральной поддержке Франции и Германии она отнимает у Японин ее добычу — захваченный Японией в борьбе и плавающий в китайской крови Порт-Артур (Человек, Ходящий во Тьме, замечает это и тоже мотает на ус); далее она захватывает Маньчжурью, опустошает маньчжурские деревни, запирает многоводную реку распухшими трупами бесчисленных убитых крестьян (и это Человек, Ходящий во Тьме, тоже мотает себе на ус). Возможно, он думает: «Вот еще одно цивилизованное государство со знаменем Христа в одной руке и с корзиной для награбленного и ножом мясника — в другой. Неужели нет для нас иного выхода, как только принять Цивилизацию и опуститься до ее уровня?»

Но тут на сцену выходит Америка, и наш Главный Игрок играет нехорошо, точь-в-точь как мистер Чемберлен в Южной Африке. Это было ошибкой, причем такой, какой не ждали от Главного Игрока, столь хорошо игравшего на Кубе. Там он вел обычную, *американскую* игру и побеждал, потому что такая игра — беспронигрышная. По поводу Кубы наш Главный Игрок сказал: «Вот — маленькая угнетенная нация, не имеющая друзей, но она полна решимости бороться за свою свободу. Мы готовы сделаться ее партнерами, мы обратим на ее поддержку мощь семидесяти миллионов сочувствующих американцев и ресурсы Соединенных Штатов. Игратьте!» В этих условиях только все европейские страны, объединившись, могли бы помешать нам, но Европа не в состоянии объединиться ни по какому поводу. В вопросе Кубы президент Мак-Кинли следовал нашим великим традициям, и мы гордились своим Главным Игроком, и гордились тем недовольством, которое его игра вызвала в континентальной Европе. Движимый возвышенными чувствами, он произнес волюющие слова о том, что насильственная аннексия была бы «актом преступной агрессии»; и эти слова его тоже прозвучали как «выстрел на весь свет». Это благородное изречение переживает все другие его речи и поступки, если не считать того, что через год он начисто забыл свои слова и содержащуюся в них высокую истину.

Ибо возник соблазн Филиппин. Это был сильный, слишком сильный соблазн. И наш Игрок допустил грубую ошибку — повел игру по-европейски, по-чемберленовски. Жаль, весьма жаль, что он сделал такую серьезную, непоправимую ошибку. Именно там и тогда надо было вновь играть по-американски. И это бы ничего не стоило, зато принесло бы нам крупный и верный выигрыш, подлинное богатство, которое сохранилось бы навеки, передаваясь от поколения к поколению. Нет, не деньги, не территория, не власть, а нечто куда более ценное, чем весь этот тлен: у нас было бы сознание того, что нация угнетенных, несчастных рабов стала свободной благодаря нам; наши потомки сохранили бы светлую память о благородных деяниях предков. Ход иг-

ры зависел от нас. Если бы мы вели ее по американским правилам, Дьюн убрался бы из Манилы, как только он уничтожил испанский флот. От него требовалось лишь одно: вывесить на берегу объявление, гарантирующее, что филиппинцы не нанесут ущерба имуществу и жизни иностранных граждан, и предупредить, что иностранные державы, что вмешательство в дела освобожденных патриотов будет рассматриваться как недружелюбный акт по отношению к Соединенным Штатам. Европейские державы не способны объединиться даже для дурного дела — никто не сорвал бы этого объявления.

Дьюн мог бы спокойно заняться своими делами где-нибудь в другом месте, зная, что филиппинской армии под силу взять измором маленький испанский гарнизон и выслать его потом за пределы своей страны. Филиппинцы установили бы у себя государственное управление по своему вкусу; что же касается католических монахов и их богатств, приобретенных сомнительными путями, то филиппинцы действовали бы в отношении их так, как им диктовали бы собственные понятия о справедливости и чести. Кстати, эти понятия на поверку оказались ничуть не хуже тех, что существуют в Европе и Америке.

Но мы играли по-чемберленовски и лишились возможности вписать в свои аниалы еще одну Кубу, еще один благородный поступок.

И чем больше думаешь об этой ошибке, тем яснее становится, что она может испортить нам всю коммерцию. Ибо Человек, Ходящий во Тьме, почти наверняка скажет:

«Странное это дело, странное и непонятное! По-видимому, существуют две Америки: одна помогает пленнику освободиться, а другая отнимает у бывшего пленника завоеванную свободу, затевает с ним спор без всякого повода и затем убивает его, чтобы завладеть принадлежащей ему землей».

В сущности, Человек, Ходящий во Тьме, уже говорит это, и ради пользы коммерции необходимо преподавать ему другие, более здравые взгляды на филиппинские события. Мы должны заставить его мыслить по нашей указке. Я считаю, что это вполне возможно, — ведь преподал же Англия мистер Чемберлен готовые мысли по вопросу о Южной Африке, причем проделал он это ловко и успешно. Он преподнес англичанам факты — точнее, часть фактов — и разъяснил доверчивым людям их значение. И он оперировал цифрами — это очень хорошо. Он пользовался формулой: «Дважды два — четырнадцать; из десяти вычесть два будет тридцать пять». Цифры действуют неотразимо, с их помощью всегда можно убедить образованную публику.

Мой план еще смелее чемберленовского, хотя я не отрицаю, что я его копировал. Будет откровеннее, чем мистер Чемберлен, выложим все факты, не утаив ни одного, а затем разъясним их по методу Чемберлена. Наша поразительная откровенность ошеломит Человека, Ходящего во Тьме, и он примет наше разъяснение, прежде чем успеет опомниться. Скажем ему так:

«Все очень просто. Первое мая Дью уничтожил испанский флот. В результате Филиппинские острова остались в руках подлинного, законного владельца — филиппинского народа. Армия филиппинцев насчитывала тридцать тысяч человек, и ей было вполне под силу уничтожить или взять измором небольшой испанский гарнизон; это позволило бы жителям Филиппин создать у себя правительство по собственному вкусу. Соблюдая нашу традицию, Дью должен был вывесить на берегу свое предупреждение державам и затем отбыть восвояси. Но наш Главный Игрок принял другой план, европейский план: высадить там армию, якобы с целью помочь филиппинским патриотам нанести последний удар в их долгой и мужественной борьбе за независимость, а на самом деле — чтобы захватить их землю. Все это, разумеется, во имя Прогресса и Цивилизации. Операция развивалась плавно и в общем успешно. Мы заключили военный союз с доверчивыми филиппинцами, и они осадили Манилу с суши, благодаря чему столица, где находился испанский гарнизон численностью в восемь — десять тысяч солдат, пала. Без филиппинцев мы тогда не добились бы этого. А оказывать им эту помощь мы их заставили хитростью. Мы знали, что филиппинцы уже два года ведут войну за свою независимость. Нам было известно, что они верят, будто мы сочувствуем их благородной цели, — подобно тому, как мы помогали кубинцам бороться за независимость Кубы, — и мы предоставили им заблуждаться. Но лишь до тех пор, пока Манила не стала нашей и мы не перестали нуждаться в помощи филиппинцев. Тогда-то мы и раскрыли свои карты. Они, конечно, удивились — удивились и разочаровались, разочаровались и глубоко опечалились. Они нашли, что мы поступили не по-американски, не как обычно, наперекор вековым традициям. Смущение их легко понять, — ведь мы только притворялись, что играем на американский манер, по существу же это была европейская игра. Мы провели их так ловко, что они растерялись. Им все это было непонятно. Разве не вели мы себя по отношению к этим простодушным патриотам как подлинные друзья, исполненные глубокого сочувствия? Мы сами привезли из изгнания их вождя и героя, их надежду, их Вашингтона — Агнияльдо. Мы доставили его на родину на военном корабле, с высокими почестями, под священной защитой нашего флага; мы возвратили его народу, за что нас горячо, взволнованно благодарили. Да, мы вели себя как лучшие друзья филиппинцев, мы всячески их подбадривали, мы снабжали их в долг оружием и боеприпасами, совещались с ними, обменивались любезностями, «поручали наших больных и раненых их заботливому уходу, доверяли им испанских пленных, зная, что филиппинцы честны и гуманны; боролись с ними плечом к плечу против «общего врага» (наше излюбленное словцо!); мы хвалили филиппинцев за отвагу и мужество, превозносили их милосердие и прекрасное, благородное поведение; мы воспользовались их

окопами, заняли укрепленные позиции, отвоёвывали ими у испанцев; мы ласкали их, лгали им, официально заявляя, что наша армия и флот пришли освободить их и сбросить ненавистное испанское иго, — словом, одурачивали их, воспользовались ими, когда нам было нужно, а затем посмеялись над выжатым лимоном и вышвырнули его вон. Мы закрепились на позициях, оттятых обманным путем, и, продвигаясь постепенно вперед, вступили на территорию, где были расположены отряды филиппинских патриотов. Остроумно придумано, не правда ли? Ведь нам нужны были беспорядки, а такие действия не могли не вызвать их. Один филиппинский солдат проходил по территории, которую никто не имел права назвать запретной зоной, и американский часовой застрелил его. Возмущенные патриоты схватились за оружие, не ожидая одобрения Агнияльдо, который в это время отсутствовал. Агнияльдо их не одобрил, но это не помогло. Нашей целью было — во имя Прогресса и Цивилизации — стать хозяевами Филиппинских островов, очищенных от борющихся за свою независимость патриотов, а для этого нужна была война. И мы воспользовались удобным случаем. Типичный чемерленовский прием, — во всяком случае, цели и намерения были такие же, и провели мы игру не менее ловко».

В этом месте нашей откровенной беседы с Человеком, Ходящим во Тьме, мы должны немного подластиться пилюлю ссылок на Дары Цивилизации — для разнообразия и чтобы подбодрить его. Затем пойдем дальше:

«Когда мы сообщали с филиппинскими патриотами заняли Манилу, Испания потеряла и право собственности на архипелаг и суверенную власть над ним. От всего этого ровным счетом ничего не осталось, ни единой ниточки, ни мельчайшей крупинки. И тут-то нас осенила божественно-забавная мысль: *откупить* у Испании оба эти призрака. (Ничего, давайте расскажем и это Человеку, Ходящему во Тьме; все равно он нам не поверит, как и всякий психически здоровый человек!) При покупке этих призраков за двадцать миллионов долларов мы дали обязательство опекать тамошних католических монахов со всем их добром. Кажется, мы также подрядились разводить там ослу и проказу; Впрочем, наверняка не скажу. Да это и не существенно: для людей, на которых обрушилось такое бедствие, как католические монахи, другие эпидемии уже не страшны.

После того как наш договор с Испанией был ратифицирован, Манила усмирена и «призраки» куплены, Агнияльдо и все прочие законные владельцы Филиппинских островов стали нам больше не нужны. Тогда мы развязали военные действия и с тех пор охотимся за своим недавним гостем и союзником по всем лесам и болотам его страны».

В этом месте нашего рассказа уместно будет слегка похвастать нашей военной деятельностью, нашими подвигами на поле брани, дабы успехи англичан в Южной Африке не затмевали успехов Соединенных Штатов.

Впрочем, особенно испарить на это не следует, рекомендую держаться осторожно. Разумеется, чтобы быть открытым до конца, мы обязаны прочитать Человеку, Ходящему во Тьме, телеграммы с театра военных действий, но не мешая добрить их некоторой долей юмора. Это поможет смягчить их мрачную выразительность и не совсем приличное проявление кровожадного торжества. Прежде чем прочесть Человеку заголовки из газет от 18 ноября 1900 года, попрacticуемся без свидетелей, — нужно научиться придавать своему голосу веселенькие, игривые нитонации.

«ПРАВИТЕЛЬСТВУ США НАДОЕЛИ
ЗАТЯНУВШИЕСЯ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
«ФИЛИППИНСКИЕ МЯТЕЖНИКИ¹ ДОЖДУТСЯ
НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ»
«БУДЕМ БЕСПОЩАДНЫ»
«АМЕРИКА ПРИНИМАЕТ ПЛАН КИТЧЕНЕРА»

Китченер умеет приструнить несговорчивых людей, которые защищают свой домашний очаг и свою свободу! Мы, американцы, должны сделать вид, что мы только подражаем ему, а сами как государство в этом деле ничуть не заинтересованы и стремимся лишь понравиться Великой Семье Наций, в которую вел нас Главный Игрок, купив нам местечко в заднем ряду.

Конечно, мы не смеем также обойти молчанием сводки генерала Макартура. Кстати, почему только не перестанут печатать такие неудобные для нас сообщения?! Придется читать их бойкой скороговоркой, а там была не была: «За истекшие десять месяцев наши потери составили 268 человек убитыми и 750 ранеными; филиппинцы потеряли 3227 человек убитыми и 694 ранеными».

Мы должны быть наготове, чтобы не дать Человеку упасть, ибо от этого признания ему может стать душно, и он простонет:

«Господи! Эти «черномазые» сохраняют жизнь раненым американцам, а американцы добивают раненых филиппинцев!»

Мы должны привести в чувство Человека, Ходящего во Тьме, а затем всеми правдами и неправдами убедить его, что в нашем мире все к лучшему и не нам судить о путях providения. Чтобы доказать ему, что мы не инциаторы, а только скромные подражатели, прочтем ему нижеследующую выдержку из письма одного американского солдата с Филиппин к своей матери, опубликованного в газете «Паблик опинион» в городе Декора, штат Айова. В нем описывается конец одного победоносного сражения:

«В живых мы не оставили ни одного. Раненых приканчивали на месте штыками».

Изложив Человеку, Ходящему во Тьме, исторические факты, приведем его снова в чувство и разъясним ему все как надо. Скажем ему следующее:

«Факты, которые мы изложили, могут показаться вам сомнительными, но это не так. Да, мы лгали, но из высоких побуждений. Да,

¹ Мятажники! Это странное слово надо как-нибудь промямлить, чтобы Человек, Ходящий во Тьме, не разобрал его! (Примеч. автора.)

мы поступили вероломно, но лишь для того, чтобы из кажущегося зла родилось подлинное добро. Да, мы разгромили обманутый доверчивый народ; да, мы предали слабых, беззащитных людей, которые искали в нас опору; мы стерли с лица земли республику, основанную на принципах справедливости, разума и порядка; мы возлили нож в спину союзнику и дали пощечину своему гостю; мы купили у врага призрака, который ему не принадлежал; мы силой отняли землю и свободу у верного нам друга; мы заставили наших чистых юношей взять в руки опозоренное оружие и пойти на разбой под флагом, которого в былые времена разбойники боялись; мы запятнали честь Америки, и теперь весь мир глядит на нас с презрением, — но все это было к лучшему. Для нас это совершенно ясно. Ведь руководители всех государств в христианском мире, равно как и девяносто процентов членов всех законодательных учреждений в христианских государствах, включая конгресс США и законодательные собрания всех пятидесяти наших штатов, являются не только верующими христианами, но также и акционерными трестами «Дары Цивилизации». А такое всемирное объединение пропавшей морали, высокой принципиальности и справедливости не способно ни на что дурное, нечестное, грязное. Там знают, что делают. Успокойтесь, все в полном порядке!

Уж это обязательно убедит Человека, Ходящего во Тьме. Вот увидите. Дела снова пойдут в гору. А наш Главный Игрок воздвигнет на вакантное место третьей нпостаси в тронце американских национальных богов. Веками будут они восседать у всех на виду на высоких престолах, каждый с эмблемой своих деяний: Вашингтон — с мечом освободителя, Линкольн — с разорванными оковами рабства и наш Главный Игрок — с оковами, вновь приведенными в исправность.

Увидите, как это оживит торговлю.

Условия нам благоприятствуют, все складывается так, как мы хотели. Мы захватили Филиппинские острова и уже не выпустим их из рук. У нас имеются также все основания надеяться, что в недалеком будущем мы сможем избавиться от обязательств, взятых по договору с Кубой, а Кубе дать что-нибудь другое, получше. Куба — богатая страна, и многие американцы уже смекали, что заключить с ней договор было сентиментальной ошибкой. Но сейчас — именно сейчас — самое время заняться восстановлением нашей репутации: это поднимет наш престиж, придаст нам спокойствия, устранит кривотолки. От самих себя мы не скроем, что в глубине души нас тревожит честь американской армии. Мушкетер солдата — один из предметов нашей гордости, он связан с делами благородными и высокими, мы его уважаем и любим, и нам совсем не по душе та мнсяка, которую он в настоящее время выполняет. А наш флаг! Мы считали его святыней; и когда случалось увидеть его в далеких краях, реющим под чужим небом и посылающим нам свой привет и благословение, у нас захватывало

вало дух и срывался от волнения голос; мы стояли обнажив голову и думали о том, какое значение имеет он для нас и какие великие идеалы представляет. Да, нам *необходимо* что-то предпринять, и это не так сложно. Заведом специальный флаг — ведь имеются же у наших штатов собственные флаги! Пусть даже останется старый флаг, только белые полосы на нем закрасим черным, а вместо звезд изобразим череп и кости.

И не нужна нам эта Гражданская комиссия на Филиппинах. Не облеченная никакими полномочиями, она должна их выдумывать, а такая работа не всякому по плечу — тут требуется специалист. Для этой цели можно уступить мистера Крокера. Мы хотим, чтобы там была представлена только Игра, а не Соединенные Штаты.

Благодаря всем этим мероприятиям на Филиппинах пышно расцветает Цивилизация и Прогресс; так мы одурачим Людей, Ходящих во Тьме, и у нас опять пойдет бойкая торговля на старом месте.

В ЗАЩИТУ ГЕНЕРАЛА ФАНСТОНА

I

22 февраля. Сегодня — знаменательная дата. Ее настолько широко отмечают всюду на земном шаре, что из-за разницы в поясное время получилась забавная штука с телеграммами, в которых воздаются почести нашему великому родку: хотя все они были отправлены почти в один час, нные из них оказывались вчерашними, а иные завтрашними.

В газетках мелькнуло упоминание о генерале Фанстоне.

Ни Вашингтон, ни Фанстон не были созданы в один день. Материал для их личности копился в течение долгого времени. Костяк сложился из врожденных склонностей человека — вечных, как скала, и не претерпевающих существенных изменений от колыбели до могилы. А моральная плоть (я имею в виду характер) наращивалась вокруг этого костяка и принимала определенную форму благодаря воспитанию, общению с людьми и жизненным обстоятельствам. Если костяк человека от рождения искривлен, то никакие влияния, никакие силы на свете его уже не выправят. Воспитание, общество и жизненные обстоятельства могут послужить ему подпорками, костылями, корсетом, они могут сжать его и втиснуть в красивую искусственную форму, которая сохраняется порой до последнего дня, обманывая не только окружающих, но даже и самого человека. Однако все тут искусственное, и стоит лишь убрать костыли и подпорки, как обнаружится врожденная кособокость.

Вашингтон не сам создавал костяк своей личности, а с ним родился, поэтому не его заслуга, что натура его представляла собой совершенство. Натура, и только она, заставляла Вашингтона искать людей, близких ей по духу, и отдавать им предпочтение перед всеми другими; принимать влияния, которые ей нра-

вились и вказались достойными, и отталкивать или обходить стороной те, которые были ей не по вкусу. Час за часом, день за днем, год за годом она находилась под воздействием бесчисленных мельчайших влияний и автоматически притягивала и задерживала, как ртуть, все частицы золота, с презрением отбрасывая частицы пустой породы, игнорируя все неблагоприятное, что соседствует с золотом. У нее была врожденная тяга к благим и возвышенным влияниям, и она радушно принимала их и впитывала; у нее было врожденное отвращение ко всем дурным и грубым влияниям, и она уклонялась от них. Это она подбирала своему подопечному друзьям и товарищам, это она подбирала ему влияния, это она подбирала ему идеалы и из тщательного, кропотливо собранных материалов лепила его замечательный характер.

А мы воображаем, что это заслуга самого Вашингтона!

Мы считаем заслугой бога, что он — всемогущий и всемогущий, и воздаем ему хвалу за это, но тут — совсем иное дело. Богу никто не помогал, он не получил своих качеств в дар при рождении, а создал их *самодично*. Вашингтон же *родился* с готовой натурой, натурой, которая была зодчим его характера, а характер в свою очередь был зодчим его великих дел. Если бы я родился с натурой Вашингтона, а он с моей, то весь ход истории был бы другим. Наше право — восхитаться великолепием солнца, красотой радуги и характером Вашингтона, но нет оснований восхвалять их за это, ибо не сами они породили источник своих достоинств: солнце — свой огонь, радуга — свет, преломляющийся в дождевых каплях, а отец нашей страны — свою натуру, чистую, разумную, добродетельную.

Так надо ли ценить такого человека, как Вашингтон, если мы не признаем его личной заслугой то, чем он был и что сделал? Обязательно надо, ибо ценность его неизмеримо велика. Благоприятные внешние влияния явились тем материалом, из которого натура Вашингтона вылепила его характер, подготовив его для славных дел. Предположим, что таких влияний не было бы, предположим, что он родился и вырос бы в воровском притоне, — тогда, без подходящего материала, не создались бы характер Вашингтона.

К счастью для нас, и для всего человечества, и для будущих веков, Вашингтон родился в таком месте, где нашлись подходящие влияния и общество, где оказалось возможным наделить его характер самыми прекрасными, возвышенными чертами и где благодаря удачному стечению обстоятельств перед ним открылось такое поприще, на котором он мог полностью проявить свои таланты.

Значит, великая ценность Вашингтона заключается в тех делах, которые он совершил при жизни? Нет, они имеют лишь второстепенное значение. Главная же ценность Вашингтона для нас, и для всего человечества, и для будущих веков заключается в том, что он навсегда останется недостижимо высоким образцом *влияния*.

Мы складываемся — по кирпичику — из влияний, медленно, но неукоснительно нарастаемых вокруг остова нашей натуры. Только так формируется личность, иных путей нет. Любой мужчина, любая женщина, любой ребенок является источником каких-то влияний, не иссякающих ни на час, ни на минуту. Будь то полезные влияния или вредные, частица золота или частица пустой породы, — человеческий характер все время, непрерывно подвергается их действию. Сапожник способствует формированию характера двух десятков человек, имеющих с ним дело; карманный вор — влияет на те пятьдесят человек, с которыми он входит в соприкосновение; у сельского священника таких объектов влияния наберется уже пятьсот: взломщик банковских сейфов оказывает воздействие на сотню своих друзей, да еще тысячи на три людей, которых он в глаза не видел; старания известного филантропа и дары великодушного миллионера толкают на добрые дела и побуждают раскошелиться сто тысяч человек, совершенно им неизвестных, — влияя на окружающих, каждый из этих людей добавляет к своей кирпичику к кладке их характеров. Беспринципная газета ежедневно ускоряет нравственное разложение миллиона испорченных читателей; наоборот, газета с высокими принципами каждый день помогает миллиону других людей становиться лучше. Грabitель, быстро разбогатевший на махинациях с железными дорогами, на три поколения вперед снижает уровень коммерческих нравов целой нации. Такой человек, как Вашингтон, поднявшийся на самую высокую вершину мира, залитый немеркнущим светом и видимый отовсюду, служит для всех светлым, вдохновляющим примером; его влияние способствует совершенствованию восприимчивых к добру людей и целых народов как в Америке, так и за ее пределами; и срок этого влияния определяется не быстрой сменой поколений, а неторопливой поступью столетий.

Вашингтон был не только отцом нации, но также — что еще важнее — отцом патриотизма, патриотизма в самом высоком, в самом лучшем смысле этого слова; и такова была сила его влияния, что этот чудесный патриотизм оставался непомеркшим и незапятнанным целое столетие — без одного года, — и это длительное облагораживающее влияние заложило такие основы порядочности в нашем народе, что сегодня он уже отворачивается от чужеродного, импортированного патриотизма и обращает свои взоры к патриотизму, унаследованному его предками от Вашингтона, к единственному истинно американскому патриотизму, который выстоял девятнадцать лет и имеет все основания выстоять еще миллион лет. Сомнение в том, справедливо ли поступили Соединенные Штаты по отношению к Филиппинам, все сильнее разгорается в сердцах американцев; за сомнением последует уверенность. Народ скажет свое слово, а воля народа — закон, иного властелина нет на нашей земле; и тогда мы исправим то зло, которое сотворили. Мы перестанем разбелевать

за мантин европейскими королевскими захватчиков, и Америка сделается опять, как прежде, подлинной мировой державой и самой главной из них всех. Если у нее, единственной, окажутся чистые руки, не замаранные порабощением беззащитного народа, если она отмоет их в патриотизме Вашингтона, — только тогда посмеет она без стыда предстать перед обожаемой Тенью и коснуться края ее одежд. Влияние Вашингтона создало Линкольна и других настоящих патриотов нашей республики; его влияние создало солдат, которые спасли Соединенные Штаты в годы Гражданской войны; и оно будет всегда служить нам защитой и путеводной звездой.

Как же должны мы поступить, когда судьба посылает нам Вашингтона, Линкольна, Гранта? Мы ведь знаем, что один яркий образец доброго влияния стоит больше, чем миллион сомнительных, а значит — мы обязаны беречь это влияние, всеми силами поддерживать его неугасимый, чистый огонь всюду — в детской, в школе, в университете, в церкви, на страницах газет и даже в конгрессе, если только это возможно!

Потребовались врожденные склонности, чтобы возникла основа характера Вашингтона, затем потребовались благоприятные внешние влияния, подходящие обстоятельства и широкое поле деятельности, чтобы личность его приняла законченный вид. То же самое можно сказать о Фанстоне.

II

«Война позади» — так писал газеты в конце 1900 года. Месяц спустя было обнаружено горное убежище побежденного, затравленного, обесценившего, но все же не павшего духом вождя филиппинцев. Армин у него уже не было, республика больше не существовала, нанбольш выдающиеся государственные деятели были высланы, генералы сошли в могилу или попали в плен. Память о его благородной мечте сохранится в веках и будет вдохновлять на подвиги более удачливых патриотов; но в тот момент эта мечта была мертва и казалась невоскресимой, хотя сам Агнияльдо не мог в это поверить.

И вот его поймали. Об обстоятельствах этого дела сочувственно рассказывает Эдвин Уайлден в своей книге «Агнияльдо». Уайлден заслуживает доверия, ибо он правильно суммирует сделанные в свое время генералом Фанстоном добровольные признания. Цитрую (курсив мой):

«Вплоть до февраля 1901 года место, где скрывался Агнияльдо, не могли обнаружить. Ключ к тайне дало письмо Агнияльдо, в котором он приказывал своему двоюродному брату Бальдомеро Агнияльдо прислать ему четыре сотни вооруженных людей. Проводником этого отряда Агнияльдо назначил того человека, которому было поручено доставить письмо. Приказ был зашифрован, но среди трофеев, захваченных в разное время, оказался код повстанцев.

Гонцу внушили новое понятие о его долге (какими средствами — об этом история умалчивает!), и он согласился провести американцев в убежище Агиальдо. Перед генералом Фанстоном открывалась возможность приключений, ни в чем не уступающих тем, о которых пишут в грошовых бульварных романах. Именно такая сногшибательная авантюра была ему по сердцу. Разумеется, не принято, чтобы бригадный генерал покидал свой высокий пост и превращался в разведчика, но Фанстон славился настойчивостью. Он разработал план поимки Агиальдо и обратился к генералу Макарттуру за разрешением действовать. Отказать в чем-нибудь этому дерзкому смельчаку, герою Рио-Гранде, было невозможно, и вот Фанстон приступил к делу, начав с изучения своеобразного почерка Лакуны, повстанческого офицера, о котором шла речь в письме Агиальдо. У Фанстона имелось несколько писем Лакуны, перехваченных незадолго до того вместе с кодом филиппинцев. Научившись в совершенстве подделывать почерк Лакуны, Фанстон написал два письма Агиальдо, якобы от имени этого филиппинца, — одно 24-го и другое — 28 февраля, — в которых он сообщил, что, в соответствии с приказом, он (Лакуна) посылает вождю часть самых отборных своих войск. Не ограничившись этой ловкой подделкой, Фанстон заставил одного бывшего повстанца, а ныне своего подчиненного, написать под диктовку, как бы от собственного имени, письмо к Агиальдо, в котором сообщал, что по дороге отряд внезапно налетом захватил группу американцев и взял в плен пятерых, которых он ведет к Агиальдо, ввиду их особой важности. Это было сделано для того, чтобы объяснить наличие в отряде пяти американцев: генерала Фанстона, капитана Хазарда, капитана Ньютона, лейтенанта Хазарда и адъютанта генерала Фанстона — лейтенанта Китчела.

Ядро фанстонского отряда составили семьдесят восемь человек из племени макабебов, исконных врагов племени тегалогов. Эти смелые, воинственные туземцы охотно приняли участие в осуществлении намеченного плана. В отряд вошли также три тегалого и один испанец. Макабебов одели в старые повстанческие мундиры, американцы же нарядились в поношенную солдатскую форму. Каждый получил винтовку и паек на трое суток. Храбрые искатели приключений отплыли на судне «Виксберг», с тем чтобы сойти на берег где-нибудь вблизи Паланана, где скрывался Агиальдо. Их высадили у Касиньяна, недалеко от тайной столицы повстанцев. Трех макабебов, свободно изъяснявшихся на языке тегалогов, послали в город с поручением сообщить туземцам, что они ведут к Агиальдо подкрепления, а также важных американских пленников, и потребовать у местных властей содействия и, в частности, проводников. Вождь повстанцев дал согласие, и скоро отряд, подкрепившись и продемонстрировав американских пленников, начал девяностомильный переход к Паланану, лежавшему в прибрежном горном районе провинции Изабелла. По кру-

тым подъемам и каменистым спускам, сквозь густые джунгли, вброд через горные речки и по узким тропинкам, с трудом ступая израненными ногами, брели измученные искатели приключений, пока не иссяк у них запас продовольствия и они не ослабели до такой степени, что не могли больше двигаться, хотя до убежища Агиальдо оставалось всего лишь восемь миль. Тогда к Агиальдо был направлен гонец — уведомить его о местонахождении отряда и попросить продовольствия. Вождь повстанцев не замедлил откликнуться: он прислал рису, а также письмо командиру отряда, в котором приказывал хорошо обращаться с пленными американцами, но оставить их за пределами города. Мог ли даже сам изобретательный Фанстон создать более удачные условия для выполнения своего плана! 23 марта отряд достиг Паланана. Агиальдо выслал навстречу одиннадцать своих солдат для конвоирования американских пленников, но Фанстон и его подручные сумели спрятаться в джунглях, и конвоиры прошли дальше, так как им сказали, что американцы оставлены где-то позади.

Фанстон тут же вернулся в отряд и приказал своим головорезам смело идти в город, прямо к штабу Агиальдо. Здесь их встретили выстроенные, как на параде, телохранители Агиальдо в синей военной форме и белых шляпах. Оратор, выступивший от имени прибывших, так хитро провел Агиальдо, что тот не заподозрил никакого подвоха. Тем временем макабебы под командованием испанца заняли выгодные позиции и ждали сигнала. Как только испанец крикнул им: «Макабебы, ваш черед!» — они стали в упор расстреливать охрану Агиальдо.

Американцы тоже приняли участие в схватке. Два человека из штаба Агиальдо были ранены, но скрылись, а казначей революционного правительства сдался. Остальные филиппинские офицеры бежали. Агиальдо с покорностью принял плен, сильно опасаясь, однако, мести макабебов. Но генерал Фанстон заверил его, что он может чувствовать себя в безопасности. Это успокоило Агиальдо, и он согласился разговаривать. Он был чрезвычайно удручен тем, что попал в плен, и заявил, что ни при каких других обстоятельствах его не взяли бы живым. Эти слова придадут еще больше значения подвигу Фанстона: борьба с Агиальдо была трудной, отчаянной и требовала применения особых методов.

Некоторые обычаи войны гражданского человеку не кажутся приятными, но нас учили к ним столько веков, что мы теперь находим для них оправдание и принимаем без протеста даже такое, от чего на сердце скребут кошки. Все, что сделал Фанстон, кроме одной мелочи, делалось во многих войнах и получило санкцию истории. По обычаю войны, в интересах операции, вроде той, какая была затеяна Фанстоном, бригадному генералу дозволяется (если ему это самому не противно!) склонить гонца на предательство — с помощью подкупа или иным путем; снять с себя почетные знаки различия и выдавать себя

за другого; лгать, совершать вероломные поступки, подделывать подписи, окружать себя людьми, чьи инстинкты и воспитание подготовили их для подобной деятельности; принимать любезные приветствия и убивать приветствующих, когда руки их еще хранят тепло дружеских пожатий.

По обычаю войн, все эти действия считаются невинными, ни одно из них не заслуживает порицания, все они вполне оправданы; ничего тут нет нового, все это совершалось и раньше, хоть и не бригадными генералами. Но одна деталь здесь действительно представляет собой нечто новое, о чем не делали никакие народы — ни первобытные, ни цивилизованные, — ни в каких странах и ни в какую эпоху. Речь идет именно о той детали, которую имел в виду Агнияльдо, когда сказал, что «ни при каких других обстоятельствах» его не взяли бы живым. Когда человек так ослабел от голода, что «не может больше двигаться», он вправе умолять своего врага спасти его жизнь, но уж если он отведает поднесенной пищи, то эта пища становится для него священной, по закону всех времен и народов, и спасенный от голода не имеет тогда права поднять руку на своего врага.

Понадобился бригадный генерал волонтерских войск американской армии, чтоб опозорить традицию, которую уважали даже лишние стыда и совести испанские монахи. *За это мы повысили его в чине.*

Наш президент, ничего не подозревая, протянул руку своему убийце, в момент когда тот выстрелил. Весь мир был поражен этим гнусным делом, оно вызвало много толков и печальных размышлений, заставило людей краснеть и говорить, что это убийство запятнало и опозорило человечество. Тем не менее, каким скверным ни был тот человек, он все-таки не обращался к президенту с мольбой поддержать его тающие силы, необходимые ему для совершения предательства, он не поднял руку на благодетеля, только что спасшего ему жизнь.

14 апреля. Я уезжал на несколько недель в Вест-Индию. Теперь я снова приступаю к защите генерала Фанстона.

Мне сдается, что рассказ генерала Фанстона о том, как он взял в плен Агнияльдо, нуждается в поправках. При всем моем почтении к генералу, я считаю, что в своих речах на званных обедах он расписывает собственный героизм слишком щедрыми красками (если я ошибаюсь, прошу меня поправить). Он храбрый человек, даже его злейший враг с готовностью это подтвердит. Можно только пожалеть, что в данном случае храбрости вовсе не требовалось; никто не сомневается, что у Фанстона нашлось бы ее достаточно. Однако из его собственных реляций явствует, что ему угрожала лишь одна опасность — голодная смерть. Фанстона и его людей надежно прикрывали опозоренные военные мундиры — американские и филиппинские; по численности группа Фанстона значительно превосходила личную охрану Агнияльдо¹, своим подлога-

ми и вероломством Фанстон сумел усыпить подозрения, — его ждали, ему указывали дорогу; его маршрут пролегал по безлюдным местам, где отряд едва ли грозил вражеское нападение; Фанстон и его люди были отлично вооружены, и их задачей было захватить свою добычу врасплох, в тот момент, когда филиппинцы выйдут на навстречу с радужной улыбкой, с дружески протянутой рукой. Все, что им оставалось тогда, — это пристрелить любезных хозяев. Именно так они и поступили. Подобная плата за гостеприимство считается последним словом современной цивилизации и у многих вызывает восхищение.

«Оратор, выступивший от имени прибывших, так хитро провел Агнияльдо, что тот не заподозрил никакого подвоха. Тем временем макабебы под командованием испанца заняли выгодные позиции и ждали сигнала. Как только испанец крикнул им: «Макабебы, ваш черед!» — они стали в упор расстреливать охрану Агнияльдо».

(Уже цитированное место из книги Уайлдмена.)

В том, что своими подлогами и вероломством Фанстон действительно сумел усыпить подозрения филиппинцев и застигнуть их врасплох, легче всего убедиться из нижеприведенного юмористического описания этого эпизода в одной из захватчатских речей Фанстона (как раз по поводу этой речи Фанстон вообразил, будто президент желает видеть ее напечатанной в газетах. Но это только померещилось кому-то, — вероятно, репортеру).

Вот что рассказывает генерал:

«Макабебы дали залп по этим людям и двоих убили на месте. Остальные отступили, отстреливаясь на бегу; и я должен сказать, что они отступили так проворно и энергично, что бросил восемнадцать винтовок и тысячу патронов.

Сигизмондо побежал в дом, выхватил револьвер и предложил повстанческим офицерам сдаться. Все они вскинули руки вверх, за исключением Вилья, начальника штаба Агнияльдо, — тот имел при себе новомодный маузер, и ему захотелось испробовать эту штуку. Но не успел он вытащить свой маузер из кобуры, как сам получил две пули, — Сигизмондо был тоже неплохой стрелок.

Аламбра был ранен в лицо. Он высочил из окна, — дом, между прочим, стоял у самой реки, — высочил из окна и бросился прямо в воду с берега высотой в двадцать пять футов. Он улизнул от нас, переплыл реку и скрылся, а через пять месяцев сам сдался в плен.

Вилья, с простреленным плечом, выпрыгнул из окна вслед за Аламброй и тоже кинулся в реку, но макабебы увидели это, побежали к берегу и выудили его. Они подгоняли его пинками всю дорогу вверх на берег и спрашивали, как ему это нравится. (Смех в зале.)»

¹ Как заявил Фанстон на банкете в клубе «Лотос», у него было восемьдесят девять человек, а в охране Агнияльдо — сорок восемь. (Примеч. автора.)

Хотя в ту минуту фанстонские головорезы, безусловно, не подвергались опасности, тем не менее был такой момент, когда опасность действительно возникла: им грозила смерть столь ужасная, что по сравнению с ней быстрая гибель от пули, топора или сабли, на видение, в воде или огне может показаться милостью; столь ужасная, что ей неоспоримо принадлежит первое место среди самых страшных человеческих мук, — я говорю про смерть от голода. Агинальдо спас их от такого конца.

Изложив эти факты, переходим к вопросу: виноват ли Фанстон? Я считаю, что нет. И по этому, на мой взгляд, дело Фанстона непомерно раздули. Ведь не сам же Фанстон создал свою натуру. Он с ней родился! Она, то есть натура, подбирала ему идеалы, он тут ни при чем. Она подбирала ему общество и товарищей по своему вкусу и заставляла его водить компанию только с ними, а всех остальных отвергать. Протнвиться этому Фанстон не мог. Она восхищалась всем, что претило Джорджу Вашингтону, радушно принимая и пригревая на груди все то, что Вашингтон одним пинком вышвырнул бы вон, но только она всему виной, а вовсе не Фанстон. Его натуру всегда тянуло к моральному шлаку, как натуру Вашингтона — к моральному золоту, но и здесь тоже была виновата она, а не Фанстон! Если она и обладала нравственным оком, то это око не отличало черное от белого; но при чем здесь Фанстон, можно ли винить его за последствия? Она имела врожденную склонность к гнусному поведению, но было бы в высшей степени несправедливо порицать за это Фанстона, как неправильно ставить генералу в вину, что его совесть испарилась сквозь поры его тела, когда он был еще маленьким, — удержать ее он не мог, да все равно совесть у него не выросла бы! Натура Фанстона могла сказать противнику: «Пожалей меня, я гибну от голода, я так ослабел, что не могу двигаться, дай мне поесть! Я — твой друг, твой брат-филлиппинец, такой же патриот, как и ты, и так же борюсь за свободу нашей дорогой отчизны. Сжалься — накорми меня и спаси, больше неоткуда ждать мне помощи!» И ее марионетка Фанстон смог подкрепиться полученной пищей и вслед за тем застрелить своего спасителя — застрелить в момент, когда тот протягивал ему руку для приветствия, как наш президент. И все же, если это было предательством и низостью, в этом виноват не Фанстон, а его натура. Она одарена превосходным чувством юмора, и публика на банкетах умирает от смеху, когда она рассказывает тот или иной комический эпизод. Стоит, например, перечитать дважды, а может быть, и несколько раз, эти строки:

«Сингзмондо побежал в дом, выхватил револьвер и предложил повстанческим офицерам сдаться. Все они вскинули руки вверх, за исключением Вилья, начальника штаба Агинальдо, — тот имел при себе новомодный маузер, и ему захотелось испробовать эту

штуку. Но не успел он вытщить свой маузер из кобуры, как сам получил две пули, — Сингзмондо был тоже неплохой стрелок.

Аламбра был ранен в лицо. Он высочил из окна, — дом, между прочим, стоял у самой реки, — высочил из окна и бросился прямо в воду с берега высотой в двадцать пять футов. Он улизнул от нас, переплыл реку и скрылся, а через пять месяцев сам сдался в плен.

Вилья, с простреленным плечом, выпрыгнул из окна вслед за Аламброй и тоже кинулся в реку, но макабебы увидели это, побежали к берегу и выудили его. Они подгоняли его пинками всю дорогу вверх на берег и спрашивали, как ему это нравится. (Смех в зале.)»

А ведь это же был раненый человек! Впрочем, все это говорит не Фанстон, а его натура. С молодым задором она наблюдала, как гибнут простодушные люди, отключившиеся на ее зов, когда она, теряя силы, молила о пище. Без сожаления она читала укор в их гаснущем взгляде; но будем справедливы — это все-таки была она, а не Фанстон! Она уполномочила действовать за себя генерала Фанстона, своего верного слугу от рождения; прикрывшись формой американского солдата и шествуя под сенью американского флага, она творила свое черное дело, показывая пример чудовищной неблагодарности и вероломства. И вот теперь она возвращается домой учить наших детей ПАТРИОТИЗМУ! Уж ей ли не знать, что это такое?!

Мне ясно, и, думаю, это ясно всем: нельзя винить генерала Фанстона за то, что он делал и делает, за то, что думает и говорит.

Итак, Фанстон перед нами; он существует, и мы за него отвечаем. Встает вопрос, что нам с ним делать, как бороться с этой катастрофой? Мы знаем, как обстояло дело с Джорджем Вашингтоном. Он стал великим образцом для всех времен и для всего человечества, ибо имея его и дела его известны всему миру; они вызывали, вызывают и будут всегда вызывать у людей восторг и тягу к подражанию. В данном же случае человечеству надо поступить иначе: вывернуть преступную славу Фанстона с позолоченной стороны наизнанку и раскрыть истинную черную суть ее перед молодежью нашей страны. В противном случае генерал тоже станет для молодого поколения образцом, кумиром, и — к нашей величайшей скорби — уродливый патриотизм фанстонского толка начнет соревноваться с патриотизмом Вашингтона. Собственно говоря, такое соревнование уже началось. Этому трудно поверить, но ведь факт, что находятся учителя и директора школ, которые преподносят Фанстона детям как образец героя и патриота.

Если этот фанстонский «бум» не прекратится, то он скажется и на армии. Впрочем, и это уже наблюдается. Во всех армиях есть неумные, морально неустойчивые офицеры, которые всегда готовы усердно копировать любые методы — и достойные и недостойные, —

лишь бы добиться славы. Людям такого рода достаточно услышать, что Фаистон приобрел известность, поразив весь мир новой чудовищной выдумкой, и они рады следовать его примеру, а при первом удобном случае попытаются даже переgehen его. Фаистон имеет уже немало подражателей: история Соединенных Штатов обогатилась множеством отвратительных фактов. Вспомним, например, о страшных пытках водой, которым подвергали филиппинцев, чтобы вынудить у них признания, — только какие, правдивые или ложные? Кто знает? Под пыткой человек может сказать все, что от него требуют, — и правду и ложь; показывая его не представляют никакой ценности. Однако на основе имею таких показаний действовали американские офицеры... впрочем, вы сами знаете о всех тех зверствах, которые наше военное министерство скрывало от нас год или два, и о прогремевшем на весь мир приказе генерала Смита проводить *массовую резню* на Филиппинах; содержание приказа было передано печатно на основе показаний майора Уоллера:

«Жгите и убивайте, теперь не время брать в плен. Чем больше вы убьете и сожжете, тем лучше. Убивайте всех, кто старше десятилетнего возраста. Превратите Самар в голую пустыню».

Вот видите, что показал пример Фаистона за такой короткий срок — даже до того, как он показал этот пример. Он продвинул нашу Цивилизацию далеко вперед, по меньшей мере настолько, насколько Европа продвинула ее в Китае. Несомненно также и то, что пример Фаистона позволил Америке (да и Англии) копировать ужасы усмирительной деятельности Вейлера. А ведь раньше и Англия и Америка с ханжеской ухмылкой, задрав к небу свои святошеские носы, называли Вейлера «чудовищем». А страшное землетрясение в Кракатау, уничтожившее остров с двумя миллионами жителей... впрочем, пример Фаистона тут ни при чем: я вспомнил, что тогда его еще на свете не было.

И все-таки я считаю виновным во всем только натуру Фаистона, но не его самого. Скажу в заключение, что я защищал его по мере сил, и не так уж это было трудно. Думаю, что я рассеял все предубеждения против Фаистона и окончательно его реабилитировал. Но вот натуру его я никак не мог обелить — это не в моей власти. И не во власти Фаистона или кого бы то ни было. Как я доказал, нельзя винить Фаистона за его отвратительный поступок; при известном странья я мог бы также доказать, что не его вина, если Америка продолжает держать в неволе человека, незаконным путем захваченного в плен Фаистоном, человека, на которого у нас не больше прав, чем у вора на украденные деньги. Он должен получить свободу. Будь он монархом какой-нибудь большой державы или экс-президентом Соединенных Штатов, а не бывшим президентом раздавленной и уничто-

женной маленькой республики, Цивилизация (с большой буквы!) не прекращала бы критики и шумного протеста, пока он не получил бы свободы.

P. S. 16 апреля. Сегодня утром президент выступил с речью, и тон этой речи не оставляет никаких сомнений. Это речь президента, произнесенная не от имени какой-то партии, а от имени народа, и всем нам она понравилась — и предателям, и прочим гражданам. Думаю, что я имею право выступать от имени остальных предателей, ибо уверю, что они разделяют мои чувства. Объясню: клычку предателей мы получили от фаистонских патриотов бесплатно. Они всегда делают нам такие комплименты. Ох, и любят же эти молодчики лстыть!

ВОЕННАЯ МОЛИТВА

То было время величайшего воления и подъема. Вся страна рвалась в бой — шла война, в груди всех и каждого горел священный огонь патриотизма; гремели барабаны, играли оркестры, палили игрушечные пистолеты, пучки ракет со свистом и трестом взлетали в воздух; куда ни глянь — вдоль теряющихся вдаль крыш и балконов сверкала на солнце зыбкая чаша флагов; каждый день юные добровольцы, веселые и такие красивые в своих новых мундирах, маршировали по широкому проспекту, а их отцы, матери, сестры и невесты срывающимися от счастья головами приветствовали их на пути; каждый вечер густые толпы народа затаив дыхание внимали какому-нибудь «патриоту-оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их души, и то и дело прерывали ее бурей аплодисментов, в то время как слезы текли у них по щекам; в церквях священники убеждали народ верой и правдой служить отечеству и так пылко и красноречиво молили бога войны ниспослать нам помощь в правом деле, что среди слушателей не нашлось бы ни одного, который не был бы растроган до слез. Это было поистине славное, удивительное время, и те немногие опрометчивые люди, которые отваживались неодобрительно отзываться о войне и усомниться в ее справедливости, тотчас получали столь суровую и гневную отповедь, что ради собственной безопасности почитали за благо убраться с глаз долой и помалкивать.

Настало воскресенье — на следующий день войска выступили на фронт; церковь с утра была набита до отказа, здесь же находились и добровольцы, чьи юные лица горели в предвкушении ратных подвигов; мысленно они уже были там — вот они наступают, упорно, все быстрее и решительнее, стремительный натиск, блеск сабель, враг бежит, паника, пороховой дым, яростное преследование, капитуляция! — и вот они снова дома: вернулись с войны закаленные в боях герои, долгожданные и обожаемые, в золотом сиянии победы! С добровольцами сидели рядом их близкие, гордые и счастливые, вызывая зависть друзей и соседей, не имевших братьев и

сыновей, которых они могли бы послать на поле битвы добыть отсюда победу или же пасть смертью храбрых. Служба шла своим чередом: священник прочел военную главу из Ветхого завета, потом первую молитву; загулел орган, сотрясая здание; молящиеся поднялись в едином порыве, с бьющимся сердцем и блестящими глазами, и в церкви зазвучал могучий призыв:

Господи, грозно на землю взирающий,
Молнии, громы послушны тебе!

Затем последовала «долгая» молитва. Никто не мог бы припомнить ничего равного ей по страстности и проникновенности чувства и по красоте изложения. Просил в ней больше всего о том, чтобы всеобщего и милосердного отца наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвиге во имя отчизны; чтобы он благословлял их и охранял в день битвы и в час опасности, держал их в своей деснице, дал им силу и уверенность и сделал непобедимыми в кровных схватках; чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их оружию и стране вечный почет и славу...

В эту минуту в церковь вошел какой-то молодой незнакомец и неторопливо, бесшумно поступью направился по главному проходу к алтарю. Глаза его были устремлены на священника, высокую фигуру облекала одежда, доходившая до пят, и седые волосы пышной гривой падали на плечи, обрамляя изобразительное морщинами лицо, неестественное, даже мертвено-бледное. Все с недоумением смотрели на него, а он, молча пройдя между скамей, поднялся на кафедру и выходяще стал рядом со священником. Смежив веки и не догадываясь о присутствии незнакомца, священник продолжал читать свою волнующую молитву и закончил ее страстным призывом: «Благослови наше воинство, даруй нам победу, господи боже наш, отец и защитник земли нашей и оружия!»

Незнакомец дотронулся до его плеча, жестом приказал ему отойти, — что изумленный священник не замедлил исполнить, — и занял его место. Несколько мгновений он сурово оглядывая потрясенных слушателей, и глаза его горели призрачным огнем, потом низким, глухим голосом начал:

— Я — посланец престола, несущий вам слово господне!

Прихожане стояли как громом пораженные; незнакомец если и заметал их испуг, то не обратил на него ни малейшего внимания.

— Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего пастыря, и готов ее исполнить, если таково будет ваше желание после того, как я, его посланец, разъясню вам ее смысл, точнее — полный ее смысл. Ибо, как и во многих других людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь, — если, конечно, вы заранее все не обдумали.

Слуга божий и ваш прочел молитву. Подумал ли он, прежде чем прочесть ее? И одна ли это молитва? Нет, их две: одна — которую

он произнес вслух, и другая — которой не произнес. И обе достигли ушей того, кто слышит все просьбы — высказанные и невысказанные. Поразмыслите над этим — и запомните. Если станете просить благословения своим делам и поступкам, будьте осторожны, ибо в эту минуту вы непреднамеренно можете навредить проклятию на своего соседа. Если вы молитесь о ниспослании дождя, ибо он нужен полям нашим, — тем самым вы, быть может, молитесь о бедствии для соседа, чья земля не нуждается во влаге и дождь только испортит ему урожай.

Вы слышали молитву вашего слуги — ту ее часть, которую он произнес вслух. Господь послал меня к вам, чтобы я облек в слова другую ее часть, — то, о чем пастор и все вы в глубине сердца молча молили его. Не разумея и не думая, о чем молитесь? Дай бог, чтобы это было так. Вы слышали слова: «Даруй нам победу, господи боже наш!» Этого достаточно. Вся молитва, которую вы произносили здесь вслух, заключена в этих многословных словах. Уточнения излишни. Моля о победе, вы молили и о многих не упомянутых вами следствиях, которые сопутствуют победе, должны ей сопутствовать, не могут не сопутствовать. И вот до слуха отца нашего небесного дошла и невысказанная часть молитвы. Он повелел мне облечь ее в слова. Внимайте же!

Господи боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец наших, идут в бой — пребудь с ними! В мыслях мы вместе с ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем громить недругов. Господи боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые ключи; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палыми солнцем, зимой — дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тешито умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется тебе, о господи, развежь прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжелей их шаг, окропи их путь слезами, обари белый снег кровью их израненных ног! С любовью и верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и приближенный для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь.

(Помолчав немного.) Вы молились об этом; если вы все еще желаете этого, — скажите! Посланец всевышнего ждет.

Впоследствии многие утверждали, что это был сумасшедший, ибо речь его была лишена всякого смысла.

Вопрос. Как удалось компании «Стандард-Ойл» поднять свои прибыли до 60 процентов основного капитала?

Ответ. При помощи высоких ввозных пошлин.

Вопрос. Что нужно сделать, чтобы снизить цены на нефть наполовину и свести прибыли «Стандард-Ойл» к 10 процентам?

Ответ. Отменить ввозные пошлины.

Вопрос. Кто ввел эти пошлины?

Ответ. Большинство американского народа, отдавшее свои голоса республиканской партии.

Вопрос. Кто поддерживает эти пошлины и обеспечивает «Стандард-Ойл» шестидесятипроцентные прибыли?

Ответ. Большинство американского народа, отдавшее свои голоса республиканской партии.

Вопрос. По чьей милости мы платим двойную цену за нефть?

Ответ. По милости большинства американского народа, отдавшего свои голоса республиканской партии.

Вопрос. Кто поклялся выбить «Стандард-Ойл» с захваченных ею позиций?

Ответ. Ее создатель и хранитель — стоящая у власти республиканская партия.

Вопрос. Нельзя ли побороть «Стандард-Ойл», взыскав с нее штраф в размере полугодичной или даже годичной прибыли?

Ответ. Нет.

Вопрос. Почему?

Ответ. Потому что тогда «Стандард-Ойл» поднимет еще выше цены на нефть и взыйдет штраф с американского народа. Штрафуя народ, не подорвешь «Стандард-Ойл».

Вопрос. Народ возмущен. Народ найдет способ побороть «Стандард-Ойл»?

Ответ. Вы заблуждаетесь. Есть только один верный способ побороть «Стандард-Ойл». Народ знает, что мог бы с успехом воспользоваться этим способом, но он также знает, что у компании есть близкий друг и могущественный покровитель, который не даст ее в обиду.

Вопрос. Вы имеете в виду правительство и республиканскую партию?

Ответ. Да.

Вопрос. Вы утверждаете, что единственный верный способ борьбы — это отмена ввозных пошлин? Вы действительно уверены, что это снизит цены на нефть наполовину?

Ответ. Я ручаюсь.

Вопрос. Так почему же правительство не заступится за народ и не отменит пошлину?

Ответ. Не задавайте смешных вопросов.

16 февраля 1906 г.

[УЧЕНИЕ ДЖЕЯ ГУЛДА]

Из всех бедствий, постигавших нашу страну, Джей Гулд был самым ужасным. Мои соотечественники тянулись к деньгам и до него, но он научил их пресмыкаться перед деньгами, обожествлять их. Они и раньше почитали людей с достатком, но это было отчасти уважением к воле, к труду, которые потребовались, чтобы добиться достатка. Джей Гулд научил всю страну обожествлять богатей, невзирая на то, как их богатство добыто. Я не помню в дни моей юности в наших краях такого поклонения богатству. Я также не помню, чтобы в наших краях о ком-либо, жившем в достатке, было известно, что он добыл свои деньги нечестным путем.

Евангелие, оставленное Джеймсом Гулдом, свершает свое триумфальное шествие в наши дни. Вот оно: «Делай деньги! Делай их побыстрее! Делай побольше! Делай как можно больше! Делай бесчестно, если удастся, и честно, если нет другого пути!».

Это евангелие, как видно, считается общепризнанным. Мак-Карди, Макколы, Гайды, Александры и другие бандиты, выбитые недавно со своих позиций в гигантских страховых компаниях Нью-Йорка, выступают его апостолами. Третьего дня в газетах появилось сообщение, что Маккол умирает. О других тоже не раз сообщалось, за последние два-три месяца, что они накануне кончины. Не следует думать, будто они умирают от стыда и от горя, что раздели до интими три миллиона держателей своих страховых полисов; их семьи, их вдов и сирот. Нет, не угрызения совести мучают этих людей. Они болеют от злости, что их вывели на чистую воду. Вчера — я прочел об этом сегодня в газете — Джон Маккол, совсем позабыв о своих предстоящих похоронах, преподнес американскому народу лекцию на тему о нравственности. Он знает, что все, что он скажет богач (здоровый или умирающий, это не важно), немедленно проглотят через посредство печати от одного конца континента до другого и будет прочтано каждым, кто умеет складывать буквы в слова. Маккол проповедует, адресуясь якобы к своему сыну, на самом же деле — к нам с вами, к американ-

цам. Первое впечатление, что он говорит искренно, и я полагаю, что он действительно искренен. Думаю, что нравственное чувство у него давно атрофировано. Думаю, что он действительно считает себя человеком высокой морали, может быть, даже святым. К тому же он убежден, что так о нем думают все. Ему поклоняются потому, что у него много денег, в особенности же потому, что на протяжении двадцати лет он добывал эти деньги нечестным путем. Я думаю, он так привык к воздаваемым ему почестям, настолько введен в заблуждение, что и в самом деле считает себя удивительным и прекрасным созданием божьим, благородным примером для грядущих веков. Он так счастлив, исполнен такой важности, так доволен собой, что можно подумать, что на совесть у него нет черных пятен и в послужном кондунте ни одного преступления. Вот вам для образчика его небольшая проповедь:

«РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ!» — ТАК ГОВОРИТ
МАККОЛ

«Беседа с сыном, он рассказал о своей последней сигаре».

(Нам сообщает по телеграфу специальный корреспондент «Нью-Йорк таймс»):

«Лейкауд, 15 февраля. — Джон Маккол чувствовал себя сегодня настолько бодрее, что провел продолжительную беседу со своим сыном Джоном Макколом-младшим и привел ему несколько интересных примеров из головокружительной истории своей деловой карьеры.

— Джон, — сказал он, — у меня было в жизни немало поступков, о которых я сожалею, но ни одного, который заставил бы меня краснеть. Мой совет молодым людям, которые хотят добиться успеха: брать жизнь такой, как она есть, и — работать, работать!»

Мистер Маккол уверен, что главное, что движет вперед человечество, — это сильная воля. Он привел пример из своей биографии:

— Как-то раз, Джон, мы с твоей матушкой сидели и о чем-то беседовали. Я закурил сигару. Я был усердным курильщиком, хорошая сигара доставляла мне удовольствие. Твоя матушка не одобряла, что я курю.

— Джон, — сказала она, — брось сигару.

Я бросил сигару.

— Джон, — сказала она, — я прошу тебя, не кури больше совсем.

И сигару, которую я закурил и бросил тогда, была последней сигарой во всей моей жизни. Я решил перестать курить и перестал. Тому — ровно тридцать пять лет.

Мистер Маккол привел еще несколько слушателей из своей деловой практики. Его настроение заметно улучшилось. Это отчасти объясняется тем, что мистер Маккол получил сегодня сотни приветственных телеграмм в связи со вчерашним его заявлением о неизменно дружеских чувствах к Эндрию Гамильтону. «Куча телеграмм для отца из южных, северных, восточных, западных штатов. Все одобряют вчерашнее заявление, которое он сделал о своем друге судье Гамильтоне, — сообщил сегодня вечером молодой мистер Маккол, — все желают ему поскорее поправиться и быть в добром здравии. Он очень доволен».

В три часа ночи у мистера Маккола был приступ сердечной слабости. Приступ был незначительным, вызывать врача не понадобилось. Он сейчас ограничен в пище, пьет молоко и бульон. Старается сбавить вес.

В пять часов пополудни в доме Макколов состоялся консилиум в составе доктора Вандерпола и доктора Чарльза Л. Линдли. Они заявили миссис Маккол и миссис Дарвин П. Кингсли, дочери мистера Маккола, что находят состояние больного хорошим; непосредственной опасности нет.

«Мистер Маккол отлично провел этот день, чувствует себя лучше», — заявил Маккол-младший вечером.

Дальше идет нечто вроде медицинского бюллетеня. Такие бюллетени выпускаются ежедневно, когда кто-нибудь из монархов или иная, достойная благоговения персона «отлично провели день и чувствуют себя лучше». В силу причин, которые остаются для меня непонятными, этот факт должен радовать и утешать все прочее человечество.

Сыновья и дочери Джея Гулда возвращаются в так называемом «высшем свете» Нью-Йорка. Лет десять — двенадцать тому назад одна из его дочерей вышла замуж за титулованного француза, безмозглого фата и игрока — ценной уплаты его миллионного долга. Соглашение касалось лишь прошлых, брачных долгов — не будущих. Но будущие долги переросли в настоящие и достигли гигантских размеров. Сейчас, ждая избавиться от своей незавидной покупки, она начала бракоразводный процесс, и весь мир сочувствует ей, — разве она не достойна сочувствия?

Понедельник, 12 марта 1906 г.

[ИЗБИЕНИЕ МОРО]

Оставим пока моих товарщиц, с которыми я учился шестьдесят лет назад, — мы вернемся к ним позднее. Они меня очень интересуют, и я не собираюсь расставаться с ними навсег-

да. Однако даже этот интерес уступает место впечатлению от происшедшего на днях события. Мир был оповещен об этом событии в прошлую пятницу, когда наше правительство в Вашингтоне получило от командующего нашими войсками на Филиппинах официальную телеграмму примерно следующего содержания:

Племя темнокожих дикий моро укрепило в кратере потухшего вулкана неподалеку от Холо; и поскольку они относились к нам враждебно и были озлоблены, так как мы в течение восьми лет пытались лишить их свободы и законных прав, занятая ими позиция представлялась угрожающей. Командующий нашими войсками генерал Леонард Вуд выслал разведку. Последняя установила, что все племя моро вместе с женщинами и детьми насчитывает шестьсот человек, что кратер расположен на вершине горы, в двух тысячах двухстах футах над уровнем моря, и что подъем туда для наших войск и артиллерии очень труден. Тогда генерал Вуд приказал произвести внезапное нападение и сам отправился с войсками, чтобы проследить за выполнением своего приказа. Наши войска поднялись на гору кружками и трудными тропами, захватив с собой также и пушки. Какне мнеио — точно не указывалось, но в одном месте их пришлось на канатах втаскивать по крутому обрыву высотой футов около трехсот. Когда наши войска приблизились к краю кратера, началась битва. Число наших солдат составляло пятьсот сорок человек. Кроме того, имелся вспомогательные силы — отряд туземной полиции, состоящей у нас на жалование (численность не указана), и отряд морской пехоты (численность не сообщена). Однако можно считать, что силы сражающихся были приблизительно равны: шестьсот наших солдат — на краю кратера, и шестьсот мужчин, женщин и детей на дне кратера. Глубина кратера — пятьдесят футов.

Приказ генерала Вуда гласил: «Убейте или возьмите в плен эти шестьсот человек».

Началась битва (так официально называется то, что произошло). Наши войска открыли по кратеру артиллерийский огонь, подкрепляя его стрельбой из своих смертоносных винтовок с точным прицелом; дикири отвечали яростными залпами — скорее всего, ругани; впрочем, последнее — это только мое предположение, а в телеграмме оружие, которыми пользовались дикири, не указано. До сих же пор моро обычно пускали в ход нож и дубины, а иногда допотопные мушкеты (в тех редких случаях, когда их удавалось выменять у торговцев).

В официальном сообщении сказано, что обе стороны сражались с большой энергией, что битва длилась полтора дня и закончилась полной победой американского оружия. Насколько полна эта победа, указывает тот факт, что из шестисот моро в живых не осталось ни одного. Насколько она блестяща, указывает другой факт, а именно: из наших шестисот героев на поле брани пало только пятьдесят.

Генерал Вуд наблюдал битву с начала и до конца. Его приказ гласил: «Убейте или возьмите в плен» этих дикарей. Очевидно, наша малейшая армия истолковала это «или» как разрешение убивать или брать в плен, смотря по вкусу; и так же очевидно, что их вкус был тем же самым, который уже восемь лет про-являют иши войска на Филиппинах, — вкусом христиан-миссионеров.

Официальное сообщение надлежащим образом превозносит и приукрашивает «героизм» и «доблесть» нашей армии, оплакивает гибель пятнадцати павших и описывает раны тридцати двух наших воинов, которые пострадали во время боевых действий, причем описывает их в интересах будущих историков Соединенных Штатов с мельчайшими подробностями. В сообщении упоминается, что локоть одного из рядовых был поцарапан металлическим снарядом, и указывается фамилия этого рядового. Другому снаряд оцарапал кончик носа. Его фамилия тоже была упомянута в телеграмме, где слово стоит один доллар пятьдесят центов.

В сообщении, пришедшем на следующий день, подтверждались полученные накануне сведения, снова изыскивались фамилии наших пятнадцати убитых и тридцати двух раненых, и опять давалось подробное описание ран, разрозненное соответствующими прилагательными.

Давайте вспомним две-три подробности нашей военной истории. В одной из величайших битв Гражданской войны было убито и ранено около десяти процентов солдат обеих сторон. При Ватерлоо, в котором участвовало четверста тысяч человек, за пять часов было убито и ранено около пятидесяти тысяч, а триста пятьдесят тысяч остались целы и невредимы, в полной готовности для новых военных авантюр. Восемь лет назад, когда разыгрывалась жалкая комедия, именуемая Кубинской войной, мы призвали под ружье двести пятьдесят тысяч человек. Мы дали немало блестящих сражений и к концу войны потеряли из наших двухсот пятидесяти тысяч ранеными и убитыми на поле боя двести шестьдесят восемь человек и, кроме того, — благодаря искусству армейских врачей — в четырнадцать раз больше в полевых и тыловых госпиталях. Мы не истребили испанцев поголовно — отнюдь нет. В каждом бою иши враги несли потери, примерно равные двум процентам их общей численности.

Сравнив все это с великолепными статистическими данными, полученными из кратера, где укрылись моро! С каждой стороны в бою участвовало по шестьсот человек; мы потеряли пятнадцать человек убитыми на месте, и еще тридцать два было ранено, — считая вышеупомянутые нос и локоть. У противника было шестьсот человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили их всех до одного, не оставив в живых даже младенца, чтобы оплакивать погибшую мать. Несомненно, эта самая великая, самая замечательная победа, одержанная христианами войсками Соединенных Штатов за всю их историю.

Так как же было принято сообщение о ней? Все газеты этого города с населением в четыре миллиона тринадцать тысяч человек напечатали это великолепное известие в пятницу утром под великолепными заголовками. Но ни в одной из редакционных статей не было упомянуто о нем ни единым словом. То же самое известие снова было напечатано в ту же пятницу во всех вечерних газетах, — и снова их передовые молчали о нашей неслыханной победе. Дополнительные статистические данные и прочие факты появились во всех утренних газетах, — и по-прежнему в передовицах ни восторга по их поводу, ни вообще какого-либо упоминания о них. Эти же добавления появились в вечерних газетах (в ту же субботу), — и снова ни малейшего из них отклика. В столбцах, отведенных под письма в редакцию, ни в пятницу, ни в субботу, ни в утренних, ни в вечерних газетах не встретилось ни единого упоминания о «битве». Обычно в этом разделе бушуют страсти читателя-гражданина; он не пропустит ни одного события, будь оно крупным или мелким, без того, чтобы не излить там свою хвалу или порицание, свою радость или возмущение. Но, как я уже сказал, эти два дня читатель хранил то же непроницаемое молчание, что и редакции газет. Насколько мне удалось установить, только один человек из всех восьмидесяти миллионов позволил себе публично высказаться по поводу столь замечательного события — это был президент Соединенных Штатов. Всю пятницу он молчал столь же усердно, как и остальные. Но в субботу он почувствовал, что долг повелевает ему как-то откликнуться на это событие; он взял перо и исполнил свой долг. Если я знаю президента Рузвельта, — а я убежден, что знаю его, — это высказывание стоило ему большего стыда и страдания, чем любое другое, произнесенное его устами или вышедшее из-под его пера. Я его отнюдь не порицаю. На его месте и я, подчиняясь служебному долгу, был бы вынужден написать то же самое. Этого требовал обычай, давняя традиция, отступить от которой он не мог. Иного выхода у него не было. Вот что он написал:

Вашингтон, 10 марта
Вуду. Манила.

Поздравляю вас, а также офицеров и солдат, находящихся под вашей командой, с блестящей военной операцией, во время которой вы и они столь достойно поддержали честь американского флага.

(Подпись): Теодор Рузвельт

Все это заявление — простая дань традиции. В нем нет ни одного искреннего слова. Президент превосходно понимал, что загнать шестьсот беспомощных и безоружных дикарей в кратер, как крыс в крысоловку, а затем в течение полутора дней методически их истреблять с безопасных позиций на высотах — это еще не значит совершить блестящую военную операцию; и что это деяние не стало бы бле-

сташей военной операцией, даже если бы христианская Америка в лице оплачиваемых ею солдат поражала бы несчастных моро вместо пуля Библии и «Золотой заповедью». Он превосходно понимал, что наши одежде в мундир убийцы не поддержали чести американского флага, а наоборот — в который уже раз на протяжении восьми лет войны на Филиппинах обесчестили его.

На следующий день, в воскресенье (это было вчера), телеграф принес дополнительные известия — еще более великоленные, делающие еще большую честь нашему флагу; и кричащие заголовки возвещают:

**ВО ВРЕМЯ БОЙНИ В КРАТЕРЕ ПОГИБЛО
МНОГО ЖЕНЩИН.**

«Бойня» — хорошее слово; в самом полном словаре не найдешь лучшего.

Следующая строка, тоже набранная жирным шрифтом, гласит:

**ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ СМЕШАЛИСЬ С ТОЛПОЙ
В КРАТЕРЕ И ПОГИБЛИ ВМЕСТЕ
С ОСТАЛЬНЫМИ.**

Речь идет всего только о нагих дикарях, и все же становится как-то грустно, когда взгляд падает на слово «дети», — ведь оно всегда было символом невинности и беспомощности, и благодаря его бессмертной красноречивости дует кожи, вера, национальность куда-то исчезают, и мы помним одно: это дети, все лишь дети. И если они плачут от испуга, если с ними случилась беда, — необоримая жалость сжимает наши сердца. Перед нашими глазами встает картина. Мы видим крохотные фигурки. Мы видим искаженные ужасом личики. Мы видим слезы. Мы видим слабые ручки, с мольбой цепляющиеся за мать... Но видим мы не тех детей, о которых говорим: на их месте мы представляем себе малышей, которых мы знаем и любим.

Следующий заголовок, словно солнце в зените, пылает яркими лучами американо-христианской славы:

ЧИСЛО УБИТЫХ ДОСТИГЛО УЖЕ 900.

Никогда еще я так не гордился американским флагом!

Следующий заголовок сообщает, какие надежные позиции занимали наши солдаты. Он гласит:

**В ЯРОСТНОЙ БИТВЕ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ДАХО
НЕВОЗМОЖНО ОТЛИЧИТЬ МУЖЧИН
ОТ ЖЕНЩИН.**

Нагие дикари были так далеко внизу, на дне кратера-западины, что наши солдаты не могли отличить женскую грудь от маленьких мужских сосков; они были так далеко, что солдаты не могли отличить еле ковыляющего двухлетнего карапуза от темнокорого великана. Это, несомненно, наименее опасная битва, в которой когда-либо принимали участие солдаты-христиане любой национальности.

Следующий заголовок сообщает:

БОЙ ИДЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ.

Следовательно, нашим солдатам потребовалось не полтора дня, а четыре. Это был дол-

гий упоительный пикник, во время которого можно было сидеть сложа руки, постреливать «Золотой заповедью» в людей, мемушихся по кратеру, и мысленно сочинять письма восхищенным родным с описанием славных подвигов. Моросражались за свою свободу тоже четыре дня, но для них это было печальное время. Каждый день они видели, как гибнут двести двадцать пять человек их соплеменников, так что ночью им было о чем горевать и кого оплакивать, причем вряд ли они утешались мыслью, что в свою очередь успели убить четырех своих врагов, а еще нескольких ранить в локти и в нос, — это им, наверное, не было известно.

Последний заголовок сообщает:

**ЛЕЙТЕНАНТ ДЖОНСОН, СБРОШЕННЫЙ
ВЗРЫВОМ СО СКАЛЫ, ОТВАЖНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ
АТАКУ.**

Лейтенант Джонсон просто заполняет телеграммы, начиная с самой первой. Он и его рана произзывают их своим блеском, словно искра, пробегающая огненной змейкой по уже обуглившемуся листку бумаги. На ум нерольно приходит один из недавних фарсов Гиллелта «Слишком много Джонсона». Судя по всему, Джонсон оказался единственным из наших раненых, чей раной можно было хоть как-то козырнуть. Она наделала больше шума в мире, чем любое другое событие такого же рода, с тех самых пор как Шалтай-Болтай упал со стены и разбился. Трудно сказать, что вызывает больший экстаз в официальных депешах — восхитительная рана Джонсона или девятьсот безжалостных убийств. Восторги, которые по цене полтора доллара за слово изливает Белому дому армейский штаб, находящийся в другом полушарии, зажгли ответный восторг в груди президента. Оказывается, бесстрашно раненный лейтенант принимал под командой подполковника Теодора Рузвельта участие в битве при Сан-Хуан-Хилл — этом двойнике Ватерлоо, — когда полковник — ныне генерал-майор — Леонард Вуд отправился в тыл за пилюлями и пропустил сражение. Президент питает слабость ко всем, кто был участником этого кровавого столкновения двух военных солнечных систем, и поэтому он не тратя времени послал раненому герою телеграмму: «Как вы себя чувствуете?» И получил ответ: «Благодарю, прекрасно». Историческое событие! Оно станет достоянием потомства.

Джонсон был ранен в плечо осколком. Осколком гранаты — поскольку было сообщено, что причиной всему был взрыв гранаты, который и сбросил Джонсона со скалы. У морос в кратере пушек не было, следовательно, Джонсона со скалы сбросил взрыв нашей собственной гранаты. Таким образом, достоянием истории стал тот факт, что единственный наш офицер, получивший достойную упоминания рану, стал жертвой своих же соратников, а не врага. Если бы мы поместили наших солдат вне радиуса действия наших пушек, весьма вероятно, что мы вышли бы из самой поразительной битвы во всей истории без единой царапины.

Зловещий паралич прессы не проходит. В «Письмах читателей» мелькнули — в весьма незначительном количестве — гневные упреки по адресу президента, так странно назвавшего эту трусливую резню «блестящей военной операцией» и похвалившего наших мясников за то, что они «достойно поддержали честь флага». Но все передовые об этой военной операции дружно молчат.

Надеюсь, что молчание это не будет нарушено. По-моему, оно столь же красноречиво, сокрушительно и действенно, как самые неголующие слова. Когда человек засыпает среди шума, он спит спокойно, но стоит шуму прекратиться — и тишина его будит. Эта тишина длится уже пять дней. И конечно же — она будит сонную нацию. И конечно — нация задумывается над тем, что это означает. Такого пятидневного молчания вслед за потрясающим событием свет не видывал с тех пор, как родилась ежедневная пресса.

Вчера на обеде без дам, в честь отъезда Джорджа Харви в Европу, говорились только о блестящей военной операции, и не было сказано ничего, что президент, или генерал-майор Вуд, или порученный Джонсон могли бы счесть комплиментом или хвалой, достойной занесения в историю нашей страны. Харви сказал, что, по его мнению, негодование и стыд, вызванные этим эпизодом, будут все глубже въедаться в сердце нации, все сильнее восплаяться там и не останутся без последствий. По его мнению, это погубит республиканскую партию и президента Рузвельта. Я не верю, что это предсказание сбудется, ибо пророчества, обещающие что-либо нужное, желательное, хорошее, достойное, никогда не сбываются. События пророчества такого рода подобны справедливым войнам — их так мало, что они просто не считаются.

Позавчерашняя телеграмма от счастливого генерала Вуда по-прежнему была составлена в самых радужных тонах. В ней по-прежнему с гордостью описывались подробности того, что именовалось «ожесточенной рукопашной схваткой».

Генерал Вуд, по-видимому, не подозревает, что он, как говорится, выдал себя с головой. Ведь если бы дело действительно дошло до ожесточенной рукопашной схватки, то девятьсот дерущихся врукопашную бойцов, да к тому же дерущихся ожесточенно, непременно должны были бы убить более пятнадцати наших солдат, прежде чем погибли бы сами — до последнего мужчины, женщины и ребенка.

Ну так вот: тон вчерашней телеграммы чуть-чуть изменился, — слово генерал Вуд собирается умерить свои восторги и начать оправдываться и объяснять. Он заявляет, что берет на себя всю ответственность за сражение. Следовательно, он почувствовал, что за парцизм здесь молчанием скрывается потребность кого-то обвинить. Он утверждает, что «во время сражения не имело места преднамеренное истребление женщин и детей, но что

многие из них были убиты, так как морю прикрывались ими во время рукопашной».

Такое объяснение лучше, чем ничего; гораздо лучше. Однако раз сражение велось главным образом врукопашную, к концу четырехдневной бойни должна была наступить минута, когда в живых остался только один туземец. У нас там было шестьсот человек; мы потеряли только пятнадцать; почему же наши шестьсот солдат убили этого последнего морю — может быть, женщину, может быть, ребенка?

Генерал Вуд, несомненно, убедится, что объяснение — задача для него непосильная. Он, несомненно, убедится, что человеку, исполненному соответствующего духа и располагающему соответствующими воинскими силами, куда легче истребить девятьсот вооруженных дикарей, чем объяснить, почему он так беспощадно довел эту работу до конца. Вслед за этим генерал Вуд, сам того не замечая, порадовал нас неожиданной вспышкой юмора, откуда следует, что ему полезно было бы редактировать свои донесения:

«Многие морю притворялись мертвыми и коварно убивали американских санитаров, которые оказывали помощь раненым».

Странная картина! Санитары стараются оказать помощь раненым дикарям! Но с какой целью? Дикари были все истреблены. С самого начала предполагалось истребить их всех до одного. Так какой же смысл оказывать временную помощь человеку, которого вслед за тем уничтожат? Дешечи называют эту бойню «битвой». На каком основании? В ней не было ни малейшего схождения с битвой. В любой битве приходится пять раненых на одного убитого. Когда эта так называемая битва окончилась, на поле боя должно было лежать не меньше двухсот раненых дикарей. Куда они делись? Ведь в живых не осталось ни одного морю!

Вывод ясен: мы завершили свои четырехдневные труды и подчистили все недоделки, хладнокровно прикончив этих беспомощных людей.

Радость президента по поводу этого выдающегося события приводит мне на память ликование одного из его предшественников. Когда в 1901 году пришло известие, что полковник Фаистон нашел горное убежище филиппинского патриота Агинальдо и взял его в плен с помощью особого военного искусства, которое научило его подделывать документы, лгать, переодевать своих солдат-мародеров в форму врага, выдавать себя и их за друзей Агинальдо, дружески пожимать руку офицеру Агинальдо, чтобы рассеять их подозрения, и тут же стрелять в них, — когда телеграмма, возвещавшая об этой «блестящей военной операции», достигла Белого дома, то, по словам газет, смиреннейший, кротчайший и добрейший из людей — президент Мак-Кинли — не мог совладать с охватившей его восторженной радостью и вынужден был дать ей выход в двенадцатилетнем, напоминавших пляску.

3 апреля 1906 г.

[АМЕРИКАНСКИЙ ДЖЕНТЛЬМЕН]

Я не шучу, напротив, я серьезен, как никогда, и я заявляю, что наш президент — образцовый американский джентльмен нашего времени. Я считаю, что в нем так же полно и точно выражен тип американского джентльмена нашего времени, как в Вашингтоне был выражен тип американского джентльмена тех, прошлых времен. Личность Рузвельта дает достаточный материал для обоснования этой проблемы. В ней представлены ясно, исчерпывающе все черты, которых не должно быть в американском джентльмене и которые тем не менее его характеризуют. Из всех наций, как цивилизованных, так и диких, обитающих на нашей планете, мы, конечно, самая грубая нация, а наш президент выситя среди нас как монумент, обозримый со всех сторон. В тех случаях, когда джентльмен сострадателен и отзывчив, — он безобразно груб и жесток. Совсем недавно, когда его креатура — неудачливый врач, губернатор Кубы, этот шулер в чине генерал-майора, — Леонард Вуд, загнал в западню шестьсот беззащитных туземцев и устроил кровавую баню, в которой не пощадил ни младенцев, ни женщин, — президент Теодор Рузвельт, образцовый американский джентльмен, первый американский джентльмен, вложил всю душу нашей нации джентльменов в ликующую вопль, который он направил Вуду по телеграфу, поздравляя его с «блестящей военной операцией» и восхваляя его за то, что он «поддержал честь американского флага».

Без сомнения, Рузвельт самый худший президент из всех, кого мы имели, и он также самый любимый из президентов и наиболее отвечающий нашим запросам. Американцы гордятся и восхищаются Рузвельтом, он вызывает у них благоговейное чувство. С таким жаром и в подобных размерах Америка не расточала своих восторгов ни одному из президентов до Рузвельта, даже включая Мак-Кинли, Джексона, Гранта...

7 сентября 1906 г.

[МЫ — АНГЛОСАКСЫ]

Не знаю, к худу или к добру, но мы должны учить Европу. Мы занимаемся этим уже более ста двадцати пяти лет. Никто не звал нас в инаставники, мы навязались сами. Ведь мы — англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется «В дальних концах земли», председателствующий, отставной военный в высоких чинах, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы — англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет».

Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты. На банкете присутствовало не

менее семидесяти пяти штатских гостей и двадцать пять армейских и морских офицеров. Прошло, наверное, около двух минут, пока они истощили свой непомерный восторг по поводу этой изумительной декларации. Сам же вдохновенный пророк, изрыгнувший ее из своей печени, пишедова или кишечника, точно не знаю, — стоял эти две минуты, сияя счастливой улыбкой и излучая довольство каждой порой своего организма. Вспоминую на старинной картинке в календаре человека, истощавшего знаки Зодиака из распахнутой настежь утробы и такого довольного, такого счастливого, что, как видно, ему невдомек, что он расцелен опаснейшим образом и нуждается в срочных услугах хирурга.

Если перевести приведенную мною декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой английский язык, она будет звучать так: «Мы, англичане и американцы, — воры, разбойники и пираты, чем и гордимся».

Изю всех находившихся там англичан и американцев не нашлось ни единого, у кого хватило бы гражданского мужества встать и сказать, что ему стыдно быть англосаксом, что ему стыдно за цивилизованное общество, раз оно терпит в своих рядах англосаксов, этот позор человечества. Я не решился принять на себя эту миссию. Я выпылил бы и был бы смешен в роли праведника, пытающегося обучать этих моральных недорослей основам порядочности, которые они не в силах ни понять, ни усвоить.

Поистине, зрелище, достойное восхищения, — этот по-детски непосредственный, искренний, самозабвенный восторг по поводу зловонной сентенции пророка в офицерском мундире! Это попахивало саморазоблачением: уж не излились ли здесь, случаем, тайные порывы нашей национальной души? В зале были представлены наиболее влиятельные группы нашего общества, те, что держат в руке рычаги, приводящие в движение нашу цивилизацию, даруют ей жизнь. Адвокаты, банкиры, торговцы, заводчики, журналисты, политики, офицеры армии, флота, — словно сами Соединенные Штаты, прибывшие на банкет и по-настоящему высказывающие от лица нации свой сокровенный кодекс морали.

И восторг их не был изъятием нечаянно прорвавшихся чувств, о котором позже вспоминают с краской стыда. Нет, стоило кому-нибудь из дальнейших ораторов на минуту почувствовать холодок зала, и он тут же немедленно втискивал в свою кучу банальностей все ту же великую истину об англосаксах и пожинал новую бурю оваций. Что ж, такой род человеческий. У него про запас две морали — официальная, напоказ, и другая, о которой умалчивается.

Наш девиз: «В господа веруем...» Когда я читаю эту богомольную прописку на бумажном долларе (стоимостью в шестьдесят центов), мне всегда чудится, что бумажка трепещет и похныкивает в религиозном экстазе. Это наш официальный девиз. Подлинный же, как видим, совсем иной: «Когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет». Наша офици-

альная нравственность нашла выражение в величавом и в то же время гуманином и добро-сердечном девизе: «Ex pluribus unum»¹, из которого как бы следует, что все мы, американцы, большая семья, объединенная братской любовью. А подлинная наша мораль выражена в другом бессмертном девизе: «Эй, ты там, пошевеливайся!»

Мы позанимались империализмом у монархов Европы, а вместе с ним и наши понятия о патриотизме (пусть, наконец, хоть один здравомыслящий человек растолкует мне, что мы в Америке разумеем под патриотизмом). Значит, по справедливости, в благодарности за эти заимствования и мы должны тоже чему-нибудь их научить.

Сто с лишним лет протекает с той поры, как мы преподали европейцам первые уроки свободы; мы немало способствовали успеху Французской революции — в ее благотворном действии есть наша доля. Позднее мы преподали Европе и другие уроки. Без нас европейцы никогда не увидели бы газетного репортера; без нас европейские страны никогда не вкусили бы сладости непомерных налогов; без нас европейский пищевой трест не овладел бы искусством кормить людей ядом и брать с них за это деньги; без нас европейские страховые компании никогда не научились бы обогащаться с такой быстротой за счет вдов и сирот; без нас вторжение желтой прессы в Европу, быть может, наступило бы еще не так скоро. Неустanno, упорно, настойчиво мы американизируем Европу и надеемся со временем завершить это дело.

25 января 1907 г.

[КЛАРК, СЕНАТОР ОТ МОНТАНЫ]

Третьего дня под вечер один из моих близких друзей — назовем его Джонс — позвонил мне и сказал, что заедет за мной в половине восьмого и повезет меня обедать в Юнион-Лиг клуб. Он сказал, что отвезет меня обратно домой, как только я пожелаю. Он знал, что начиная с этого года и до конца моих дней я взял за правило отклонять вечерние приглашения, во всяком случае, те, которые связаны с поздним бдением и застольными речами. Но Джонс — близкий друг, и потому я без особого неудовольствия согласился нарушить для него свое правило и принять приглашение. Впрочем, это не так: я испытал неудовольствие, и к тому же немалое. Сообщая, что обед будет иметь приватный характер, Джонс назвал в числе десяти приглашенных Кларка, сенатора от Монтаны.

Дело в том, что я имею слабость считать себя порядочным человеком, с установившимися моральными правилами, и не привык общаться с животными той породы, к которой принадлежит мистер Кларк. Тщеславным быть очень стыдно (тем более в этом признаваться),

и тем не менее я вынужден сделать такое признание. Я горд, что моя дружба к Джонсу столь велика, что ради нее я согласился сесть за стол с сенатором Кларком. И дело не в том, что он состоит в нашем сенате — другими словами, занимает сомнительное положение в обществе. Вернее, не только в том, потому что имеется немало сенаторов, которых я до некоторой степени почитаю и даже готов с ними встретиться на каком-нибудь званом обеде, если уж будет на то воля божья. Недавно мы отправили одного сенатора в каторжную тюрьму, но я допускаю, что среди тех, кто пока избежал этого продвижения по службе, могут встретиться и некоторые неповинные люди, — я не хочу сказать, разумеется, полностью неповинные люди, потому что таких сенаторов у нас не найдешь, — я имею в виду неповинные в некоторых из наказуемых преступлений. Все они грабят казну, голосуя за бесчестные законы о пенсиях, потому что хотят быть приятелями с Великой Армией Республики, с сыновьями солдат этой Армии, с викариями их и праправнуками. А голосование за эти законы — прямое преступление и измена присяге, которую они принесли, вступая в сенат.

Итак, хотя я готов до известных пределов пренебрегать моральными правилами и встречаться с сенаторами средней преступности, даже с Платтом или Чоис Делью, — это не касается сенатора от Монтаны. Мы знаем, что он покупает законодательные собрания и судей, как люди покупают еду и питье. Он сделал коррупцию столь привычной в Монтане, так ее подсласлил, что она уже там никого не шокирует. Каждый знает его историю. Едва ли можно найти в стране человека, стоящего в нравственном отношении ниже его. Думаю, что среди тех, кто выбрал его в сенаторы, не было ни одного, кто не знал бы наверняка, что истинное место ему на каторге с цепью и чугунным ядром на ногах. Со времен самого Туида наша республика не производила более гнусной твари.

Обед был сервирован в одной из малых гостиных клуба. Пианист и скрипач, как обычно, делали все, чтобы помешать мирной беседе. Вскоре я выяснил, что гражданин штата Монтана был не просто одним из числа приглашенных: обед был дан в его честь. Пока шел обед, мои соседи справа и слева сообщали мне о причинах подобного торжества. Для выставки в клубе мистер Кларк предоставил Юнион-Лиг (самоу влиятельному и, вероятно, самому богатому клубу в нашей стране) принадлежащее ему собрание картин европейских художников стоимостью в миллион долларов. Было ясно, что мой собеседник рассматривает этот поступок как проявление почти сверхчеловеческой щедрости. Мой другой собеседник почтительным шепотом сказал, что если сложить все пожертвования мистера Кларка, внесенные в кассу клуба, включая расходы, связанные с названной выставкой, то получится сумма не менее ста тысяч долларов. Он ожидал, что я подскочу и буду кричать от восторга, но я воздержался, так как пятью минутами ранее он успел мне сообщить, что

¹ Из многих одно (лат.).

доход мистера Кларка равен тридцати миллионам долларов в год.

Люди не разбираются в простых величинах. Подачка в сто тысяч долларов от лица, располагающего тридцатью миллионами годового дохода, никак не может рассматриваться как повод для истерических и колено-преклоненных восторгов. Если бы, скажем, я дал бы на что-нибудь десять тысяч (девятую часть моего заработка за нынешний год), это было бы для меня более чувствительно и более достойно восторга, чем двадцать пять миллионов из кармана монтанского каторжника, у которого еще при этом осталась бы добрая сотня тысяч в неделю на мелкие расходы по дому.

Это наводит меня на мысль о единственном, насколько мне помнится, акте благотворительности, исходившем от Джея Гулда. Когда в Мемфисе, в штате Теннесси, вспыхнула желтая лихорадка, этот бесстыднейший развратитель американских коммерческих нравов, купавшийся в бесчисленных награбленных им миллионах, пожертвовал в пользу страдальцев Мемфиса пять тысяч долларов. Пожертвование мистера Гулда не нанесло ему большого ущерба, это был для него доход одного только часа, к тому же того, который он посвящал ежедневной молитве, — он был исключительно богобоязненным человеком. Но ураган восторга и благодарности, который пронесся по Соединенным Штатам, сокрушая общественное мнение, газеты, церковные кафедры, не мог не убедить интересующихся нашей страной иностранцев, что когда американский богач жертвует пять тысяч долларов на больных, умирающих и умерших бедняков, вместо того чтобы на эти деньги подкупить окружающую сушь, он ставит рекорд благородства и богоугодности, невиданный в американской истории.

В должное время поднялся председатель клубного комитета язычных искусств и начал с замешелого и никого уже не способного обмануть заявления, что сегодня застольных речей не будет; будет лишь дружеский разговор. После чего он последовал далее по своему поросшему мхом пути и выдал нам речь, которая могла быть рассчитана только на то, чтобы каждому слушателю, еще не потерявшему полностью разум, стало стыдно за род человеческий. Если бы к нам на обед попал чужестранец, он подумал бы, что присутствует на божественной литургии в личном присутствии божества. Он заключил бы, что мистер Кларк — благороднейший гражданин, каким может похвастаться наша республика, образец самопожертвования и великодушия, расточительнейший благотворитель, какого не выдвალ свет. И этому коленопреклоненному почитателю денег и их владельцев не пришлось даже в голову, что Кларк из Монтаны просто бросил монетку в протянутую ему клубом шляпу и при этом потерял не большие убытки, чем потеря на улице десять центов.

Когда докучный оратор закончил свою мо-

литву, поднялся президент Юнион-Лиг и продолжил молебствие. Его рвало комментариями по адресу этого каторжника, которые с любой точки зрения могли восприниматься лишь как грубейшая шутка (хотя сам оратор об этом, как видно, не знал). Общим ораторам дружно зааплодировали. Но вот второй из них выступил с заявлением, которое, как мне сперва показалось, будет принято слушателями с неодобрением, с прохладцей. Он сказал, что доходы клуба от продажи билетов на выставку не покроют понесенных клубом издержек. Но оратор здесь сделал легчайшую паузу, — ту самую паузу, которую делают все ораторы, готовя коронный ход, — и сообщил, что сенатор Кларк, узнав о случившемся, вынул из кармана полторы тысячи долларов — половину того, что стоила страховка картин, — и тем спас клубную кассу. Не дай мне боже покнуть сей мир, если участник литургии не разразился овациями при этом сообщении. Не дай мне боже навеки успокоиться; если каторжник не расплылся до ушей в блаженной истоме, которую он испытает еще только раз — в тот день, когда Вельдевул отпустит его на воскресный день из котла понежиться в холоднынке.

Я близился уже к последнему издыханию, когда председатель клуба прикрыл свою ярмарку пошлостей, представил обществу Кларка и сел на место. Кларк поднялся под яростный грохот рояля и визгливое пликанье скрипок. Это было «Звездное знамя», или нет — «Боже, храни короля», а потом все участники во всю глотку пропели «Он такой славный мальчик!..». Далее последовало настоящее чудо. Я всегда полагал, что ни одно существо не в силах произнести застольную речь о собственной добродетели. Оказывается, я упустил из виду ползучих гадов. Сенатор Кларк нес свою окolleсницу около получаса. Темой его были уже знакомые нам комплименты предыдущих ораторов по поводу его грошовых щедрот. Но он не удовлетворялся тем, что повторил их дословно. Он добавил по своему адресу кучу новых похвал, причем восхвалял себя с таким чувством и пылом, что все предыдущие комплименты пожуили, поблекли, утратили силу и блеск. Уже сорок лет я сижу на банкетках, изучая человеческую глупость и человеческое тщеславие, но ни разу мне не пришлось наблюдать что-нибудь даже чуть приближающееся к ослиному самодовольству этого наглого, пошлого, бесконечно тупого деревенского олуха.

Я навсегда благодарен Джонсу за то, что он дал мне случай побыть на этом молебствии. Мне казалось, что я успел взглядеться на всех речепроизносящих зверей и познакомился со всеми их разновидностями. Но здесь я впервые увидел, как люди бесстыдно лезут в поимную яму и открыто поклоняются долларам и тем, кто владеет долларами. Я знал, конечно, об этом, иной раз читал в газетах, но еще никогда не видел, как они преклоняют колена и читают молитвы вслух.

[ПАЛЛАДИУМ СВОБОД]

Американские политические и коммерческие нравы уже не только повод для шуток — это целый спектакль.

Человек — достойное удивления, странное существо. Чтобы поднять политические и коммерческие нравы в Англии до мало-мальски пристойного уровня, потребовалась десятилетняя работа Кромвеля и многих тысяч его проповедников и богомольных солдат. Но достаточно было Карлу II поцарствовать несколько лет, и англичане снова сидели в своей грязи хуже. Когда я был молод, порядочность у нас в США не была такой редкостью — в течение нескольких поколений нацию воспитывали честные люди, пользовавшиеся заслуженным влиянием в стране. Однако Джей Гулд — один, без всякой подмоги — всего за шесть лет подорвал нравственность американцев. А за три последующих десятилетия сенатор Кларк и компания так разложили страну, что, насколько я в силах судить, нет надежды на ее исцеление.

В минувшие времена у нас был популярен девиз, — звучный и не лишенный известной доли изящества. Мы внимали ему без устали и любили его повторять: «Пресса — палладиум наших свобод!» Этим словам придавали серьезный смысл. Но это было давно, перед тем как явился Джей Гулд. Если кто и решится теперь их повторить, то только как злую шутку.

Мистера Гуггенхайма недавно избрали в сенат от Колорадо. Он подкупил для этого законодательное собрание штата, что является нынче почти общепринятым средством для избрания в сенат. Как утверждают, Гуггенхайм купил законодательное собрание своего штата и уплатил за покупку наличными. Он настолько проникся духом политического гниения, господствующим в нашей стране, что не согласен признать свои действия преступлением, не считает их даже подлежащими критике.

Что до «палладиума наших свобод», то во многих известных мне случаях он охраняет интересы мистера Гуггенхайма и рассыпает ему похвалы. Так, выходящая в Денвере, штат Колорадо, газета «Пост», считающаяся надежным выразителем общественных настроений, пишет буквально следующее: «Действительно, мистер Гуггенхайм потратил на выборы крупную сумму денег, но он лишь следовал практике многих других штатов. По существу же, в его поступке нет ничего дурного. Мистер Гуггенхайм будет лучшим сенатором, какого когда-либо избирал Колорадо, он добьется для Колорадо того, в чем мы насущно нуждаемся: притока капиталов в Колорадо и нужных нам поселенцев. Мистер Гуггенхайм добьется для нас в Вашингтоне того, чего не добился Том Паттерсон. Гуггенхайм — человек, который нам нужен. Пора оставить попытки совершенствовать мир. Этим попыткам уже две тысячи лет, и особого успеха пока что они не имели. Народ избрал Гуггенхайма сенатором, и он должен быть утвержден в сенаторской должности, даже если он и потратил на это миллион долларов. Мы выставили двух кандидатов — Тома Паттерсона и Саймона Гуггенхайма. Народ предпочел Гуггенхайма. Наша газета склоняется перед волей народа».

Покупая для личных надобностей то, что в древности именовалось «священными привилегиями сенатора», мистер Гуггенхайм дал взятку не всем депутатам законодательного собрания. Он проявил умеренность в этих случаях разумную экономию и не вышел за пределы того большинства, в котором нуждался, чтобы быть наверняка избранным. Это не очень понравилось тем, кто остался без взяток, и они внесли резолюцию, требуя расследования всех обстоятельств, при которых сенатор был избран. Однако большинство, получившее взятку, не только отклонило внесенную резолюцию, но и добилось изъятия ее из протоколов собрания. Сначала я принял это за проявление застенчивости, но после понял, что я ошибался. Человек так устроен, что даже самый отъявленный вор не хочет быть выставленным в Галерее мазуриков.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 5. *...сражались при Антьетаме*. — Это сражение произошло 17 сентября 1862 года между кжанами, возглавляемыми генералом Ли, и северянами под руководством Мак-Келлана; оно не дало решительного перевеса ни одной из сторон, но южане вынуждены были откатиться от наступления на федеральную столицу — Вашингтон.

Файф-Пойнтс — район Нью-Йорка, в середине XIX в. был населен по преимуществу беднотой и деклассированными элементами.

Стр. 10. *Корнвалис Чарльз* (1738—1805) — английский маркиз; генерал в эпоху Американской революции. В 1781 г. сдался Вашингтону при Йорктауне.

Битва при Трентоне — произошла в декабре 1776 г. и завершилась победой колонистов под началом Вашингтона.

Вэли Фордж — местечко неподалеку от Филадельфии, где зимой 1777—1778 гг. армия Вашингтона мужественно перенесла тяжелую зиму, страдая от эпидемии и испытывая нехватку продовольствия и теплой одежды.

Битва при Монмауте — произошла в июне 1778 г. между войсками Вашингтона и армией английского генерала Клинтона.

Патрик Генри (1736—1799) — деятель Американской революции. В 1765 г. выступил в законодательном собрании штата Виргиния со страстной речью, в которой обвинил английского короля Георга III в тирании и призвал к неповиновению.

Стр. 11. *Битва при Банкер-Хилле* — произошла в 1775 г. неподалеку от Бостона. В ней плохо обученные и вооруженные добровольцы колонисты, несмотря на поражение, показали немалое мужество и нанесли большие потери англичанам.

Брэддок Эдвард — (1695—1755) — английский генерал. Потерпел поражение в июле 1755 г. аблзис Питтсбурга в битве с французами и индейцами.

«Бостонское чаепитие» — эпизод, явившийся своеобразным прологом к войне за независимость. В мае 1773 г. английский парламент принял так называемый «чайный закон», согласно которому Ост-Индская компания получила право ввозить в Америку чай без пошлин. В декабре 1773 г. в Бостоне группа членов местной патристической организации «Сыны свободы», переодетшись, пробралась ночью на английские суда и выбросила чай в море. Эта акция вызвала бешеную злобу в английских колониальных кругах.

Когда я служил секретарем (стр. 11). — В рассказе отразились обстоятельства недолгой службы Марка Таена в качестве секретаря сенатора Уильяма Стюарта в 1867 г.

Стр. 12. Джек и Джил — персонажи популярной в США детской песенки.

Стр. 20. *Сципионы* — одно из богатейших аристократических семейств в Древнем Риме, к которому принадлежали крупные полководцы и государственные деятели.

Барнуи Финneas Тейлор (1810—1891) — американский антрепренер, владелец знаменитого цирка, устраивавший сенсационные зрелища. Один из пионеров американского «шоу бизнеса».

Стр. 21. *Шерман Уильям Текумсе* (1820—1891) — американский генерал. В Гражданскую войну командо-

вал армией северян; нанес поражение южанам. В 1869—1883 гг. командовал армией США.

Стр. 24. *Флойд Джон Бьюкенен* (1807—1863) — американский государственный деятель, военный министр (1857—1860). В начале Гражданской войны перешел на сторону южан, был генералом в армии конфедератов.

Стр. 26. *Гаррет Дэвис* (1801—1872) — американский юрист, сенатор.

Стр. 29. *Пол Прай* — персонаж одноименной комедии английского драматурга Джона Пула (1786—1872). Его имя стало синонимом человека, любящего вмешиваться в чужие дела.

Стр. 31. *Колумбийский округ* — административно-территориальная единица, где расположена столица США город Вашингтон и его пригороды.

Стр. 32. *Баглер Уильям Орландо* (1791—1880) — американский генерал, командовал войсками во время захаатической американо-мексиканской войны 1846—1848 гг.; в 1848 г. выдвинулся на пост вице-президента от демократической партии.

Шеперд Чарльз Анхем (1804—1886) — известный американский минералог.

Ричардсон Генри Гобсон (1838—1886) — известный американский архитектор.

Стр. 36. *...отпустил деньги свои по водам...* — перифраз библейского изречения. «Отпусти хлеб свой по водам, потому что по проществу многих дней опять найдешь его».

Баркли Гудсон. — Имя «Гудсон» можно перевести как «хороший человек».

Стр. 56. *Вандербильт Корнелиус* (1794—1877) — американский миллионер. Вместе с Гудлом, Дрю и другими крупнейшими магнатами получил печальную известность своими беззастенчивыми спекуляциями и стремительным обогащением. Вандербильт, занимавшийся железнодорожным бизнесом, основал первую династию мультимиллионеров; он отличался худшими чертами американских нуворишей — неразборчивостью в средствах, грубостью, невежеством и вызывающим тщеславием. В частности, он замыслил возвести совместный памятник себе и Джорджу Вашингтону. К концу жизни имел капитал в 100 миллионов долларов.

...затягающую какую-то махинацию с акциями «Эри»... — Речь идет об акциях на строительство железной дороги от озера Эри к реке Гудзон. Вокруг этих акций завязалась острая конкурентная савра между Вандербилтом, Гудлом, Фиском и другими дельцами.

«Харперс» — «Харперс мансли мэгэзин» (основан в 1850 г.) — один из ведущих американских литературных журналов второй половины XIX в., в котором печатались многие писатели США и Англии. Твен опубликовал в нем свой роман «Жанна д'Арк».

Стр. 58. *Асторы* — семья американских миллионеров.

Испрааленный катехизис (стр. 58). — В этом памфлете, пародируя «Краткий вестминстерский катехизис», Марк Твен в присутствии ему остроумной манере откликается на разоблачение в 1871 г. коррупции в Таммани-Холле, штаб-квартире демократической партии Нью-Йорка.

Уильям Твид (Тунд; 1823—1878) — главарь демократической партии в Нью-Йорке, виновник огромных

лишений в городских муниципальных учреждениях. «Ринг» Тунда оптом покупал сенаторов, конгрессменов, должностных лиц; каждому из «народных избранников» он давал взятки от 10 до 40 тысяч долларов, так что весь муниципалитет Нью-Йорка оказался у него в руках. Всего Тунд и его шайка награбили до 200 миллионов долларов. В конце концов его вверы были раскрыты, сам Тунд получил 12 лет тюрьмы, бежал в Испанию, был выдан американским властям и умер за решеткой. Имя Тунда стало в США синонимом мошенничества.

Святой Осел — Жеребец Холла, на котором пророк въехал в Иерусалим... — А.-О. Холл (1826—1898) — деятель «шайки Тунда», был в 1868—1872 гг. мэром Нью-Йорка, который у Твена иронически именуется Иерусалимом.

Святой Конолли. — Речь идет о Конолли, городском инспекторе Нью-Йорка, одним из заправил Таммани-Холла.

Святой Матвей Карнохен. — Имеется в виду санитарный инспектор нью-йоркского порта Джон Меррей Карнохен (1817—1887), запятанный лихонством.

Святой Петр Фиск. — Имеется в виду Джеймс Фиск (1834—1872), железнодорожный магнат, благодаря которому Тунд смог заняться махинациями на железных дорогах.

Святой Павел Гулд. — Имеется в виду американский финансист Джей Гулд (1836—1892). Твен посвятил ему одну из разоблачительных глав своей «Автобиографии» (см. с. 83 настоящего издания).

Святой Уайенс Искариот. — Речь идет об Орандже С. Уайенсе, деятеле республиканской партии, который, получив солидную взятку, перемигнулся на сторону демократа Тунда; Искариот — Иуда.

Святой Яков Вандербильт. — Речь идет о Корнелиусе Вандербилте (см. примеч. к с. 56).

Святой Харви-благословитель. — Речь идет об Эндрю Харви, подрядчике, нанятом Таммани-Холлом для ведения штукатурных работ в городе. На этом бизнесе он заработал около двух миллионов долларов. Газета «Нью-Йорк таймс» с иронией отметила, что из этой суммы Харви «в состоянии выделить шесть центов на благотворительные цели».

Святой Ингерсолл, поставщик священных ковров... — Имеется в виду Джеймс Ингерсолл, который продавал мебель и ковры различным городским организациям по спекулятивным ценам.

Стр. 58—59. **Святая Нью-Йоркская типографская компания.** — Тунд был обладателем пакета акций городской типографии, где размещал заказы за непомерно высокую плату.

Стр. 59. **Святой Петр Хоффман.** — Имеется в виду Джон Томпсон Хоффман (1828—1888), губернатор штата Нью-Йорк в 1868—1872 гг. После разоблачения Тунда и его шайки пытался отрицать связь с подсудимыми. Твен намекает здесь на евангельский эпизод с апостолом Петром, который отрекся от Христа.

Святой Барнард. — Имеется в виду Джордж Барнард, который в бытность свою членом Верховного суда штата Нью-Йорк выносил судебные определения и решения, удобные своему шефу.

...грабят иммигрантов, прибывающих из-за моря... — Прибывающие в Нью-Йорк из Европы иммигранты представляют собой источник дешевой рабочей силы и объект особо безжалостной эксплуатации.

...за приличное жалование валадьяйтесь возле кабака... — В Нью-Йорке имелись платяные ведомости на тысячи лиц, которые нигде не работали. Эти декласси-

рованные элементы, бродяги, уголовники использовались Туном в своих целях.

Составте счет на следующие вам деньги... — В июле 1871 г. газета «Нью-Йорк таймс» приводила примеры того, как Таммани-Холл наживался, давая заказы подрядчикам: «Когда в городское управление был представлен счет на производство работ на сумму в 5000 долларов, помощник городского инспектора Конолли переписал его на 55 000. В итоге подрядчик получил свои пять тысяч, а Таммани-Холл положил себе в карман 50 тысяч».

«Альманах простака Ричарда» — издавался с 1782 по 1757 г. Б. Фрайклином. В «Альманахе» научные сведения перемежались с сенсациями, притчами и поговорками в духе буржуазного здравого смысла.

«Путь лаломника» — сатирико-аллегорический роман Джона Бенияна (1628—1688).

...издание «Великого крестового похода сорока разбойников». — В 1850-е гг. продажный муниципалитет Нью-Йорка получил прозвище «сорок разбойников». В 1870-е гг. Тунд организовал новую грабительскую шайку, которая по размаху лихонства решительно превзошла своих предшественников.

Разиуждальность печати (стр. 56). — Эта речь была произнесена Твенем в клубе журналистов в Хартфорде в 1873 г.; начало речи утеряно.

Чарльз Рид (1814—1884) — английский писатель. Стр. 60. **Колфакс Шюллер** (1823—1895) — вице-президент США в 1869—1872 гг. при президенте Гранте.

...я сам вел на Тихоокеанском побережье... вид вранья... — Твен имеет в виду собственные очерки-мистификации, о чем он поаетствует в рассказе «Окаменелый человек» и «Мое кровавое злодеяние».

Стенли Гебри Мортон (1841—1904) — английский журналист, путешественник, исследователь Африки, активно содействовал колониальной политике Великобритании на Черном континенте.

Стр. 61. **Сандавичевы острова** — архипелаг в центральной части Тихого океана; открыты в 1774 г. мореплавателем Джеймсом Куком. Самый крупный среди этих островов — Гавайи. Теперь изымаются Гавайскими островами. В 1959 г. получили статус 50-го штата США.

Гумбольдт Александр-Фридрих-Вильгельм (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

Стр. 63. **Чарльз Дадли Уорнер** (1829—1900) — американский писатель и журналист, был соавтором Твена по роману «Позолоченный век» (1873).

...когда отмечается столетие существования Соединенных Штатов... — Этот юбилей отмечался 4 июля 1876 г.

В свое время он проделал колоссальную работу. — Речь идет о святом Патрик, который, согласно преданию, изгнал из Ирландии всех змеев.

...военный министр живет так экономно... — Речь идет о военном министре Уильяме Белкипе (1829—1890), который подал в 1876 г. в отставку, дабы избежать суда по обвинению во взяточничестве.

Соединенные Линиющие Штаты (стр. 64). — Pamфлет был создан в связи с резкой активизацией террористической деятельности ку-клукс-клана. Созданная в 1866 г. в штате Теннесси, эта расистская организация быстро распространилась по асему Югу Соединенных Штатов, утверждая с помощью террора, запугивания и актов личеичвания «превосходство белой расы». Статистика показывает, что на рубеже веков в

США происходило около сотни личеваний в год. Между тем, в некоторых весьма солидных журналах Севера появлялись статьи, в которых оправдывался суд Линча, совершаемый нередко «высокообразованными гражданами Юга». Pamфлет Твена, написанный в 1901 г., не увидел света при жизни автора; он был опубликован лишь в 1923 г.

Стр. 65. *Савонарола Джироламо (1452—1498)* — настоятель монастыря доминиканцев; выступал против тирании Медичи, обличал папство, призывал церковь к аскетизму; был ярким противником гуманизма, сжигал произведения искусства.

Стр. 66. *Хобсон Ричмонд Пирсон* — лейтенант американских военно-морских сил. Во время американо-американской войны 1898 г. затопил судно «Мерримак», предназначенное для перевозки угля, у входа в гавань Сантьяго с целью запретить выход отряда испанского флота.

Стр. 67. *...два-три года тому назад...* — Твен имеет в виду подготовку английским правительством войны с Бурами, а правительством США — с Испанией.

Человеку. Ходящему во Тьме (стр. 68). — В этом памфлете Твен обрушивается уже не на отдельных стяжателей и мошенников, а на грабительскую политику империалистических держав в целом. В канун 1901 г. в одной нью-йоркской газете появилось твеновское «Приветствие от XIX века XX веку», в котором писатель, обращаясь к новому столетию, говорил: «Я приношу тебе семью христианских держав, которая возвращается испачканной, замаранной и обесчещенной из своих пиратских налетов на Кыю-Чао, Маньчжурью, Южною Африку и Филиппины. Ее душа полна подлости, карманы полны наживы, рот полон святошеских лицемерных слов. Дай ей мыло и полотенце, но спрячь зеркало». Это «приветствие» Антимимпериалистическая Лига распространила в виде специальных листовок. Заглавие памфлета взято из Евангелия, оно представляет собой сатирический намек на то, что империалисты смотрят на колониальные народы как на темную массу, которой они несут заповеди Христа и «дары цивилизации».

Ист-Сайд — один из беднейших кварталов Нью-Йорка.

«Боксер» — участник народного антимимпериалистического восстания в Северном Китае 1899—1901 гг. Войска Германии, Японии, Англии, США, царской России, Италии и Австро-Венгрии жестоко подавили восстание; Китаю был навязан кабальный Заключительный протокол (7 сентября 1901 г.).

Стр. 70. *Мак-Кинли Уильям* — президент США (1897—1901); проводил агрессивную империалистическую внешнюю политику.

...фабрикует войну из такого неубедительного и вздорного материала... — Речь идет о развязанной Англией войне с Бурами (1899—1902) с целью захватить богатейшие природные ресурсы Южной Африки.

Стр. 72. *...наш Главный Герок...* — Имеется в виду президент Мак-Кинли.

Вот — маленькая унетенная нация... — Америка, развязавшая агрессивную войну против Испании, прикидывалась защитницей угнетенных кубинцев.

Выстрел на весь свет — слова из знаменитого стихотворения Р.-У. Эмерсона (1803—1882) «Конкордские гимны». Он был исполнен в июле 1837 г. на открытии памятника в честь героев американской революции.

Двой Джон (1837—1917) — американский адмирал, главнокомандующий военно-морскими силами США во время испано-американской войны. В апреле 1898 г.

эскадра под началом Дьюи уничтожила испанский флот в Манильской бухте и тем самым обеспечила себе контроль над Филиппинскими островами.

Стр. 73. *Асимальдо Эмилио* — руководитель филиппинского восстания против испанцев. Высидел на островах вслед за Дьюи, в 1899 г. был провозглашен президентом Филиппин. Когда США решили захватить Филиппины, стал оказывать сопротивление, в 1901 г. был с помощью обмана захвачен в плен и вынужден был капитулировать.

...откупить у Испанки оба эти призрака. — По Парижскому мирному договору в декабре 1898 г. Испания «уступила» Филиппины США.

Стр. 74. *Киченер Гораций Герберт (1850—1916)* — граф, английский фельдмаршал. В 1895—1898 гг. руководил подавлением освободительного движения в Судане. В 1900—1902 гг. — главнокомандующий английскими войсками в войне с бурами. В 1914—1916 гг. — военный министр.

Макартур Артур (1845—1912) — американский генерал, после захвата Филиппин был там военным губернатором.

Стр. 75. *Гражданская комиссия* — состояла из филантропов, профессоров и юристов, была послана на Филиппины после захвата островов для установления контакта с местной буржуазией.

Крокер Ричард (1841—1922) — один из боссов Таммани-Холла. Был известен своими мошенничествами. Твен публично обвинил его в коррупции и содействовал его падению.

В защиту генерала Фанстона (стр. 75). — Поводом к написанию памфлета послужило развитие событий на Филиппинах, откуда поступали сведения о жестокостях американских оккупационных войск, сожженных деревнях, убитых мирных жителей, разграбленных церквях. В США все громче раздавались голоса протеста. Сторонники войны, среди которых был президент Теодор Рузвельт, напротив, подымали на щит «героев», подобных генералу Фредерику Фанстону и его соратникам. Впервые памфлет Твена был напечатан в журнале «Норс америкен ревью» в мае 1902 г.

Знаменательная дата — 22 февраля, день рождения первого президента США Джорджа Вашингтона.

Стр. 76. *...целое столетие — без одного года...* — Вашингтон умер в 1799 г., через 99 лет началась позорная испано-американская война.

Грант Улисс (1822—1885) — главнокомандующий войсками северян в Гражданской войне, в 1869—1877 гг. — президент США.

Стр. 78. *Наш президент... протянул руку своему убийце.* — Президент Мак-Кинли был смертельно ранен выстрелом из револьвера анархистом Леоном Чолгошем во время посещения Панамериканской выставки в Буффало 6 сентября 1901 г. и через несколько дней скончался.

Стр. 82. *«Стандарт-Ойл»* — группа нефтяных трестов. Основной трест этой монополистической группы — «Стандарт-Ойл оф Нью-Джерси» был создан Джоном Рокфеллером-старшим в 1882 г. Путем спекулятивных махинаций Рокфеллер в начале 1900-х годов сосредоточил под контролем этой компании подавляющую часть американской нефтяной промышленности.

Из «Автобиографии» (стр. 83). — Марк Твен начал работать над «Автобиографией» в последние годы жизни. Начиная с 1906 г., он систематически диктовал ее своему биографу и душеприказчику Альберту Пейну. «Автобиография» сочетает в себе элементы мемуаров и дневника, насыщенного злободневным материалом; в гневных филиппиках клеймит в ней своих современни-

ков, продажных сенаторов, лихоимцев миллионеров, милитаристов. По его выражению, он писал «Автобиографию» «из могилы», исполненный решимости высказать «всю правду», распорядившись, чтобы это сочинение было обнародовано лишь после его смерти. Духотомива «Автобиография» под редакцией А. Пейна вышла в 1924 г. В 1940 г. литературовед Бернард де Вото выпустил сборник «Марк Твен — непотухший вулкан», включив в него некоторые фрагменты «Автобиографии» сатирико-обличительного характера, которые не были опубликованы Пейном. В 1959 г. в США вышло новое издание «Автобиографии» под редакцией Чарльза Найдера. В ней Найдер произвольно исключил пассажи, разоблачающие гулдов, рокфеллеров и других «столпов общества», на том основании, что Твен — прежде всего юморист, «мастер анекдота», а его суждения на политические темы — «излишний и скучный материал».

Джей Гулд (1836—1892) — американский миллиардер, один из самых темных деятелей финансового мира.

Маккол Джон (1849—1906) — с 1892 по 1905 гг. был президентом нью-йоркской компании по страхованию жизни. Расследование злоупотреблений в компании вынудило его подать в отставку.

Стр. 84. Леонард Вуд (1860—1927) — американский генерал. После испано-американской войны 1898 г. был назначен губернатором на Кубу, затем подавлял освободительное движение на Филиппинах. Известная американская писательница Элен Келлер вспоминает о лекции, прочитанной Твеню в связи с расправой над морю. Твен «бурно негодовал и сыпал насмешками» по поводу «ратных подвигов» своих соотечественников, выражая сочувствие морю, которых «американцы в течение восьми лет пытались лишить свободы».

Стр. 85. ...*восемь лет проявляя наши войска на Филиппинах...* — В 1896 г. на Филиппинах, бывших испанской колонией, вспыхнуло национально-освободительное движение. Во время испано-американской войны США поначалу оказывали повстанцам далеко не бескорыстную «помощь», а после подписания мирного договора с Испанией высадили на Филиппинах в феврале 1899 г. свои войска. Началась долгая и кровопролитная война против Филиппинской республики. Захватив Филиппины, США использовали острова для дальнейшей экспансии в Тихом океане.

Стр. 86. «Золотая заповедь». — Имеется в виду евангельская заповедь: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

Гиллет Уильям (1855—1937) — американский актер и драматург. «Слишком много Джонсона» (1894) — одна из его популярных пьес.

Шалтай-Болтай — персонаж детского английского стихотворения (русский перевод С. Я. Маршак).

...*в битве при Сан-Хуан-Хилл — этом двойнике Ватерлоо...* — Во время испано-американской войны Теодор Рузвельт, будущий президент, высадился на острове Куба в качестве командира полка «лихих всадников». 1 июля 1898 г. произошло сражение, во время которого конница под началом Рузвельта выбила испанцев с высот Сан-Хуан-Хилл на подступах к Сантьяго. Вскоре пал и Сантьяго. Американская пресса развернула вокруг этого события ура-патриотическую шумиху, Теодор Рузвельта восхваляли как национального героя. Однако буржуазные историки обходят молчанием участие кубинских повстанцев в войне.

Стр. 87. Джордж Харви (1864—1928) — американский журналист, был редактором крупного литературного журнала «Норс америкен ревью», издававшегося сначала в Бостоне, потом в Нью-Йорке.

Стр. 88. ...*наш президент — образцовый американский джентльмен нашего времени...* — Теодор Рузвельт, пришедший в Белый дом в 1901 г., твердо стоял на страже интересов крупной буржуазии, его внешнеполитический курс был рассчитан на выдвижение США в число великих мировых держав. В области внутренней политики он провозглашал буржуазные реформы как средство укрепления капиталистического порядка. Т. Рузвельт искусно пользовался социальной демагогией. В. И. Ленин назвал его «любезный шарлатан Рузвельт» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 194).

Стр. 89. Чонси Делью — сенатор от штата Нью-Йорк, был многолетним другом Марка Твена.

Платт Томас С. — другой сенатор от штата Нью-Йорк.

Стр. 90. «Звездное знамя» — патриотическая песня, созданная в период вигло-американской войны 1812—1814 гг.; впоследствии стала государственным гимном США.

«Боже, храни короля» — государственный гимн Англии.

Стр. 91. Палладиум — защита, оплот (от имени Афины Паллады, дарующей, согласно греческой мифологии, победу и защиту от врагов).

...*десятилетняя работа Кромвеля...* — Имеется в виду период с 1649 (время провозглашения республики) по 1658 гг. — год смерти О. Кромвеля, вождя виглийской буржуазной революции.

Карл II (1630—1685) — король из династии Стюартов (1660—1685). При нем в 1660 г. была восстановлена королевская власть и начался бесславный период Реставрации (до 1688 г.), когда ликвидировались завоевания революции, торжествовала католическая реакция и преследовались сторонники Кромвеля.

Б. Гиленсон

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

К сведению миллионов. Перевод Т. Шинкарь	3
В полицейском участке. Перевод Б. Носика	5
Людоество в поезде. Перевод М. Литвиновой	6
Чернокожий слуга генерала Вашингтона. Перевод Н. Ромм	10
Когда я служил секретарем. Перевод В. Лимановской	11
Ниагара. Перевод Э. Кабалева	13
Журналистика в Теннесси. Перевод Н. Даруэс	16
Венера Капитолийская. Перевод Н. Даруэс	18
Подлинная история великого говяжьего контракта. Перевод А. Старцева	21
Подлинная история дела Джорджа Фишера, ныне покойного. Перевод А. Старцева	23
Загадочный визит. Перевод Н. Бать	26
Как меня выбирали в губернаторы. Перевод Н. Тренивой	28
Наука или удача. Перевод А. Старцева	30
Приятное и увлекательное путешествие. Перевод И. Архангельской	31
Правдивая история. Перевод Н. Чуковского	33
Человек, который совратил Гедлиберг. Перевод Н. Волжиной	34

ПУБЛИЦИСТИКА

Чем занимается полиция. Перевод В. Лимановской	55
Открытое письмо коммодору Вандербилту. Перевод М. Абкиной	56
Исправленный катехизис. Перевод А. Старцева	58
Разнузданность печати. Перевод В. Лимановской	59
Письма с Сандвичевых островов. Перевод В. Лимановской	61
Письмо редактору «Дейли график». Перевод В. Лимановской	62
Послание ордену «Рыцарей святого Патрика». Перевод В. Лимановской	63
Соединенные Линчующие Штаты. Перевод Т. Кудрявцевой	64
О патриотизме. Перевод Е. Элькинд	67
Человеку, Холящему во Тьме. Перевод В. Лимановской	68
В защиту генерала Фаистона. Перевод В. Лимановской	75
Военная молитва. Перевод Т. Кудрявцевой	80
Обучение грамоте. Перевод А. Старцева	82

Из «Автобиографии»

Учение Джея Гулда. Перевод А. Старцева	83
Избиение морю. Перевод И. Гуровой	84
Американский джентльмен. Перевод А. Старцева	88
Мы — англосаксы. Перевод А. Старцева	88
Кларк, сенатор от Монтаны. Перевод А. Старцева	89
Палладиум свобод. Перевод А. Старцева	91
Примечания Б. Гиленсона	92

Марк ТВЕН

СОЕДИНЕННЫЕ ЛИНЧУЮЩИЕ ШТАТЫ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

ПУБЛИЦИСТИКА

Редактор М. Вахсмакер. Художественный редактор В. Серебряков.

Технический редактор Л. Коротева. Корректор Б. Тумян.

ИБ № 3925. Сдано в набор 05.09.83. Подписано в печать 24.10.83. Формат 60×84½.
 Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,2.
 Усл. фр. отт. 11,66. Уч.-изд. л. 12,77. Тираж 1 500 000 экз. (1-й завод 1—800 000 экз.).
 Изд. № 1477. Заназ 3044. Цена 1 р.

Ордена Трудового, Красного Знамени издательство «Художественная литература»

107882, ГСП, Москва, В-78, Ново-Васманная, 19

Типография изд-ва «Московская правда», ул. 1905 г., д. 7



ИЗДАТЕЛЬСТВО
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•
1983